

Баржа на Оби

Содержание

- **ИСТОКИ**
- ШКОЛА
- БАБУШКИН ДОМ
- ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
- СТАХИЙ ДМИТРИЕВИЧ
- ВЕРА
- СКАУТЫ
- ВОЙНА
- ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ИЮНЯ
- ЭШЕЛОН
- БАРЖА НА ОБИ. Новосибирск — Кургасок
- БАРЖА НА ОБИ. Нарымский урман — Васюганье
- БАРЖА НА ОБИ. Огнев Яр
- БАРЖА НА ОБИ. Жизнь в Ершовке
- БАРЖА НА ОБИ. Суровые будни. Кончина мамы и бабушки
- БАРЖА НА ОБИ. Одни
- БАРЖА НА ОБИ. Айполовский детский дом (июнь 1942 — август 1944 гг.)
- БАРЖА НА ОБИ. Колпашево. Отрочество
- БАРЖА НА ОБИ. Кривошеино. 1945—1946 годы
- ЭПИЛОГ
- ДОКУМЕНТЫ О ПЕРЕЖИТОМ

ИСТОКИ

Несбереженное памятью прошлое проходит во времени, - сбереженное - обретает вечную жизнь.

Федор Степун

"Летописные заметки"

Илья Иванович

Моя мама - Александра Ильинична Боброва, родилась в купеческой семье первого поколения, то есть еще ее дед был крепостным крестьянином, вырвавшимся из неволи после реформы 1861 года. О прадеде своем я, к сожалению, ничего не знаю, а вот дедушка мой, Илья Иванович Бобров оставил благодарную память не только в своей семье, но и в городе Риге. С него я и начну свое повествование.

* * *

Но сначала позволю себе небольшое отступление.

Памятный для всей России (тогда еще СССР) 1956 год. Отовсюду, со всех окраин великой страны - с Севера, Востока, из Казахстана и из Центральной Сибири возвращались в родные места дожившие до освобождения репрессированные.

Я, молодой специалист-геолог, осенью того года, возвращаясь из отпуска, остановилась в Москве, в доме друзей моего покойного отца Конюшковых. Так случилось, что все три брата

Конюшковых до 1956 года находились сначала в заключении, а потом в сибирской ссылке. Двое из них вернулись в Москву, и их дети познакомили меня с ними.

И вот за вечерним чаем потекли интереснейшие разговоры, захватывающие воспоминания. Конюшковы были когда-то рижанами. Старший Конюшков, отец моих новых знакомых, управлял принадлежавшим матери моего отца имением "Лебединое озеро" ("Шваанензее") неподалеку от железнодорожной станции Икшкиле, в двадцати пяти километрах от Риги, а Конюшковы-сыновья, мои собеседники за московским чайным столом, дружили с ним. Когда пришло время дать детям достойное образование (это случилось еще до Первой мировой войны), Конюшковы покинули Ригу и обосновались в Москве.

И вот во время нашей беседы один из братьев вдруг задает мне вопрос, в тот момент очень удививший меня: "А это правда, что вы родная внучка известного в Риге Ильи Ивановича Боброва?" Я ответила утвердительно. Тогда он продолжил: "Да, удивительный был человек, многими уважаемый и достойный, немало сделал доброго для жителей города:"

* * *

17 июля 1863 года в добропорядочной православной крестьянской семье, проживавшей в деревне Ременицы, Потуповской волости Кашинского уезда Тверской губернии, родился мальчик, крещеный Ильей. Паренек рос смышленным и трудолюбивым, успешно окончил церковно-приходскую школу и собирался учиться дальше, уже в городе - Кашине, где жили родственники, однако это его намерение встретило резкий отпор родителя, который видел в сыне помощника в тяжелом крестьянском труде, своего наследника. Между отцом и четырнадцатилетним Ильей произошел жесткий и тяжелый разговор. Отец не внял доводам сына и жестоко избил его. Мальчик, не выдержав унижения, ушел из дома, как оказалось - навсегда. Обида на отца привела его в уездный город Кашин.

Город этот упоминается еще в Никоновской летописи: в 1237 году его жители отважно отражали нападение татаро-монгольских завоевателей, предводимых ханом Батыем, и преградили им путь на Новгород Великий. Но в 1327 году опять "приде рать татарская и взяша Тверь и Кашин и Новоторожскую волость положи пусты". Но не от одних только татар доставалось горя и разрухи кашинцам. Междоусобица русского средневековья приводила сюда и русских князей. Собиратель земель русских князь Московский Иван, прозванный Калита, "наведывался" сюда, воюя с Тверью за Великое княжение. Да не один приходил, а с татарами... Впрочем, центр удельного княжества Кашин и сам нередко поигрывал мускулами, пытаясь оторваться от власти тверского князя, пока в конце XV века вместе со всем Тверским княжеством окончательно не оказался под властью Москвы. Известен Кашин и своими архитектурными и культурными памятниками. Иконы Деисусного Чина, собранные в церквях Кашинского уезда, являются гордостью Третьяковской Галереи. Уже в средние века город славился минеральными источниками, водой из которых исцеляла страждущих преподобная княгиня Анна Кашинская, прославившаяся своей добротой и сострадательностью. А тогда, в конце девятнадцатого века, Илья увидел живописный городок с множеством церквей, несколькими монастырями, оригинальными купеческими особнячками, как бы сбегавшими к

речке Кашинке, скромному притоку великой Волги.

Крепкий купеческий Кашин вел успешную торговлю со многими городами России, в том числе и с морскими портовыми, куда обозами поставляли зерно, лен, пеньку и другие товары. И случилось так, что одинокий, голодный, растерянный, но так и не простивший нанесенных ему оскорблений и обид подросток знакомится с купцами, направляющимися с обозом в Ригу. Долго уговаривать мальчишку не пришлось, и вот он, где в лаптях, где босиком, отмеряет версты рядом с телегами обоза, слушая рассказы бывалых людей о далеком приморском городе с таким загадочным именем - Рига.

Город этот после тихого провинциального Кашина поразил воображение юного Ильи Боброва. Здесь тогда шло большое и разнообразное строительство, возводились новые дома, строились церкви, поднимались заводские корпуса и трубы. По улицам сновали извозчики, грузчики и разный простой люд, около лавок восседали важные купцы, с достоинством предлагая свой товар, то и дело проезжали богатые экипажи с нарядно одетыми господами. Но среди всего этого великолепия юный Илья Бобров оказался совсем-совсем один. От непривычного шума, гула, от суеты и мельтешения людей и повозок у мальчика закружилась голова, и скоро он почувствовал приступы мучительного и тоскливого одиночества, усугубляемого ощущением голода. Все это - шумное, суетящееся, кричащее, ругающееся было не его - чужое, почти враждебное. Кругом слышалась непонятная речь - немецкая, латышская, еврейская, польская: Захотелось обратно - в деревню, к маме, чтобы выплакать все обиды, а потом, после бани, просто отоспаться на теплой печке. Все чаще думалось: "Нет, больше так не могу, уйду с первым же обозом обратно, домой!" Но что он скажет, вернувшись, отцу и что услышит в ответ? Снова брань и розги? И рассудок взял верх - Илья Бобров остался в Риге.

Голод заставлял браться за любую работу. Бывало тяжело, до изнеможения. Но вот новые знакомые помогли: нашлось постоянное место мальчика на побегушках у местного купца в колониальной лавке. Жизнь подростка в чужом городе постепенно нормализовалась. Поначалу он в большой заплечной плетеной корзине разносил покупателям купленный ими в лавке товар, убирал двор и лавку, запрягал лошадь, выполнял множество других поручений по дому. Постепенно привыкал и присматривался, но в душе лелеял мечту о хорошем, настоящем образовании. Ведь Илья оказался на редкость способным и трудолюбивым юношей, очень быстро постиг премудрости счетного дела и хитрости торговли, овладел несколькими местными языками - немецким, латышским, еврейским, что тогда в торговом деле особенно ценилось. На него обращали внимание, людям нравилась его расторопность, сообразительность. Вот он уже приказчик (продавец), сначала рядовой, а вскоре и старший. И, наконец, он открывает свою лавочку и при тусклом свете керосиновой лампы ведет собственную торговлю мылом, керосином, спичками, свечами, метлами и прочим нехитрым товаром. Дело подвигалось, хотя иногда и со скрипом и, как подчас казалось, очень

медленно.

Собрав некоторую сумму денег, Илья Бобров отправляется навестить родных в деревню Ременицы. Все были ему очень рады, даже гордились им: как же - купец, а купечество в России всегда было в почете. У меня нет сведений, как долго он тогда пробыл в родных местах, но в Ригу вернулся не один, вместе с ним пришла (именно так - пришла, потому что деньги у Ильи кончились, и весь обратный путь пришлось, как когда-то с обозом, протопать пешком) шестнадцатилетняя Ксюша Осекина, воз-любленная его односельчанка, ставшая Илье Ивановичу верной женой и подругой на всю жизнь.

В Риге молодожены сняли жилье около Алексеевского монастыря, неподалеку от храма Св. Якоба. Скоро на свет появилась дочь Мария, и когда ей исполнилось девять месяцев, молодые поехали в родную деревню показать девочку своим родственникам, но в дороге малютка простудилась и скончалась. Велико было горе молодых супругов, но жизнь брала свое, и в 1889 году у них родился сын Иван, потом - Михаил (в 1891 году), дочь Анна (в 1892 году) названная в честь святой Анны Кашинской, затем родилась Ольга (1894 год), а в 1898 году - Александра, моя будущая мама. Начало нового века ознаменовалось у супругов Бобровых рождением сыновей Алексея (1900 год), Владимира (1902 год) и Николая (1905 год).

Между тем торговые дела у Ильи Ивановича успешно продвигались. В конце девятнадцатого века он, взяв кредит в ипотечном банке, покупает два небольших дома под снос, и на их месте возводит пятиэтажный дом с прекрасным архитектурным декором (архитекторы Фридрих Шефель и Генрих Карл Шель). Дом этот по сей день является гордостью Старой Риги.

В 1902 году многодетная семья перебралась из квартиры, давно уже ставшей тесной для растущей с завидной регулярностью семьи, в новый дом. По случаю новоселья в адрес Ильи Ивановича Боброва поступило множество поздравлений и подарков, ведать которыми было поручено старшему сыну Ивану, и он доверил своей четырехлетней сестричке Шурочке (так все называли мою маму) донести из старой квартиры в новую шоколадный вафельный торт, сделанный в виде вазы. Малышке очень захотелось попробовать эту шоколадную роскошь и, подумав, что от маленького кусочка, откушенного с самого краешка, многого не убудет, она решилась: И вдруг похолодела от ужаса: ваза медленно распалась в ее крошечных ручках. Бережно собрав кусочки, вся в слезах Шурочка принесла их в новое жилье. Ваня, серьезно осмотрев осколки и увидев на краю одного из них следы от маленьких зубок, лишь пробормотал: "Все ясно!.."

Прошли торжества и суета переезда, семейство прочно обустроилось в новой квартире. Но и здесь патриархальный, во многом домостроевский быт не изменился. По-прежнему в

определенный час на столе кипят два ведерных самовара, и все собираются в столовой к вечернему чаю. Ужин тоже всегда назначался в раз и навсегда определенное время. К вечерней молитве полагалось собраться всем. Чье-нибудь опоздание могло вызвать серьезное недовольство главы семейства.

Илья Иванович отличался глубокой религиозностью и ревностно соблюдал все церковные традиции и обряды. В праздничные дни вместе с супругой и детьми посещал церковь, а на большие праздники - Рождество Христово, Пасху - в дом приглашали священника и дьякона, которые перед иконами в большой зале служили молебен. Этот обычай сохранялся в доме вплоть до 1940 года, когда самого главы семьи уже давно не было в живых. Я хорошо помню, как собиралась вся многочисленная родня, в столовой стол накрыт для праздничного обеда, а в гостиной - маленький столик с угощением для священнослужителей: Все с нетерпением ждут звонка. Наконец дородная Ксения Ивановна в синем платье, с жемчужным ожерельем на шее, выходит в прихожую встречать батюшку с дьяконом. Любимый всей семьей отец Николай Перехвальский, потирая озябшие на улице руки, степенно входит в широкую дверь, приветливо со всеми здоровается и, осеняя себя крестным знамением, становится перед иконами и начинает молебен. Впереди мы, дети, позади нас стоят взрослые.

После молебна священники вместе с хозяйкой дома Ксенией Ивановной садятся за угощение, а все остальное общество направляется в столовую, где накрыт праздничный стол. Внуки после томительного сидения за общим столом потихоньку направляются снова в зал, где становятся полновластными хозяевами оставшихся сладостей, которыми в обычные дни их не очень баловали.

Много лет Илья Иванович состоял членом Православного Петропавловского братства - наиболее активной и сплоченной части православных верующих и духовенства, чьей первоочередной задачей была просветительская, благотворительная и миссионерская деятельность. До революции 1917 года Братство работало под Высочайшим покровительством. Длительное время Илья Иванович был церковным старостой при храме Александра Невского. Он внес значительные средства на создание в Христорожественском соборе многофигурной композиции "Распятие Христа на фоне города Иерусалима". Сейчас это выдающееся произведение прикладного искусства находится в Троице-Сергиевском храме. Солидные вложения Илья Иванович внес и в благоустройство кладбища при храме Покрова Святой Богородицы.

Но общественная деятельность моего деда не ограничивалась лишь церковными делами. Он принимал активное участие в деятельности купеческой гильдии и в составе делегации Николаевского купеческого общества города Риги приветствовал императора Николая II и членов высокой семьи, посетивших город в 1910 году. Состоял Илья Иванович и в Русском клубе, где имел широкий круг знакомств. В его доме бывал и знаменитый в Риге прорицатель

Эйжен Финк, его рассказы за чаем из легендарного среди домочадцев самовара принимались всеми с большим интересом.

Не чуждался купец-самоучка и технических новшеств. В частности, он построил домашнюю электростанцию, которая давала свет не только его дому, но и улице, до этого освещавшейся тусклыми газовыми рожками. В Верманском парке дедушка арендует помещение, где оборудует один из первых в городе кинотеатров.

Но главной, самой заветной мечтой Ильи Ивановича было увидеть своих потомков образованными и достойными людьми. Поэтому на их воспитание и образование он никогда не скупился - в доме постоянно находились учителя и гувернеры, позднее все Бобровы-дети учились в лучших учебных заведениях города. Старшие дочери Анна и Ольга окончили известную гимназию Тайловой. Сын Михаил стал юристом; Владимир и Николай, получившие образование за границей - врачами. А Иван и Алексей предпочли стать помощниками отца в его неутоми-мой коммерческой деятельности. У младшей дочери Шурочки сложилось все сложнее, но об этом я расскажу чуть позже.

Очень интересным человеком был Илья Иванович Бобров и в быту. Его внешний облик хорошо соответствовал его характеру и деловым качествам. Роста он был повыше среднего, худощав, смугловат, всегда подтянут. Характерной чертой его были густые темные брови, как будто нависающие над глазами. Воло-сы аккуратно зачесывались назад и подчеркивали гордую осанку, открывали полный достоинства взгляд. Одевался он всегда очень аккуратно, любил носить белые рубашки с крахмаленными воротничками, галстуки-бабочки (преимущественно черные), темный френч. Таковым мы его видим на фотографиях, таким его запомнили и многие современники.

От окружающих мой дед требовал такой же аккуратности и обязательности. В доме был строг, взыскателен, но не жесток, скорее - скуповато-доброжелателен. С детьми (особенно младшими, а потом и с внуками) был ласков и нежен. У колыбельки своей первой внучки Натальи иногда просиживал часами.

В помощь хозяйке дома всегда нанималась прислуга. Отбором "кандидаток" занимался сам Илья Иванович. Предпочитал украинок, говорил, что они хорошо готовят и чистоплотны. В столовой стоял большой прямоугольный стол, за которым свободно могли разместиться все члены большой семьи и частые в доме гости, среди которых мне почему-то запомнились монашки. На обоих концах стола вечерами ставили по ведерному самовару, чаепитие бывало долгим, неспешным и уютным.

Тяжелый удар по хорошо устроенному и размеренному быту семьи Бобровых нанесла начавшаяся в августе 1914 года Первая мировая война. Старшего сына Ивана мобилизовали,

и он участвовал во многих боях, был ранен, контужен, однажды даже оказался в бессознательном состоянии в яме, будущей братской могиле, но чудом из нее выполз.

В Риге ввели карточки на продукты. Дома Илья Иванович строго следил за тем, чтобы все соблюдали карточную норму. Кусочек масла теперь клали каждому на прибор. Юной Шурочке, которая до войны масла в рот не брала, вдруг мучительно его захотелось, но приходилось терпеть - лишнего теперь не было.

Седьмого марта 1915 года у старшей дочери Анны, которая незадолго до начала войны вышла замуж за известного впоследствии в Риге архитектора Александра Ивановича Трофимова, родилась дочь Наталья, первая внучка Ильи Ивановича. Я уже рассказывала, как дедушка в свободное от работы время любил отдыхать возле ее колыбельки.

Но германцы наступали, в городе становилось все тревожнее. Илья Иванович был членом Рижской городской думы, и ему пришлось принять самое непосредственное участие в разных мероприятиях по предотвращению беспорядков и эвакуации жителей. Понимая, что враг уже на подступах к городу, дедушка принимает решение отправить в эвакуацию и часть своей семьи - супругу с младшими детьми и внучкой. Они успели уехать одним из последних поездов, направлявшихся из Риги в Россию, и обосновались в родном для бабушки и дедушки Кашине, где их сочувственно приняли родственники. Арендовали двухэтажный дом, но он оказался сырым и неустроенным. К тому же на втором этаже случился пожар, пол под печью прогорел, и она рухнула в комнату Шуры, моей будущей мамы, все очень испугались, но общими усилиями пожар удалось потушить, и эвакуированные продолжали жить в этом же доме. Мама мне рассказывала, что тогда к ним в гости часто заглядывала близкая родственница дедушки - игуменья местного монастыря. Ее черное одеяние очень пугало маленькую Наташу. Младшие сыновья Ильи Ивановича Алексей, Владимир и Николай успешно учились в кашинской мужской гимназии, а Шурочка оканчивала восьмой класс гимназии женской, что давало ей право на учительство. Когда были сданы выпускные экзамены, весь их класс отправили в путешествие на колесном пароходе по Волге - от Калязина через старинные русские города Углич, Рыбинск, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Царицын до Астрахани. Маме на всю жизнь запомнились экскурсии по этим городам и их окрестностям. А в Кашине уже с нетерпением ждали ее возвращения: германцев от Риги отогнали, и можно было ехать домой.

За время отсутствия части семьи Илья Иванович (он оставался в Риге вместе со старшими детьми Михаилом и Ольгой) присмотрел и приобрел еще один пятиэтажный дом на углу Пакгаузной (Ноликтавас) и Таможенной (Муйтас) улиц. Цена оказалась сходной по причине того, что его прежний хозяин, немец, решил покинуть Ригу с отступающими войсками. Кроме того, во время боевых действий в соседний дом попала бомба, которая, к счастью не взорвалась, но, видимо, масса ее была достаточно велика, если от ее удара и новый

дедушкин дом получил трещину, которую срочно заделали. Таким образом, по приезде из Кашина семейство перебралось на новую квартиру, более просторную, что оказалось очень кстати: дети подрастали, и кое-кто из них уже собирался жениться.

Но передышка в цепи злоключений семьи оказалась непродолжительной. Скоро в город вместе с Красной армией пришла новая власть. Террор начался сразу. Шурочка Боброва устроилась на работу в гимназию О. Н. Лишиной, которую не так давно окончила сама, учительницей русской словесности. Однажды в дом явились с обыском красноармейцы. Забирали все, что могли вынести, и для того, чтобы хоть что-то из очень нужного спасти, потребовалась находчивость и определенная смелость. И вот молодая учительница направляется на занятия, держа в руках не вызывающую никакого подозрения у непрошенных гостей стопку ученических тетрадей с проверенными домашними заданиями. И кому могло придти в голову, что между тетрадками спрятано несколько кусков туалетного мыла? Солдат у входа сначала заинтересовался тем, что несет симпатичная молодая учителька, но, пролистав первую тетрадку, ничего не заподозрил. После обыска красноармейцы с криком: "А, буржуй!" схватили Илью Ивановича, и повели, подталкивая штыками, на чердак - расстреливать. Дело принимало суровый оборот. Не знаю, что в эту минуту думал дед, думаю, что молился. И случилось чудо - наш дворник и два рабочих по дому, взятые понятыми, вступились за своего хозяина, убедив красноармейцев, что дед - "свой человек". "Ну что же, если вы, пролетарии, его защищаете, отпустим, пожалуй." - сказали солдаты, махнули рукой и ушли. Дедушка был спасен. Но первый сердечный приступ с ним случился именно в тот день.

Время шло своим чередом, войны - и германская, и гражданская - закончились. На карте Европы появилось новое государство - Латвия. С ним пришли новые законы, новое правительство и, конечно же, новые трудности. Переживания военных лет печально отразились на здоровье Ильи Ивановича, и в свои шестьдесят он вынужден был серьезно задуматься о том, как поступить с приобретенным им состоянием. Проблема наследования имущества, нажитого тяжелым, подчас изнурительным, трудом во все времена вставала перед людьми тяжелым испытанием. Смогут ли дети Ильи Ивановича Боброва его сохранить и приумножить, не распылят ли его по мелочам или пустякам то, что собиралось по крохам многие годы?

Шурочка Боброва

Шура-Шурочка - так мою маму с детства называли домашние.

Александра Ильинична Боброва родилась 15 февраля 1898 года. Как я уже рассказывала, она была пятым ребенком в семье Ильи Ивановича Боброва и его бессменной любимицей.

Я часто просила маму рассказать о ее детстве, она, конечно, мне не отказывала в этом, но рассказ ее был не всегда веселым. Дело в том, что первые десять лет жизни девочку мучила

тяжелая болезнь. А случилась она вот от чего: во дворе старого дома Бобровых, что находился у церкви Святого Екаба, развелось не-вероятное количество уличных кошек, дети с ними, естественно, возились и играли. Какая-то из этих кошек оказалась переносчиком стригущего лишая, болезни крайне несимпатичной, ко-торую к тому же в те годы лечить еще не умели. Трехлетняя Шурочка оказалась одной из жертв этой заразы, и ей в течение лет десяти пришлось перенести немало страданий и мучений - как физических, так и душевных. Чем только не пытались врачи лечить ребенка. Наголо остриженную голову обклеивали какой-то специальной бумагой с мазями, пинцетом выдергивали по одному волосы в пораженных местах - терпеть все это было невыносимо, и запомнилось маме до самого конца ее, к сожалению, недолгой жизни. А спас ее только-только входивший тогда в медицинскую практику рентген, врачи облучили головку девочки его лучами, эффект оказался неожиданным и удивительным - болезнь отступила, снова стали расти волосы. И Шура-Шурочка, наконец, вздохнула спокойно - она больше не выглядела гадким утенком. У меня сохранилась фотография, на которой она еще с короткой стрижкой. Пройдет совсем немного времени, и ее голову украсят роскошные косы.

Были у Шуры-Шурочки и другие проблемы. Много позже, став уже моей мамой, она с грустью вспоминала о том, что Ксения Ивановна, недостаточно уделяла ей внимания - недоласкала, недолюбила. Я хорошо помню горькое недоумение мамы, когда бабушка, навещая вечерами нашего соседа, маминого брата Володю, к нам даже не заглядывала. Создавалось впечатление, что ей было безразлично, как живут две ее маленькие внучки - мы с сестрой. Это недоумение, граничащее с обидой, жило в романтической душе Шуры-Шурочки всю жизнь. Я же полагаю, что причина внешней холодности Ксении Ивановны была в вечной нехватке времени - ведь моложе моей мамы были еще три брата - Алексей, Владимир и Николай, со всеми их, подчас непростыми, проблемами. Дедушка же очень любил свою младшую дочку Шуру-Шурочку, но он был деловым человеком, постоянно занятым тем, что теперь называется словом "бизнес".

Шурочка, несмотря на не покидавшее ее в детстве чувство глубокого одиночества и заброшенности, очень рано проявила интерес к чтению, музыке и изобразительному искусству. Она увлеченно собирала художественные открытки и репродукции, читала лучший тогда в России детско-юношеский журнал "Задуманное слово", который каждый год выписывал для нее отец, и довольно рано начала учиться музыке, для чего в дом приглашался учитель. Она открыла для себя Бетховена и полюбила его на всю жизнь. Таким образом, благодаря природной живости ума и любознательности, Шура-Шурочка оказалась хорошо подготовленной к гимназии.

В 1908 году Олимпиада Николаевна Лишина открыла в Риге частную гимназию. В нее и определил на учебу свою младшую любимицу-дочку Илья Иванович Бобров.

Эта гимназия на многие годы, вплоть до ее закрытия в 1936 году, стала лучшим учебным заведением для девочек Риги. Она давала хорошие знания по языкам, литературе, особенно русской, и уделяла серьезное внимание нравственному и этическому воспитанию учениц. Педагоги славились широкой образованностью и преданностью своему делу. Да и сама Олимпиада Николаевна не чуралась преподавания. Будучи талантливым режиссером, силами учениц она ставила различные спектакли, даже такие сложные как "Евгений Онегин", "Садко" и другие. Уже в младших классах учили танцам. В гимназии ежегодно проводились торжественные вечера. А все гимназистки, несмотря на постоянное строгое требование соблюдения дисциплины, свою школу и ее начальницу боготворили. Шуре-Шурочке удалось проучиться в Лишинской гимназии до 1915 года, когда город оккупировали немцы, и часть семьи Бобровых была вынуждена эвакуироваться в Кашин. Там и окончила последний, восьмой, класс, дававший ей право работать учителем русской словесности, моя мама - Александра Ильинична Боброва.

Но в свою любимую Лишинскую гимназию она все же вернулась. Уже в качестве учителя, но, к сожалению, ненадолго.

Порывистый характер Шуры-Шурочки не дает ей погрузиться в серые будни прозябания, она хочет учиться, принимать активное участие в жизни города. В двадцатые-тридцатые годы двадцатого столетия в Риге формируется множество различных просветительских кружков и обществ, школ самой различной направленности. Шура выбирает хозяйственную школу, где учили ведению домашнего хозяйства (кулинарии, умению правильно накрыть стол, обустроить квартиру, рукоделию, вязанию и шитью). Но всего этого ей кажется недостаточно, и девушка начинает посещать только что открывшийся кружок любителей художественной гимнастики, которым руководила широко известная в те времена Г. Ашман. Шура-Шурочка и здесь демонстрирует свои незаурядные способности.

В эти же годы она с сестрой Ольгой и братьями часто посещает театр Русской драмы и Русский клуб, где тогда собиралась и устраивала вечера русская интеллигенция Риги.

Все понемногу как-то устраивалось, но неожиданно еще одна беда обрушилась на семью Бобровых: Илью Ивановича, возвращавшегося вечером с работы, сбила автомашина. Перелом ноги оказался серьезным, и дедушке пришлось почти месяц пролежать в постели. Все заботы по уходу за ним приняла на себя Шура-Шурочка, любимая дочь. Она старалась помогать отцу во всем, аккуратно и осторожно поворачивала его в постели, кормила порой с ложечки. Пригодились и навыки, приобретенные ею в хозяйственной школе: приготовленная ею еда очень пришлась по вкусу Илье Ивановичу. Постепенно дело пошло на поправку, и долечиваться дедушка решил за границей, на водах в Баден-Бадене. Сопроводить себя он попросил любимую дочку, а когда почувствовал, что уже может обходиться без ее помощи, предоставил ей возможность попутешествовать по Европе. Так Шура, неплохо, кстати,

владевшая французским и немецким языками, оказалась в водовороте событий послевоенной Европы. И это было уже не памятное юношеское путешествие по Волге, теперь, через десять лет, перед девушкой предстали Париж, Версаль, Марсель, Базель, Женева, Мюнхен, поражающие воображение Альпы: Отовсюду она шлет домой открытки и по ним мы и сейчас прослеживаем маршрут ее путешествия.

Вернувшись в Ригу, Шура-Шурочка знакомится в Русском клубе со Стахией Дмитриевичем Никифоровым, полковником Добровольческой армии, вдовцом. Около года молодые люди присматриваются друг к другу и, наконец, решаются соединить свои судьбы в одну.

Сейчас трудно сказать почему, но сообщение дочери о том, что она выходит замуж, вызвало серьезное сопротивление со стороны ее отца. Я полагаю, что главная причина заключалась в том, что Стахий Дмитриевич был вдовцом. Илья Иванович даже отобрал у Шуры паспорт и надежно его спрятал. Родственники мне рассказывали, как она рано утром приходила к нему на дачу, долго стучала в ставни, но отец так и не открыл ей.

В конце концов, случилось так, как почти всегда бывает в подобных обстоятельствах. Шура-Шурочка сшила довольно скромное по тем временам белое платье и договорилась в Митавской (Елгавской) православной церкви о венчании. На торжество бракосочетания, которое состоялась 4 сентября 1927 года, молодожены пригласили лишь самых близких друзей. Поселились молодые сначала у родителей супруга на Невской (Блаумана), № 1, а чуть позже сняли квартиру в доме рядом с нынешним радиоцентром.

12 августа 1928 года у супругов Александры Ильиничны и Стахия Дмитриевича Никифоровых родился первенец - дочь, получившая имя Тамара. Это была я.

И случилось чудо: сердце сурового Ильи Ивановича мгновенно оттаяло, и, посмотрев на новорожденную внучку, он воскликнул:

- Да она вся в меня, это то, что я давно ждал!..

Малютке он оказывал очень большое внимание, а дочери простил ее упрямство и самоуправство.

Теперь уже он сам занялся устройством жизни молодой семьи Никифоровых. Он поселил их в уютной четырехкомнатной квартире на улице Алдару в Старой Риге, рядом с квартирой другой своей дочери Ольги. Затем заказал обеим сестрам одинаковые очень красивые гарнитуры из черного дуба для столовой и из красного дерева - для спальни. Однако оформить дарственную на эту квартиру он не успел: что-то затянулось, кто-то чем-то помешал: А семья Никифоровых тем временем увеличилась - пятого февраля 1930 года у

Александры Ильиничны и Стахия Дмитриевича родилась вторая дочь, которую они назвали Ириной. Крестным новорожденной стал сам Илья Иванович.

Время шло. У Ильи Ивановича стало пошаливать сердце, и он уже с трудом справлялся со своим обширным и многогранным хозяйством. Не увидев достойных преемников своему торговому делу среди сыновей, он одну за другой продал принадлежавшие ему колониальные лавки В. М. Козлову - своему земляку, заведовавшему торговлей в его, как теперь говорят, фирме, оставив себе лишь два пятиэтажных дома, которые тоже требовали серьезного присмотра и умелого управления. Не увидев достойных преемников и на эту собственность среди старших сыновей, он остановил свое внимание на среднем - Алексее (1900 года рождения). Алексей Ильич окончил Николаевскую гимназию в Риге, затем, в 1920 году, поступил на строительный факультет, который, проучившись год, оставил. Ему же, вместе с другим сыном Иваном, Илья Иванович поручает основанную им типографию, располагавшуюся в полуподвале дома на улице Ноликтавас. Здесь на закупленных когда-то Ильей Ивановичем машинах печатали красочные обертки для конфет, этикетки для консервных банок с вареньями и джемами. Сначала, когда, оправившись от войны, заводы и фабрики начали возрождать производство, дело пошло споро, и Алексей на своем мотоцикле развозил свою печатную продукцию непосредственно по фабрикам-изготовителям. Но и в молодой Латвийской республике уже появились первые признаки нависшего над Европой мирового кризиса, многие производства сворачивались, и все меньше и меньше становилась востребованной симпатичная продукция дедушкиной типолитографии. В 1933 году она окончательно обанкротилась, и долго по всей улице Ноликтавас ветер гонял разноцветные фантики и этикетки. Я, тогда еще совсем маленькая, не понимала, почему разлетаются по мостовой такие красивые картинки, и с разрешения родителей увлеченно собирала их, создавая потом чудные композиции. Илья Иванович уже не застал этого погрома, который, конечно же, не улучшил бы его настроения. А Алексей Ильич, которому он препоручил свои дела, человек застенчивый, нерешительный, не знающий ни экономики, ни бухгалтерии, с трудом справлявшийся с делом, в конце концов, вынужден был нанять управляющего. Его фамилия была Ранк.

Младшие сыновья Ильи Ивановича, закончившие медицинские факультеты (Владимир в Мюнхене, а Николай в Базеле) без знания латышского языка в Риге оказались безработными. Впрочем, дела Владимира были получше, так как в конце двадцатых годов он женился на дочери немецкого коммерсанта по имени Луу и брак этот оказался удачным, так как барышня Луу оказалась очень симпатичным и коммуникабельным человеком.

Из всех членов большого семейства достойным управляющим наследия Ильи Ивановича Боброва мог стать, пожалуй, лишь его зять, муж младшей дочери Александры Ильиничны, бывший артиллерийский полковник, к тому времени хорошо постигший бухгалтерию и экономику, Стахий Дмитриевич Никифоров. Но решительный, волевой, абсолютно честный и трудолюбивый человек, он не пришелся ко двору младших Бобровых, да и дедушка его не очень жаловал. Искать причины этого я здесь и сейчас не нахожу удобным, но, к сожалению, в

жизни такие ситуации случаются очень часто. А дела с управлением созданного дедушкой дела шли все хуже и хуже:

Все эти неурядицы, страх перед надвигающейся старостью, неудачные, по его мнению, браки дочерей, полное отсутствие желания работать у сыновей не могли не отразиться на состоянии здоровья Ильи Ивановича. Он все чаще заводил разговор, полный боли и обиды, о том, что его надежды на детей не сбываются, что никто из детей не хочет продолжать его дело, что нет ни в одном из них купеческой жилки.

Седьмого сентября 1930 года, почувствовав недомогание, Илья Иванович вышел на улицу подышать свежим воздухом. Такие прогулки он совершал неоднократно, когда хотел преодолеть усталость или дурное настроение. Но на сей раз это не помогло. Домой он вернулся, тяжело опираясь на руку швейцара. Вызвали врача, но его помощь запоздала и, промучившись двое суток, Илья Иванович Бобров скончался в возрасте шестидесяти семи лет от инфаркта.

Кончина дедушки была большой неожиданностью для всех. Мама рассказывала, что когда папа, приехав на дачу, где мы тогда жили, сообщил эту печальную новость, она едва не упала в обмороке. Отец ей был очень дорог и близок, и его скоропостижная кончина помешала их окончательному примирению. И я запомнила, хотя и было-то мне всего чуть больше двух лет, траурный тюль на маминой шляпе, который носила она долго.

Проводить в последний путь Илью Ивановича Боброва собралось много народу - среди провожающих были представители купечества, православного духовенства, общественных организаций, в работе которых участвовал дедушка, родные и близкие. Было очень-очень много венков.

На время были забыты разногласия и неурядицы, начавшиеся было в семье еще при его жизни, но, к сожалению, потом возобновившиеся и так мешавшие всем жить вплоть до 1940 года:

Какой я была маленькой...

Кики-Белый зуб, Тamarочка, девочка со спадающими аж до самых глаз черными волосиками - появилась на свет в воскресный день 12 августа 1928 года в Старой Риге. Рождение первенца - это, конечно, событие. Как же: у Шуры-Шурочки - дочка, и сразу такая прехорошенькая!

В самом начале сентября папа с мамой привезли меня на своей двухместной автомашине на ставшую уже родовой дачу Ники-форовых в Эдинбурге (Дзинтари). На крыльцо выбежал встречать нас пятилетний мальчик, мой двоюродный брат, папа вложил ему в руки мягкий светлый сверток и сказал: "Держи его осторожно, но крепко. Это твоя сестричка". Волнение маленького Вити было тогда настолько велико (еще бы, ему доверили ТАКОЕ!), что он

запомнил тот день на всю жизнь. Спустя короткое время, там же, в Эдинбурге, в православном храме, который снесли в начале шестидесятых годов, меня крестили, дав имя Тамара. Крестным отцом мне стал мамин младший брат Николай (1904 г. р.), а крестной захотела стать мамина племянница, дочь тети Анны Наталья, которой тогда только что исполнилось тринадцать лет. С первого взгляда она прониклась ко мне такой нежностью и любовью, что мама не посмела ей отказать.

На даче, у моря, среди сосен мы прожили около месяца. Больше, к сожалению, было нельзя - осень подступала, но память каким-то чудом сохранила ярко-голубое предосеннее небо, склоняющиеся к колыбельке сосны, шум прибоя.

Первые осознанные впечатления я отношу к весне 1930 года. Меня, как в клетку, засадили в складной деревянный стул со столиком - как ни старайся, а вылезти не получается, но это так хочется - ведь рядом кровать, в которой за сеткой моя совсем маленькая сестричка, живая кукла, она очень смешно кряхтит, а мне так хочется потрогать ее глазки, они ведь настоящие! Но тут открывается дверь и с тарелкой каши в детскую входит наша няня Ольга. "Опять эта каша!" - сказать пока не могу, но в сознании протест уже созрел, манка эта давно надоела, каждый день одно и то же! И лишь только Ольга поставила кашу на мой столик, я тут же, что есть силы, хлопнула обеими ручками по тарелке. "Ах, ах, что же ты наделала!.." - запричитала Ольга: вокруг все было в каше. А у меня внутри вертелось, приплясывая и прихлопывая ладонки, ехидное ликование: "Вот вам, всем взрослым, не хочу, ешьте сами свою кашу!"

Отец еще в конце двадцатых годов приобрел на дюне у реки Лиелупе (тогда она называлась Аа Курляндская) участок земли - заброшенный сад со сгоревшим во время Первой мировой войны дачным домом. Используя по возможности старые строительные материалы, он построил небольшой домик, и уже летом 1930 года вся наша семья разместилась в нем.

Лето 1930 года запомнилось очень хорошо. В детской - только что оштукатуренные стены, на них развешены яркие картинки, плоды богатого творческого воображения старших двоюродных сестер Наташи и Али. По утрам, как только просыпаюсь, рассматриваю их и фантазирую.

Между двумя росшими во дворе могучими тополями отец укрепил балку и приладил к ней качели, кольца и веревочную лестницу.

Чтобы в дом не заносился песок, мама у порога насыпала сосновые иголки, благо в соседнем сосновом лесу их было предостаточно. И вот я совсем голенькая топчусь по колючим сосновым иголкам и слышу голос мамы: "Ходи, ходи, это очень полезно!"

* * *

Как-то летом, когда мне было не более четырех лет, мама и кузина Аля отправились купаться и взяли меня с собой. Сильный северо-западный ветер нагнал в реку воду из залива и гонял по ней белые барашки небольших, но крутых волн, уже перехлестывавших мостки лодочного причала у нашей дачи. Мне было строго заказано подходить к ним близко и велено сидеть тихо на берегу. Но стоило только войти маме с Алей в воду и повернуться ко мне спиной, как я тут же полезла на сколький мокрый причал и через мгновение оказалась в воде, причем упала как раз в то место, где была глубокая яма. Как сейчас, помню себя среди гибких водорослей, они слегка покачиваются, чуть склонившись по течению реки - как же это все было интересно! К счастью, взрослые быстро заметили мое отсутствие на берегу и бросились к розовому платицу, которое приподнял ветер и пока оно не промокло удерживало меня на плаву. Происшествие это очень перепугало взрослых, но не меня. Мне все происшедшее казалось таким интересным, что запомнилось на всю жизнь. А родители постановили, что надо скорее начать учить меня плавать, тем более, что жили мы у реки.

Да, жили мы у реки, и с нею связано все мое детство. Был еще такой случай, кажется, в то же лето, когда я впервые самостоятельно в нее "окунулась". Тогда нынешнего автомобильного моста через Лиелупе еще не было. Сначала был понтонный мост, но его разрушили во время Первой мировой войны, и долгое время переправу осуществлял паром, перемещавшийся от берега к берегу по канату. Позднее автомобильный и гужевой транспорт ходил по специальному настилу через железнодорожный мост (естественно, во то время, когда по нему не шли поезда), а на месте разобранной паромной переправы начали строить новый большой раздвижной понтонный мост. Для него из Риги по воде притащили огромные металлические понтоны.

Во время проведения строительных работ, жители селения Бражас, в том числе и наша семья, вынуждены были переправляться на другой берег Лиелупе на лодках. Помню - предосенний северный ветер гонит по поверхности воды набегающие друг на друга белые барашки, волны с тревожным шорохом накатываются на берег. Плыть на лодке опасно, но маме крайне необходимо было перебраться на противоположный берег: там продовольственная лавка, а в доме недельные запасы истощились. Оставить меня дома одну, четырехлетнюю, она не решается, и вот я боязливо переступаю через борт лодки, а мама поручает мне казавшийся тогда огромным руль, объяснив, как им управлять. Сама же она садится за весла, и мы поплыли. Вдруг мне становится страшно: вокруг огромные волны, они бьются о корпус лодки, раскачивают нас. Но я стараюсь не подавать виду и что есть силы наваливаюсь на руль, за что тут же получаю драгоценную для моего детского честолюбия мамину похвалу: "Молодец, умница, так держать!". Похвала эта помогла мне окончательно преодолеть страх, и с тех пор я на всю жизнь перестала бояться воды.

Селение называлось Бражциемс, до ближайшей пригородной железнодорожной станции было около километра. Вокруг нашего дома было несколько латышских крестьянских хуторов, что способствовало моему первичному познанию жизни, и в частности - тяжелого труда земледельцев. Природа окрестностей, еще не изгаженная человеком, потрясала воображение. Спокойная и широкая река между двумя мостами (пontonным автомобильным и железнодорожным), многочисленные старицы, зарастающие камышами и тростником, заливные луга с такими забавными для ребенка серовато-зелеными лягушками - их было очень-очень много и какие роскошные концерты они устраивали! К вечеру на луга слеталось множество аистов - лягушачью музыку послушать, да и артистами вдоволь подкормиться. Утром на луга выводились на выпас коровы и лошади, они лениво отмахивались от мух и оводов, мешавших их благородному занятию. На пригорках рассыпались огороды, в которых чего только не было. Почему-то особенно запомнилась сладкая-пресладкая морковь. Все это великолепие окружал могучий сосновый бор.

Вдоль берега в реке, сразу за камышами, летом цвели и любовались своим отражением в тихой прозрачной воде желтые красавицы кувшинки, а в старицах - ослепительно белые лилии. Река изобиловала множеством самой разнообразной рыбы, что сделало из меня с пятилетнего возраста "знатного рыбака". Первые уроки я получила от сидящих вдоль берега или стоящих в воде или на специально для этого воздвигнутых мостках рыбаков со стажем. Они относились к моему интересу с исключительной серьезностью и охотно отвечали на все мои многочисленные вопросы. Скоро, годам уже к семи, я уже хорошо знала какую рыбу, когда и на что надо ловить. Часами просиживала на мостках, ловко подсекая серебристых уклек, красноперок; реже попадались окушки, щучки, а иногда удавалось взять даже угря. Но где-то в 1938-39 годах, в августе к рыбе пришла большая беда. Слокская бумагоделательная фабрика спустила в реку ядовитые отходы. Боже, как я рыдала при виде тысяч самых разнообразных рыб, которые огромными стаями поднимались к са-мой поверхности воды, высываясь из нее, пытаясь глотнуть свежего воздуха. Многие рыбаки или просто любопытствующие с лодок руками выгребали из реки полуживую рыбу, однако, как рассказывали взрослые, есть ее побаивались. Прошло еще два дня. Весь берег был завален уснувшей рыбой, запах шел такой, что невозможно было подойти близко к берегу, пока, наконец, ее не собрали и не закопали. С того злополучного происшествия такого, как раньше, количества рыбы в Лиелупе больше не было. То, что вылавливают нынешние рыболовы - детский лепет по сравнению даже с моими девчоночьими уловами. А на роскошных лиелупских заливных лугах, когда только-только с них вешние воды и земля покрывалась изумрудно-зеленой травой, с ранней весны до поздней осени, сменяя друг друга расцветали полевые цветы - белые, желтые, голубые, розовые, фиолетовые - какое разнообразие, потрясающая гамма красок и запахов. И куда все это подевалось, куда? Сегодня ничего подобного и в помине нет.

И птицы... Их великое множество, местных и перелетных, прилетающих огромными стаями и деловито расселявшихся в камышах, прибрежных кустах, в высокой луговой траве. Ласточки, городские и деревенские с красными зобиками, береговушки, стрижи, скворцы - всех не перечесть: на заболоченных старицах - утки, на лугах суетятся бекасы и степенно вышагивают аисты и журавли... Где всё это?..

А что начиналось с наступлением весны в нашем старом саду! Сначала распускалась сирень, розовая и фиолетовая, персидская и китайская, и наполняла округу густым, но нежным ароматом, затем воздух заполняли сладкие запахи жасмина, шиповника... А в сосновом бору в конце лета зацвёл вереск и его медовому аромату радовались не только пчелы, слетавшиеся как из хуторских ульев, так и из гнезд в дуплах высоких старых деревьев - дикие. О стрекозах, бабочках и всяких там кузнечиках даже говорить неудобно - так их было много.

К нам в сад повадился заглядывать заяц, еще где-то рядом жил ёжик, а старая барсучиха содержала берлогу на пригорке и в сумерки выводила на прогулку своих барсучат.

И все это рядом, тут же - во дворе, на лугу, в лесу, в воде и на ее поверхности.

Но вот в середине августа появляются первые признаки осени. Ласточки собираются в стайки, рябина становилась красно-оранжевой от ягод, а в лесу и на пригорках нас уже поджидали первые маслята, потом шли сыроежки, моховики, подберезовики и подосиновики. Попадались и красавцы боровики. Когда подросла, я очень любила бродить по осеннему лесу и наблюдать, как с каждым днем меняются его краски - вот начала краснеть осина и желтеть липа, закипел багрянцем клен и печальная береза выкинула первые желтые пряди...

А потом вдруг - резкий порывистый ветер, холод, первый морозец, после которого все листья с деревьев окончательно осыпаются. Сад становится прозрачным, и только сосны, не изменяясь, как строгие часовые, стоят на посту в ожидании снега и морозов.

Мы собираемся и возвращаемся в Ригу.

* * *

Зима 1931/1932 годов. Мы живем в Старой Риге, в квартире на улице Алдару. Помню розовые прямоугольники обоев в нашей с Ирой детской и стройку прямо напротив нашего окна - возводили большое красивое здание, будущий банк. Я с интересом наблюдала, как рабочие один за другим носят кирпичи в носилках, закрепленных на спинах, и уже понимала, что им очень тяжело и жалела их. Именно в эти годы, рассматривая себя в зеркало, я назвала себя "Кики - Белый Зуб". Прозвище это всем пришлось по душе и долго жило в доме.

Незабываемое впечатление осталось у меня от посещения Домского собора. Наша няня Оля была лютеранкой и ходила в него каждое воскресенье, и однажды решила взять с собой и меня. И вот мы идем с нею по улице, огибаем кирпично-красного цвета биржу и оказываемся в окружении зданий XVI-XVII веков. Теперь мы шагаем по узеньким полутемным улочкам и переулкам, нас окружают небольшие двух и трехэтажные здания с крутыми, крытыми черепицей крышами. Ширина этих улочек не превышала двух метров, и мне трудно было представить, как здесь могли передвигаться экипажи. Окна домов смотрят друг на друга, а рядом с входной дверью или прямо на дверях часто можно было увидеть икону. Запах на улицах тоже необычный - какой-то затхлый, застаревший. Иду и крепко держусь за руку няни, так как мне немного жутковато от подступающей со всех сторон древности. Сейчас от этого таинственного запаха средневековья не осталось и следа - еще в 1937-38 годах многие старые дома разрушили, а на их месте раскинулась Домская площадь. Все эти работы велись на моих глазах, я тогда многого не понимала, но сердце почему-то сжималось, когда по пути в школу я видела, как рушились одна за другой древние стены седого города, дававшего приют многим поколениям горожан. Наконец мы подходим к Домскому собору. Я внутренне сжимаюсь в комочек - таким огромным он мне кажется. Таинственный и тяжелый полумрак усиливает это чувство. Не помогает даже скудный свет, едва проникающий через вытянутые в высоту готические окна с цветными картинами-витражами. С любопытством оглядываю их, пытаюсь понять сюжет каждого, затем поднимаю глаза вверх, к потолку и вижу огромные золоченные трубы органа, еще более усиливающие впечатление мрачноватой торжественности. Ольга, крепко держа меня за руку, провела меня вдоль длинного ряда мощных деревянных скамей с высокими, украшенными скупой резьбой спинками, выбрала одну из них, и мы сели на нее. Оля предупреждает, что надо сидеть тихо и слушать. Я продолжала с любопытством осматривать собор: резную кафедру, фигурную кладку колонн... Вдруг откуда-то сверху, показалось, что с самого неба, стали опускаться торжественные звуки. Они сразу же потрясли своим величием, и я вся обратилась в слух. Звуки шли сверху и как бы опускались тяжело вниз, разливаясь потом по всему огромному пространству собора. Они то накатывались холодными серо-зелеными морскими волнами, то, вдруг согреваясь, звучали светло и нежно. Создавалось ощущение зрительного видения этой музыки, ее вещественного существования. Домой я вернулась под огромным впечатлением от всего увиденного и (особенно!) услышанного. Как жаль, что мама тогда не обратила на это внимание: А няня Оля с тех пор стала брать меня на каждую воскресную службу, и я всегда шла в ставший любимым на многие годы собор с большой радостью.

* * *

После кончины дедушки Ильи Ивановича среди многочисленных членов семьи, его наследников, резко усилились разногласия - никак не могли разумно поделить наследство, не единожды за него судились. Моим родителям пришлось оставить квартиру на улице Алдару, дарственную на которую дедушка Илья Иванович не успел официально оформить. В

результате зиму 1932/33 годов мы прожили в летнем доме в Приедаине, хорошо утеплив две комнатки и кухню. Я уже почти большая - мне пошел пятый годик, и эта зима мне хорошо запомнилась глубоким снегом и завываниями пурги. В те годы зимы в Прибалтике были морозные, снежные, лед на реке был толстым и крепким. Мужики с соседних хуторов запрягали своих лошадей в сани, брали с собой специальные пилы и вырезали ими большие прямоугольные ледяные кирпичи, загружали ими свои сани и везли по хуторам, где складывали в погреба. В них лед лежал до поздней осени следующего года, сохраняя продукты. Других холодильников в те годы еще не было.

Хорошо помню переезд нашей семьи в Ригу осенью 1933 года. Теперь мы жили в другом доме, принадлежавшем Илье Ивановичу Боброву, - на улице Пакгаузной (Ноликтавас), на пятом этаже. Здесь же поселилась семья маминого брата Володи - он сам, его жена Луу (прибалтийская немка) и двухлетняя Арианна, их дочка. В квартире было семь комнат. Четыре достались нам, но одна из них - столовая - оказалась проходной, и вся семья Володи ходила через нее. Под детскую нам отвели небольшую комнатку с окном, выходящим во двор и с видом на крышу соседнего дома, где обитали голуби и кошки. Вскоре родители заменили наши детские кровати на обычные деревянные, и это меня очень обрадовало.

Но главным событием того года стало рождение в семье дяди Володи второй девочки, которую назвали Ксенией. Ее мама после родов сильно заболела, и большие заботы и хлопоты по уходу за малюткой легли на хрупкие плечи моей мамы. Но, слава Богу, все обошлось, и мы не могли нарадоваться маленькой Ксюшей.

Отец очень любил животных, особенно собак, и очень умело их дрессировал. Поэтому в нашем доме постоянно жили собаки самых разных охотничьих пород - папа выбирал себе любимца. Наконец, его выбор остановился на великолепном английском сеттере. Я хорошо помню, что, как правило, у нас было две собаки, и одной из моих самых интересных и приятных обязанностей стали прогулки с ними.

В ту же осень началась моя учеба. Меня определили в частный немецкий детский сад с целью обучения немецкому языку. Няня Оля поднимала меня каждое утро в одно и то же время, заставляла съесть кусок хлеба с маслом и сыром, который я не любила и почти всегда незаметно отдавала собаке, и мы отправлялись в детский сад. Путь был неблизким - шли мы минут двадцать, потом поднимались по темной лестнице и оказывались в полутемной прихожей большой квартиры, где уже раздевались несколько детей, приведенных чуть раньше. Няня Оля сразу же уходила, и я оставалась одна. Ко мне подходила либо руководительница детского сада, либо единственная воспитательница, которая ни слова не знала по-русски. Но немецкому языку она меня не учила и единственным, что я с ее помощью постигла, оказалось умение завязывать шнурки на ботинках. Из прихожей меня переводили в большую комнату, где стояли квадратные столики, для каждого ребенка отдельно, вручали

металлический квадрат с вырезанным в нем отверстием и карандаши или акварельные краски, через эти рамки нужно было что-то рисовать и раскрашивать.

Иногда с детьми водили хоровод, при этом что-то пели, но за весь зимний сезон я так ничему и не научилась и всегда радовалась, когда вновь появлялась Оля и уводила меня домой, куда мы успевали как раз к обеду.

Больше мне этот детский сад запомнился тем, что здесь у меня появилась первая в моей жизни подруга - Таня. Выяснилось, что мы живем в соседних домах. Наши родители тоже познакомились и, посоветовавшись, разрешили нам с Таней самостоятельно, без взрослых, возвращаться из детского сада домой; доверие это, естественно, нас радовало, кроме того мы могли продлить на какое-то время радость нашего общения. Дружба с этой девочкой (она была чуть постарше меня) стала еще более интересной и веселой. Мы стали ходить друг к другу в гости, вместе играли и гуляли. У Тани было много увлекательных игр, хороших книг и замечательных игрушек.

Самым интересным оказалось происхождение Танюши. Она была из старинного рода князей Кропоткиных, которые когда-то владели замком в Сигулде (Зегевольде). Можно предположить, что она могла носить титул княжны Кропоткиной, но тогда, в детстве, мне это ничего не говорило. Родители Тани редко бывали дома, и нам никто не мешал развлекаться. Если же ее папа оказывался дома и не был занят своими делами, он приходил к нам в детскую и играл вместе с нами. Но случилось так, что Таня пошла в школу раньше, чем я, а нам с сестрой мама взяла гувернантку, которую мы называли фрелайн, и наши с Таней пути разошлись. Мы виделись все реже, потом подошел роковой 1939 год, Кропоткины не стали испытывать судьбу и уехали, как многие тогда, в Германию.

Об этой своей первой дружбе я вспомнила в конце пятидесятых, когда в журнале прочла статью по палеогеографии, автором которой был князь Кропоткин, родственник Тани.

Наша фрелайн

Прошло радостное, полное впечатлений лето, за которое я научилась плавать и ездить на велосипеде. Обучали всему этому меня двоюродные сестры.

В то лето дом был полон гостей, спали кто где - кто-то в рабочем сарае, кто-то под тростниковым навесом, под которым зимой ставили лодки. Тетя Лида строила свою маленькую дачку. Словом вокруг царил веселая суэта. Но как случается каждый год, кончилось и это чудесное лето. Пришла осень 1934 года, и мы перебрались в свою рижскую квартиру. Мама, неудовлетворенная моим знанием немецкого языка, полученным в детском саду, подобрала учительницу, или как раньше говорили - гувернантку. В моей памяти она осталась как "фрелайн", что по-немецки означает барышня. Она оказалась очень милой,

приветливой девушкой лет двадцати, студенткой Рижского университета. Приходила к трем часам дня и, пообедав вместе с нами, выводила нас с сестрой на прогулки по городу, постоянно о чем-то рассказывая и что-то объясняя. Нередко заглядывали и в разные музеи. Фрелайн читала нам сказки братьев Гримм и Андерсена, и все это по-немецки, но очень живо и интересно. Результат превзошел мамины ожидания, и уже через месяц нашего общения с молоденькой учительницей я свободно заговорила по-немецки.

В Риге фрелайн оказалась после 1918 года. Ее отец-француз служил в Москве и погиб в мясорубке революции. Она нам рассказывала, как они тогда голодали, и ей, подростку, в любую непогоду приходилось стоять долгие часы в очереди за миской жидкой каши или краухой хлеба. Тогда все это представить было еще очень трудно.

Но прежде чем начались наши регулярные занятия, у меня с мамой произошел очень серьезный инцидент, за который я получила запомнившееся надолго наказание. В первые дни пребывания у нас фрелайн, я громогласно заявила маме (хорошо еще, что в отсутствие нашей новой учительницы), что не хочу и не буду учить немецкий язык, потому что немцы - наши враги. Дело в том, что как раз в те годы в Германии пришел к власти Гитлер, который стал интенсивно вооружать свою страну, и вся Рига, все взрослые только об этом и говорили. Мое категорическое заявление вызвало у мамы не просто взрыв гнева. Ни слова не говоря, она оторвалась от стирки, вытерла руки, сняла с себя черный замшевый пояс, отвела меня в спальню, положила поперек кровати и дважды пребольно стегнула меня по мягкому месту, называемому попой. При этом мама приговаривала: "Я так хочу, чтобы вы стали образованными, это так дорого стоит, а ты, ты!.. К тому же знать язык врага очень нужно". Долго я тогда рыдала от обиды, пока не уснула. А потом все рассосалось, фрелайн мне полюбилась, она занималась с нами несколько лет и хорошо подготовила не только по немецкому языку, но научила говорить и по-латышски. Но в 1939 году наша симпатичная учительница, поддавшись тогдашним настроениям, покинула Ригу и уехала в "фатерланд".

ШКОЛА

Незаметно в играх, прогулках на каток (тогда в Риге он заливался на несколько месяцев - такие стояли морозы!), занятиях то с мамой, то с фрелайн, летних купаниях в реке, прогулках на велосипеде или на лодках подошел 1936 год. В августе мне исполнилось восемь лет, и мама повела меня в 13-ю русскую Рижскую городскую основную школу, которая в то время считалась лучшей. Школа эта имела свою историю. В 1904 году Наталья Семеновна Винзерайс-Вершканская (1871-1950) открыла четырехклассную женскую гимназию, которая просуществовала до 1915 года, когда была эвакуирована в Дерпт (Юрьев, Тарту). В Латвию Наталья Семеновна вернулась в 1918 году и вновь открыла учебное заведение на Большой Грешной улице (Грециниеку), почти напротив Дома Черноголовых. Однако экономический кризис 1930 года привел к закрытию гимназии в 1933 году. Вместо <Гимназии Винзерайс> была открыта 13-я рижская городская школа, сохранившая отличный учительский коллектив и

достойные традиции. Здесь учились дети из многих интеллигентных семей. Школа состояла из дошкольного класса, посещение которого не считалось обязательным, и шести основных. Мне, не посещавшей дошкольный класс, пришлось держать первый в своей жизни экзамен: по арифметике - счет до ста и все четыре действия до двадцати, и по русскому языку - чтение и письмо. Я же долго не могла научиться бегло читать, может быть, потому, что когда мама предварительно прочитывала мне текст, я благодаря отменной памяти ухитрялась запомнить его наизусть. Но вступительные экзамены я все же сдала успешно и была зачислена в первый класс.

9 сентября 1936 года я переступила порог первого класса в подготовленной мамой новенькой школьной форме - синем платье с белыми воротничком и манжетами и черном фартуке. На плечах был школьный ранец (хотя мне так хотелось появиться в классе с портфелем!) со всем необходимым первоклашке содержимым. Сначала чувствовала себя в классе не очень уютно: вокруг суета, шум, тридцать незнакомых лиц: Но вот пришла учительница, успокоила нас, рассадила по местам. Представилась - Вера Ивановна Лопатина, будет нашим классным руководителем, а заодно - учить нас арифметике. Начиная с первого класса, на каждый предмет был свой учитель. Русский язык вела у нас Евгения Ивановна Аронет, латышский язык и рисование учитель А. Пильдегович. Он позднее вел еще историю Латвии и географию на латышском языке. Был у нас еще такой замечательный предмет - чистописание; еще пение и гимнастика, которая мне не очень удавалась, а, может быть, просто учительница Людмила Ивановна за что-то невзлюбила меня и с заметной регулярностью ставила мне <тройки>. Позднее подобное случилось и с рисованием, которое вела она же.

Постоянное место мне определили за третьей (или четвертой?) партой. Как-то на перемене ко мне подошла коротко стриженная темноволосая девочка и сказала: <Меня зовут Ира Ион, давай дружить>. Я не задумываясь согласилась. И мы дружили до самого-самого апреля 1941 года, когда семья Ион репатрировалась в Германию. Так оказалось, что дорога в школу у нас была одна, только Ира жила подальше. Ее всегда провожал отец, спешивший всегда в это время на работу, и я присоединялась к ним. Мы шли по темным узким улочкам Старой Риги, мимо домов, некоторые из которых стояли здесь уже по полтысячи лет, над ними возвышалась башня Домского собора. Площади перед ним тогда не было, все нынешнее пространство перед собором было плотно застроено древними домами, позднее разобранными. В общем, это была настоящая, древняя Старая Рига ганзейских купцов и немецких ремесленников.

В школу приходили к 8.45. Вера Ивановна строила нас парами и вела в зал, где проходила утренняя молитва. Помню, как две старшеклассницы по очереди читали тексты из Евангелия. Я слушала их не очень внимательно, ибо многое мне было непонятным, запомнилось только: <От Матфея:> да <От Иоанна:>. Потом все вместе выпевали одну или две молитвы и парами расходились по классам, где сразу же начинались уроки. С первого по четвертый классы

одним из предметов был Закон Божий. Хорошо запомнились уроки в первом-втором классах, их вел Сергей Алексеевич Белоцветов (1873-1938), брат видного деятеля русской общественной жизни Латвии Николая Алексеевича Белоцветова (1863-1935). Высокобразованный (он окончил Духовную семинарию и юридический факультет Московского университета), очень интересный человек - он вел уроки так, что можно было заслушаться, при этом никогда не давил на нас, не заставлял попусту зубрить, не обижал постоянными напоминаниями о том, что мы маленькие. К сожалению, эти замечательные занятия закончились в середине моего второго учебного года, когда Сергей Алексеевич тяжело заболел (взрослые говорили, что у него был какой-то <рак>) и вскоре скончался. На похоронах было очень много народу - в городе его хорошо знали и любили. После его кончины уроки Закона Божьего казались нам совершенно серыми и ничем не запомнились, что-то от нас там требовали такое, что очень не хотелось выполнять:

Были в той скучноватой повседневности события, которые возбуждали общественную интеллектуальную энергию и без которых воспоминания о прожитых днях могли бы показаться блеклыми и недостойными серьезной памяти. Для меня, тогда восьмилетней школьницы, как для очень многих русских в Латвии таким событием стали Дни А. С. Пушкина, приуроченные к столетию со дня его гибели. В школе начали готовиться к этому юбилею еще с осени 1936 года. Учитель пения Владимир Григорьевич Глаголев, предварительно познакопив нас с основами нотной грамоты, повел весь класс в зал к фортепьяно, выстроил всех в ряд и, проверив вокальные возможности каждого из учеников, обратился ко мне: <Будешь петь первым голосом>. Что это такое для меня тогда оставалось еще неясным, но мое место в хоре было определено в нижнем ряду, а мне почему-то так хотелось оказаться повыше, чтобы меня отовсюду было получше видно. За что же меня так? И вот за роялем наш педагог, а мы, первоклашки, начинаем разучивать мелодии, написанные разными композиторами на темы произведений А. С. Пушкина. Запомнился мне и полюбился хор девушек из оперы П. И. Чайковского <Евгений Онегин>. <Девушки-красавицы, душеньки подруженьки>, - старательно выпевали мы. Так же хорошо запомнился романс на стихи <Буря мглою небо кроет:> Сначала мы распевались на уроках, а после занятий все классы, в том числе и малыши, собирались в зале и репетировали, репетировали, репетировали: Каждый уже знал свое место в общем хоре и старался как мог. И как же могло быть иначе, когда почти вся русская общественность Риги в те дни была охвачена подготовкой к Пушкинским дням. К ним активно готовились в Русском клубе, Русском театре. Приехал в Ригу с интереснейшими лекциями о Пушкине и его эпохе известный русский философ Иван Александрович Ильин¹. 10 февраля в Кафедральном соборе отслужили торжественную панихиду, посвященную столетию гибели великого русского поэта. В школе провели торжественный акт, к которому готовились все. Я тоже пела в школьном хоре. Старшеклассники читали стихотворения, отрывки из других произведений А. С. Пушкина. В памяти осталась цельная и очень яркая картина этого события. В конце торжественного акта нам, малышам, подарили открытки с портретом поэта, и я каким-то

чудом сохранила этот памятный подарок. Все старшеклассники получили по книге: <А. С. Пушкин. Юбилейное издание для школ. 1837-1937>, изданной в Риге по инициативе Пушкинского комитета и под редакцией Е. М. Тихоницкого и А. П. Моссаковского, лучших русских педагогов и общественных деятелей города. Через год летом мой двоюродный брат Витя, который тогда

1 Ильин Иван Александрович (1882-1954) - русский философ, представитель неогегельянства. С 1922 года в эмиграции, где активно занимался помимо философии публицистикой, став одним из немногих деятелей русского зарубежья, кто до конца отстаивал традиционные русские человеческие ценности - религию, государство, семью, свободу духа как защиту от жестоких социальных экспериментов двадцатого века.

числился в шестом классе 6-й русской основной школы, принес мне эту памятную книжку, и я тогда прочла <Капитанскую дочку>, впервые узнав о Пугачевщине и русском бунте <бессмысленном и беспощадном>.

Пушкинскими днями наша культурная жизнь не ограничивалась. Мама по воскресеньям водила нас на дневные спектакли в Русский драматический театр. Запомнилась <Красная шапочка>, где роль героини играла актриса Александрова, мне она тогда показалась чересчур высокой и взрослой для Красной Шапочки. Был спектакль <Сказка о царе Салтане>, от которого в памяти остались лишь фрагменты, особенно со сватьей бабой Бабарихой, роль которой играла знаменитая тогда актриса Лидия Николаевна Мельникова, с которой через много лет судьба свела меня в коммунальной квартире, где жила моя одноклассница по вечерней школе. Лидии Николаевне тогда было уже немало лет, погрузневшая, она любила сживаться в коммунальной кухне в своем изрядно изветшавшем кресле и беседовать с <новым поколением>, как она нас тогда называла. К сожалению, скоро ее не стало.

Но вернемся ко второй половине тридцатых. В Оперном театре тогда славилась балерина Федорова. Она также ставила спектакли, открыла в Риге балетную школу. Помню, как меня, еще пятилетнюю, повели на <Щелкунчика>. Во время спектакля подошло время моего детского полуденного сна. Я засыпаю и чувствую, что кто-то из взрослых подталкивает меня под локоть: <Не спи, не спи, сейчас будет Щелкунчик танцевать!> Я напрягаюсь и вижу - выходит мальчик (или балерина) в костюмчике и танцует. <Какой же это Щелкунчик? Щелкунчик деревянный, а этот живой. Нет, совсем это не Щелкунчик!..> Позже я с большей радостью ходила на балеты, но тогда: У старших двоюродных сестер были знакомые в кинотеатре <Палладиум>, которые снабжали их контрамарками на воскресные фильмы для детей. Тогда среди молодежи особенно славились фильмы с участием совсем юной, но уже очень популярной американской актрисы Шерли Темпл2. Я тоже с большим увлечением смотрела их. Очень нравились нам мультяшки, они тогда выходили редко, но то, что запомнилось, осталось в памяти навсегда как зрелище

необыкновенное, яркое, красочное и живое.

Со второго класса я увлеклась чтением и буквально <глотала> книгу за книгой. Сначала, как почти все тогдашние девочки, влюбилась в повести Лидии Чарской³. <Записки институтки>, <Княжна Джаваха>, <Людмила Власовская>, <Газават>, <Сестра Марина> и другие ее книги притягивали тогда девочек своей задушевностью, женственной трепетностью, загадочностью фабулы. В советское время чтение этих книг не поощрялось, а жаль,

2.Шерли (р. в 1928 г.) - американская актриса. Снималась в кино с трех лет. Непосредственность, с которой Темпл играла роли милых девочек (в фильмах <Бедная маленькая богачка>. <Маленькая мисс Бродвей> и др.) принесли ей славу одного из самых популярных <юных дарований> Голливуда. В 1934-1939 гг. входила в список десяти наиболее доходных <звезд> американского кино. Лауреат специальной премии <Оскар> (1934).

3 Чарская (псевдоним, настоящая фамилия - Чурилова) Лидия Алексеевна (1875-1937) - русская писательница. Окончила Павловский женский институт в Петербурге. С 1898 по 1924 гг. - актриса Александринского театра. Ее стихи и проза для детей и юношества пользовались большой популярностью. Многие повести Чарской посвящены жизни воспитанниц закрытых учебных заведений (<Записки институтки>, <Княжна Джаваха>, <Людмила Власовская> и др.), а также различным периодам русской истории (<Смелая жизнь> о Надежде Дуровой, <Газават> о войне с Шамилем и др.). поскольку в них было много тепла, чистой любви и интересных событий. Другим моим любимым писателем (правда, чуть поз-же - в четвертом-пятом классах) стал Жюль Верн. Его <Дети капитана Гранта>, <Пятнадцатилетний капитан>, <Таинственный остров> и другие книги хорошо подготовили почву, на которой возросло мое увлечение серьезными путешествиями на Север, в сибирскую тайгу, в дальние страны, ставшей основой для моей будущей профессии геолога, в которой я всегда чувствовала себя вполне удовлетворенной и счастливой. Каждая книга Жюль Верна мною переживалась, я чувствовала себя участником приключений или исторических событий. Папины знакомые - заведующий библиотекой Русского клуба Б. А. Энгельгард и М. М. Дидковский, владелец книжного магазина на улице Дзирнаву заметили мою книжную страсть и если не мне лично, то через папу, передавали хорошие книги из которых я узнавала о героической обороне Севастополя, об освободительной войне болгарского народа, о кавказских войнах, причем мои симпатии тогда почти всегда были на стороне горцев.

Как-то году в 37-м (или в 38-м?) отец к огромной моей радости принес в дом радиоприемник VEF. Такое приобретение в те годы было не менее значимо, чем в середине пятидесятых годов - телевидение, а в наши дни - интернет. Высоко - на самой верхушке тополя - папа закрепил антенну. Эфир в те годы еще не был так забит, как сейчас, и слышимость была вполне приличная, особенно хорошо шли передачи из Москвы. В доме зазвучала музыка - оперная, классическая, популярная. Всем полюбились песни И. Дунаевского, В. Соловьева-

Седого и других советских композиторов. Молодежь распевала <Три танкиста>, <Если завтра война...>, <Широка страна моя родная...>, <Катюшу>... Отец же главное внимание уделял последним известиям, пытаясь разобраться в сложных политических интригах, разворачивавшихся в мире, был ими весьма встревожен и, по-видимому, желая высказаться и не находя в нужный момент другого собеседника, старался это объяснить мне - девятилетней девочке.

В те годы отец был ярый славянофил. Он отстаивал идею объединения всех славянских народов невзирая на их религиозную принадлежность и политический строй славянских государств. Далек не все, даже русские рижане, его в этом поддерживали. Оказывались среди них и такие, кто симпатизировал агрессивности Гитлера, к 1937 году уже явно проявившейся. Первой его жертвой стала Австрия - 13 марта 1938 года она была насильно присоединена к нацистской Германии. Большинство европейских государств лицемерно <не заметили>этого.

События, о которых сообщало московское радио, тоже очень настораживали. Речь шла о каких-то непонятных для нас актах вредительства и саботажа, чуть ли не о заговорах и связанных с ними арестах с последующими расстрелами. Репрессии в СССР коснулись уже высшего военного и государственного руководства. Истинные масштабы того, что происходило в Советском Союзе, еще не были для многих известны, но от этих радиопередач было уже жутковато. Я вместе с папой слушала их, не понимая до конца сути услышанного.

После Австрии зазвучало все чаще еще одно незнакомое слово - Судеты. Теперь-то я знаю, что это - западная часть Чехословакии, в значительной мере заселенная немцами и обладавшая хорошо развитой промышленностью. С молчаливого согласия правительств Англии и Франции гитлеровцы присоединили к своему рейху и этот кусочек Европы, а ровно через год после захвата Австрии - 15 марта 1938 года - нацистские войска вошли в Прагу. Чехословакия пала практически без сопротивления. Всё это обсуждалось и переживалось в нашем доме, и потому хорошо запомнилось.

Европейские события глухим эхом отозвались и в моей родной Риге. Почему-то в городе было заготовлено к зиме очень мало топлива (и угля, и дров). дома - и частные, и общественные - отапливались плохо, в школьных классах было порой очень холодно, что, вероятно, стало причиной быстро распространившейся в марте 1939 года эпидемии кори. Очень многие школы, в том числе и наша, были временно закрыты. Помню, как я, вся в красной сыпи и с высокой температурой, лежала в комнате с занавешенными окнами. Но папины усилия по закаливанию моего организма не прошли даром, мне удалось справиться с тяжелой болезнью, догнать своих одноклассников и в конце учебного года даже получить за хорошую учебу награду - книгу с добрыми напутствиями нашей классной руководительницы Веры Ивановны.

Подошло предпоследнее довоенное лето. Мы вновь на любимой даче в Сосновке. Занимаемся посадкой и уходом за цветами и огородом. Очень скоро я уже с гордостью принесла маме первую корзинку салата, затем пошли редис, зеленый лук, укроп, попозже огурцы - я даже не верила, что все это удалось вырастить мне (ну, конечно, с помощью взрослых, но всё же!..) Мама в мои огородные дела старалась не вмешиваться, но отец, как и во многом, бывал строг, когда замечал, что я поленилась и что-то недопопила или недополола. Иногда даже наказывал за это.

Тем временем радио продолжало извещать о новых требованиях Гитлера. На этот раз все лето шел разговор о том, чтобы поляки передали Германии так называемый Данцигский коридор, соединявший Германию с Восточной Пруссией. На веранде у нас висела политическая карта Европы, на которой отец флажками помечал очередные изменения границ Третьего Рейха. Я тоже внимательно следила за этими событиями, а карту уже знала наизусть.

В те же предвоенные годы (1937-1940) я впервые очень заинтересовалась скаутским движением, на что были свои причины. Мой двоюродный брат Виктор и многие его товарищи были скаутами. Они часто собирались в нашем рижском доме, живо обсуждали прошедшие сборы, рассказывали эпизоды из жизни в летних скаутских лагерях, увлеченно готовили номера художественной самодеятельности к предстоящим праздникам. Мальчики охотно посвящали в свои дела и меня. Иногда мы вместе пели, разучивали стихотворения, что тогда было очень распространено. Декламировать умел и любил и Виктор, я же старалась не отставать от него, тем более что память у меня всегда была отменная... Но самым главным обстоятельством, так тянувшим меня в скаутские ряды, было то, что мой отец в те годы принимал самое активное участие в развитии русского скаутского движения в Латвии, воспитывал молодых людей в духе высокого патриотизма, учил их мужеству и дисциплине.

Но обо всем этом в следующей главе...

БАБУШКИН ДОМ

Окуневы.

Сидкевичи.

Никифоровы

На полуразрушенных временем и варварами могильных плитах, надгробных памятниках и крестах рижского православного Покровского кладбища и католического Микеля иногда еще можно разобрать полустертые временем трогательные эпитафии. Вот одна из них: "Слезы Благодарности сопровождают Тебя, возлюбленный супруг, дражайший отец, детям своим составлял все блаженство на земли. Здесь покоится прах рискового купца Арсентия Степанова Окунева. Скончавшегося 1850го ноября 22 дня на 45 году отъ рождения".

Для меня эта эпитафия особенно трогательна еще потому, что "риский" (то есть - рижский) купец Арсений Степанович Окунев - отец моей прабабушки Марии Арсеньевны, родившейся в 1847 году, и ее тогда четырнадцатилетнего брата Коли. Неизвестно, как сложилась бы судьба двух сирот и их матушки, если бы отец не оставил им хорошее наследство. Наследники продолжили дело Арсения Степановича, и вот уже сын его Николай Арсеньевич Окунев (1836-1909) - рижский купец Первой гильдии, оставшийся в благодарной памяти потомков как один из значительных жертвователей на строительство кладбищенской каменной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, возведенной в 1875 году на месте сгоревшей деревянной. Внук Арсения Степановича Николай (1878-1935) - двоюродный брат моей бабушки Марии - после окончания Александровской гимназии (первой русской в Риге) какое-то время занимался предпринимательством и, будучи от природы наделен "бархатным басом", одновременно выступал чтецом и певчим в Александро-Невском храме, а с 1924 года стал дьяконом в этой церкви.

Когда маленькая Мария подросла, мама определила ее в рижскую немецкую женскую гимназию (русской гимназии для девочек тогда еще в Риге не было). Получив хорошее образование, она почти сразу по окончании гимназии выходит замуж за известного в Риге поляка-католика Иоганна Августовича Сидкевича (1841-1901). 24 апреля 1867 года у молодых супругов появляется на свет дочь, которую по настоянию отца крестили в католической церкви и нарекли двойным именем Фридерика-Мария. В 1872 году у пятилетней девочки появилась сестричка Елизавета-Климентина.

Фридерика-Мария, как и ее мать, окончила немецкую гимназию, где овладела несколькими иностранными языками и мастерством рукоделия, была очень религиозна. Но вот в конце восьмидесятых годов девятнадцатого столетия красивая, образованная и прекрасно воспитанная девушка неожиданно влюбляется в русского офицера, служившего в рижском гарнизоне. Он был старше ее на два года, тоже красив, неплохо образован, но, увы, небогат. Дмитрий Дмитриевич Никифоров (1865-1932) был всего лишь артиллерийским капитаном, кадровым офицером российской армии, не очень обеспеченным, хотя и имел звание потомственного почетного гражданина¹. (Про таких офицеров потом в книге про генерала А. И. Деникина 2 напишут:

Почетные граждане - В России с 1832 года привилегированная категория сословия "городских обывателей" - купечества или духовенства. Звание присваивалось императорским указом и разделялось на потомственное и личное. Все почетные граждане освобождались от подушной подати, рекрутской повинности, телесных наказаний, имели право участия в городском самоуправлении. В 1858 г. в России было 21,4 тыс. почетных граждан." Среди служивых людей с давних пор не было элемента настолько обездоленного, настолько необеспеченного и бесправного, как рядовое русское офицерство. Буквально нищенская жизнь, попрание сверху прав и самолюбия; венец карьеры для большинства - подполковничий

чин и болезненная, полугодовалая старость".) Молодые встречались тайно, так как Фридерика-Мария хорошо знала жесткий характер отца и понимала, что он восстанет против ее брака с русским офицером.

Но долго скрывать свою любовь Фредерика-Мария не могла, и когда Дмитрий Дмитриевич сделал ей предложение, пришлось открыть родителям свою тайну. Как и следовало ожидать, отец был взбешен и резко отказал в благословении, категорически запретив ей даже думать о таком замужестве. В отчаянии девушка решается нарушить запрет горячо любимого отца, обычаи и традиции семьи, и однажды ночью, закрыв лицо черной вуалью, тенью она выскользнула из родительского дома и торопливо прошла в переулок, где в наемной карете ее ожидал жених. Экипаж помчал жениха и невесту в гарнизонную церковь, где их уже ждали батюшка и свидетели. Сначала Фредерика-Мария в соответствии с требованиями того времени прошла обряд принятия православия, оставив себе имя Мария, а потом уже предстала перед алтарем в качестве невесты Дмитрия Дмитриевича Никифорова. Священник благословил молодых и после скромной свадьбы, новобрачные поселились в гарнизонной квартире мужа.

Иоганн Августович еще очень долго возмущался поступком старшей дочери (к слову - младшая, Клементина, впоследствии поступила так же) и никак не хотел смириться с тем, что она стала женой военного, да к тому же православного, но время лечит, и пришел час, когда гнев отца и тестя поутих, и молодые перебрались жить в родной дом Марии Иоганновны на улице Большой Невской (теперь ул. Блауманя), № 1. Там 11 сентября 1891 года в семье молодых Никифоровых появился первенец, нареченный Александром, сразу же ставший любимцем бабушки Марии Арсеньевны. Еще через год, 20 октября (2 ноября) 1892 года в семье появился второй сын, названный Стахией, в честь апостола от семидесяти, епископа Византийского. Именины Стахия приходятся на 31 октября (13 ноября) - по всей вероятности это был день крещения младенца. Впоследствии бабушка рассказывала мне, что выбрала это редкое православное имя не случайно - оно было созвучно польскому католическому Стах (от - Станислав).

Прошел еще год, сыновья подрастали, старший - все больше на руках своей бабушки, младшего опекала сама мама. В конце декабря 1893 года на свет появилась их сестричка, крещеная Лидией и спустя еще два года, в 1895 году, родилась Зинаида.

Дмитрий Дмитриевич по долгу службы периодически должен был выезжать на военные учения в Вецпиебалгу, и многодетное семейство часто сопровождало его. Временами Мария Иоганновна с детьми, которые еще не учились, жила в доме своих родителей. Старик Сидкевич давно сменил гнев на милость, очень полюбил внуков и радовался, когда его дом наполнялся детским смехом и шумом. Однако к супругу дочери он относился все так же холодно.

Летом Мария Иоганновна любила приезжать вместе с детьми в родительское имение "Шваанензее" ("Лебединое озеро"), находившееся в местечке Икшкиле, в 25 километрах от Риги. Этот райский уголок когда-то перешел к Марии Арсеньевне в наследство от родителя Арсения Степановича Окунева. Став взрослыми, мой отец и его сестры, мои тетушки, с особой теплотой вспоминали дни своего детства, проведенные в "Шваанензее". Это действительно удивительные по своей прелести места. В старом парке находился пруд, через который был переброшен изящный мостик, украшенный вдоль перил изумительным деревянным кружевом. К сожалению, в Первую мировую войну мостик сгорел, позднее осушили и пруд:

Дети целыми днями купались, играли со сверстниками, катались на лошадях. У маленького Стасика был свой пони, и каждое утро он взбирался на лошадку и выезжал на ней на проселок. Умный пони прекрасно понимал, что за седок ему достался, и как только ему надоедало возить на себе мальчика, он осторожно сбрасывал его в траву на обочину. Обиженный маленький наездник с плачем возвращался к маме, а верный пони следовал за ним. Но пришло время, когда юный кавалерист почувствовал себя в седле более уверенно, и тогда между ним и лошадкой завязалась настоящая дружба.

Управляющим имения был некто Конюшков, у него были три сына и дочь, ровесники детей Марии Иоганновны. Дети, как водится, быстро подружились, и дружба эта сохранялась многие годы.

Год за годом проходили относительно спокойно, и незаметно настало время учиться. Дети один за другим поступали в различные учебные заведения. Стаса родители определили в лучшую тогда в Риге Александровскую гимназию, в которой он проучился несколько лет, но, выбрав военную карьеру, примерно в 1904 году поступил в Сумской кадетский корпус.

К началу двадцатого столетия здоровье Иоганна Августовича стало сдавать, он оставил дела и перебрался жить в имение. К сожалению, это не помогло. Понимая, что болезнь его неизлечима и чувствуя приближение кончины, мой прадед Иоганн Августович Сидкевич пригласил к себе нотариуса и в присутствии свидетелей составил завещание на наследство, тем самым разумно и справедливо разделив имущество между супругой и потомками, при этом не забыв и семью своего сводного брата по матери. Существенный вклад он завещал и церкви. Несмотря на все революционные и военные бури, пронесшиеся над страной, документ этот сохранился и даже был признан действительным в конце XX века. Скончался И. А. Сидкевич в декабре 1901 года. Горе супруги и дочерей было безутешно - покойному было всего шестьдесят лет. Его восьмилетняя внучка Лида на всю жизнь запомнила, как дедушку в гробу привезли в Ригу и похоронили на кладбище Микеля в родовой могиле, где покоились его мать и сестра.

Пятидесятичетырехлетняя вдова после кончины супруга решила жить вместе с семьей старшей дочери - она очень любила внуков. Теперь вся семья Никифоровых окончательно переехала на жительство в старинный двухэтажный дом на улице Большая Невская (Блаумана) № 1. Это совсем рядом с Александро-Невским храмом, который вся семья посещала по воскресеньям и церковным праздникам. В доме тогда не было современных "удобств". Ванной комнаты тоже не было, у каждого в спальне был свой умывальник - тазик, кувшин с водой, вешалка для полотенца. Освещались комнаты керосиновыми лампами и свечами. Позднее, когда провели электричество, в столовой, как память, оставался стеклянный абажур от керосиновой лампы, покрывавший теперь лампочку электрическую. За прихожей располагался "сухой" туалет с постоянно открытым для проветривания небольшим окошком, из которого исходили соответствующие запахи. Внутренний двор дома был вымощен булыжником. В большом подвале хранились дрова, которыми в холодное время топились печи и кухонная плита.

Главным помещением квартиры считался парадный зал, обращенный тремя большими окнами к улице. Стены зала были обиты ярко-синими с золотым орнаментом обоями. Три двусторчатые резные двери выходили в прихожую, в столовую и в спальню для девочек. В углу, между второй и третьей дверью, возвышалась редкой красоты белая кафельная печь, отороченная дивным орнаментом, обогревавшая сразу три комнаты: зал, детскую и спальню родителей. Интересно, что в последней не было ни одного окна, так как она упиралась в глухую противопожарную кирпичную стену.

Обстановка зала соответствовала своему назначению. Между окнами от самого пола до потолка были установлены два зеркала в черных резных рамах; в углу, ближе к двери в детскую, стояло пианино, на котором любили играть обе Марии. Перед окнами в цветочных кадках росли внушительных размеров пальмы и фикусы. На стенах развешаны в позолоченных рамах портреты предков. Помню на одном из них красивую даму в желтом, а на другом - сидящих за небольшим овальным столиком трех представительных мужчин в мундирах при орденах и лентах. На мой вполне уместный для ребенка вопрос: "Кто это?", я получила ответ: "Твои предки". Сейчас приходится только сожалеть о том, что в 1940 году после установления в Риге советской власти мои тетушки вынесли картины во двор и сожгли. Они испугались, что если портреты увидят представители новой власти, их хозяевам, "социально враждебным элементам", несдобровать. Возможно, они были правы.

Столовая в квартире была намного скромнее зала: одно трехстворчатое окно смотрело во двор, обычная кафельная печь примыкала через стену к плите на кухне и через нее же отапливалась. На оранжево-красных стенах - картины, изображавшие охотничьи трофеи: утки, рыбы и еще что-то. Над обеденным столом - керосиновая лампа с белым стеклянным абажуром. На столе почти всегда красовался уникальный самовар, изображавший трехногого

петуха, клюв которого служил краном, крыльях - ручками, а гребешок - крышкой. Через весь самовар, снизу доверху, проходила железная труба, в нее забрасывали древесный уголь. А снизу укладывали смолистые еловые лучинки. Роль мехов для раздувания огня обычно выполнял сапог. Угли быстро краснели, вода в самоваре закипала (в таких случаях говорили: "Самовар зашумел!"), поверх крышки устанавливали заварной чайник. Чаевничать за тем столом было удивительно вкусно и уютно. Вдоль стен столовой очень гармонично расставлены старый удобный диван, стулья, буфет. Около окна - два ученических письменных стола, за которыми мы занимались, читали и готовили уроки. Много чудесных воспоминаний связывает меня с этим домом. Я очень любила бывать у бабушки - сначала с родителями, а потом самостоятельно, часто заглядывала и после школы, перед тем как идти домой. Помню дедушку Дмитрия Дмитриевича в этом доме, но очень отрывочно (он скончался весной 1931 года, когда я была еще совсем маленькая) - вот он сидит в столовой, прислонившись к кафельной печи, и говорит мне что-то ласковое, я в ответ что-то лепечу. Другая картина, более грустная - дедушка лежит в своей комнате (которая без окон) в постели. Рядом с ней на столике стоит старый голубой кофейник. В моем присутствии дед старается не стонать от одолевающих его болей. Я зашла одна и ничего не понимаю; но вот кто-то из старших, найдя меня здесь, берет за руку и уводит в другую комнату...

Скоро дедушки не стало - вижу себя и всех родных в большой, заполненной какими-то людьми комнате, в руках держим зажженные свечи... Возле окна, на столе - гроб, в нем лежит неподвижно совсем незнакомый дедушка. Священник служит панихиду. Мама внимательно следит за горящей в моих руках свечкой. "Осторожно", - говорит она, но свечи из моих ладошек не забирает...

С кончиной деда жизнь в старом доме продолжалась. Теперь в нем жили бабушка Мария Иоганновна, ее дочь - моя самая любимая и никогда не унывавшая тетя Лида с сыном Виктором (1923-1993), дочка тети Зины Галина (1920-2001), а также хромающая с детства и давно ставшая родной нам всем прислуга Марта.

Я очень любила бывать в этом доме - просто так, пообщаться, ибо духовная атмосфера, царившая в нем, обогащала меня, придавала бодрости и доброго настроения.

*

*

*

Одним из самых радостных событий тех лет было празднование в бабушкином доме сочельника накануне Рождества Христова. К празднику этому все готовились загодя - и дети, и взрослые. Мы с Ириной (не без помощи взрослых, конечно) делали для елки украшения. В ход шли цветная бумага, конфетные фантики, краски, грецкие орехи и даже маленькие яблочки.

24 декабря - день особый. К тому же еще - школьные каникулы, так что можно вдоволь выспаться. Подымаемся с радостным волнением и предощущением большого праздника. Сначала я с папой иду на Эспланаду - площадь, находившуюся сразу за Христорождественским собором. Здесь папа долго, советуясь со мною и объясняя какая лучше и какая будет стоять дольше, поторговавшись с продавцом, выбирал и, наконец, покупал высокую, до трех метров, елку. И вот мы снова дома, на нашем пятом этаже. По всей квартире растекается смолистый аромат хвойного леса. Отец надежно закрепляет елку, а мы с сестрой торопимся ее украсить игрушками, гирляндами и установить восковые свечи. Мама в наше дело не вмешивается, хлопочет на кухне и только тогда, когда елка наряжена, выходит к нам и возбужденно восклицает: "Ах, как красиво!"

А праздничное настроение нарастает. Теперь торопимся нарядиться сами, чтобы идти к любимой бабушке встречать Сочельник.

Все улицы покрыты пушистым снегом, он хрустит под ногами. Во многих окнах домов видны наряженные елки, на некоторых уже зажжены свечи. Торопятся со своими седоками извозчики, в санях нарядно одетые возбужденные люди, звенят поддужные колокольчики и бубенчики на упряжи. Мы проходим через Шведские ворота, переходим по мостику на другой берег городского канала и снова оказываемся на Эспланаде, где не только елочный базар, но и веселая, шумная и суетливая рождественская ярмарка - множество пестрых ларьков, в которых чего только нет! Как мне, сладкоежке, нравятся горячие вафли со сливками, но всё это потом, завтра, послезавтра - все каникулы, которые еще только-только начались... Пересекаем площадь, проходим по улице Бривибас (Александровская) до церкви Александра Невского, и около нее сворачиваем направо. Вот он - наш старый дом, отгороженный от мостовой заснеженными старыми липами. Несколько крутых ступенек с улицы, затем деревянная винтовая лестница, всегда тщательно помытая и ухоженная... Дергаем за веревочку звонка-колокольчика, дверь гостеприимно и широко раскрывается: "Ну, наконец-то, ждём уже!.." Витя, Галя, тетя Лида (пока в фартуке), чуть поодаль - бабушка. Объятия, поцелуи, поздравления... Раздеваемся, снимаем верхнюю одежду, а бабушка тем временем проходит в зал, оставляя за собой широко открытые двери, и оттуда приветствует нас замечательной мелодией - она уже за пианино, и льются, льются торжественные звуки полонеза, нежная мелодия вальса. Так, под музыку, мы и входим в зал, где нас ждет высокая - до самого потолка - елка, украшенная множеством игрушек и обвитая (о, чудо! предел восторга!) стеклянными сияющими бусами. Взрослые удаляются в столовую, а мы, дети и подростки (Виктор и Галя старше меня на 5-8 лет), начинаем наши игры, иногда далеко не тихие. Однажды мы так разошлись, что елка (наверное, закрепленная без поправки на наш буйный темперамент) сначала чуть пошатнулась, а потом стремительно, задевая нас ветвями, рухнула на пол. К счастью тогда еще не успели зажечь свечи. Но как бы ни увлекались игрой и шалостями, все поглядывают в сторону гардеробной. И вот он - долгожданный звонок! В дверях показывается утонувший в огромной ватной бороде наш

любимый Дед Мороз, за спиной у него заветный мешок, который он, поприветствовав нас, ставит на пол у елки... Затаив дыхание, ждем, когда Дед Мороз начнет раздавать подарки - они всегда были желанные, заранее уже заказанные: Я, например, через плиту в дымоход крала письмо, в котором писала о том, что хочу иметь. Помню, как мне как-то досталась очень красивая фарфоровая кукла, которую я назвала Ниной. Бывали подарки и посромнее - бабушка связала как-то другой кукле платье, но и оно оказалось в дедморозовом мешке.

Когда торжественная церемония одаривания заканчивалась, Дед Мороз желал нам всего наилучшего, раскланивался и удалялся, а мы, налюбовавшись подарками, отправлялись в столовую к праздничному столу, на котором нас ждали вкуснейшие пирожки, испеченные Мартой и многое-многое другое, не менее вкусное. Все взрослые уже сидели за столом в ожидании нас, скоро к ним незаметно присоединился всеми нами любимый гость - милейший Юрий Петрович Маковский, успевший сбросить свой дедморозовый наряд, в котором мы - дети - многие годы его не угадывали. Когда мы подросли, Деда Мороза уже не было, а подарки оказывались как бы сами по себе под елкой, но это было уже не так интересно, хотя там часто оказывались желанные книги... А Юрия Петровича уже не стало - он долго болел туберкулезом и скончался в одной из рижских больниц. Родных у него не оказалось, но добрая, всегда и всех опекавшая тетя Лида не забывала его...

А годы шли... Последнее наше Рождество, зимой 1940 года мы вместе с бабушкой отмечали в Приедайне

Екатерина

и

Наталья

На старом рижском кладбище Микеля, слева от каплицы, находится родовая могила Сидкевичей. На каменном кресте сохранилась эпитафия на немецком языке:

Amalia Kowalewska, geboren 1815 jahr, gestorben in 10. Nowember 1900 jahr.

Friderike von Wazem, geboren Sidkevitsch, 9. Oktober 1842 jahr, gestorben 14. Juni 1895 jahr.

Johann Sidkewitsch, geboren 1841 jahr, gestorben in December 1901 jahr.

Амалия Ковалевская - мать моего прадедушки Иоганна Сидкевича.

Сестра Иоганна Сидкевича была замужем за бароном фон Вазем. Эту фамилию часто упоминали в разговорах мои родители и тетя Лида. Дело в том, что сестрой мужа Фридрики фон Вазем была знаменитая русская балерина Екатерина Оттовна фон Вазем (в замужестве по первому мужу - Гринева, по второ-му - Насилова).

Тетя Лида рассказывала мне, что когда она была маленькой, Екатерина Оттовна приезжала в Ригу (это было где-то между 1899 и 1901 годом) и уговаривала мою бабушку Марию Иоганновну отдать семилетнюю Лидоньку в балетную школу в Санкт-Петербурге, но бабушка не решилась на это, о чем, правда, впоследствии очень сожалела.

У меня хранятся две очень дорогие для меня вещи. Это пара старинных серебряных подсвечников, подаренных когда-то Екатериной Оттовной Марии Иоганновне, которая, в свою очередь, передала их своему сыну - моему отцу. После ареста папы, реликвия оказалась у тети Лиды, а впоследствии вернулась в наш дом - уже ко мне.

О Екатерине Оттовне фон Вазем написано много и хорошо. Да и сама она написала книгу воспоминаний "Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра. 1867 - 1884", изданную в 1937 году.

Родилась замечательная балерина 12 (25) января 1848 года. В 1857-1867 гг. училась в Санкт-Петербургском театральном училище, где ее педагогами были известные в то время балетмейстеры Л. И. Иванов, А. Н. Богданов, Э. Гюге. По окончании училища молодая танцовщица была принята в петербургскую балетную труппу, где проработала до 1884 года. Дебютировала она в балете "Наяда и рыбак" Перро. Затем были "Дева Дуная", "Жизель", "Катарина, дочь разбойника", "Корсар" и многие другие спектакли. Великий М. И. Петипа поставил для Екатерины Оттовны балеты "Две звезды", "Бабочка", "Бандиты", "Баядерка", "Дочь снегов", "Зораяя". В книге А. Плещеева "Наш балет (1673-1899)", изданной в Санкт-Петербурге в 1909 году, говорится, что она отличалась от других танцовщиц "точностью и необычайной силой в танцах, самоуверенностью в двойных турах, безукоризненными стальными пуантами и художественной отделкой мельчайших деталей". По мнению многих специалистов мастерство Екатерины Оттовны являлось образцом классического танца своего времени. В 1886-96 годах она преподавала в Петербургском театральном училище, где ее ученицами были Анна Павлова, Ольга Преображенская, Мария Кшесинская, Агриппина Ваганова. После 1917 года Екатерина Оттовна давала частные уроки, писала воспоминания. Скончалась она в 1937 году. Более подробно о Е. О. Вазем можно прочитать в книгах "Материалы по истории русского балета". Т. 1-2. Ленинград, 1938-39 и "Молодые годы ленинградского балета". Ленинград, 1978.

Одним из самых серьезных почитателей таланта Екатерины Оттовны стал император Александр II. Он настолько был восхищен ее искусством, что подарил ей на память бриллиантовую брошь, которую в лихолетье 1917-18 годов она передала своей племяннице - моей бабушке, когда та находилась вместе с Дмитрием Дмитриевичем в Гатчине. После революции дедушка с бабушкой вернулись в Ригу, и судьбе было угодно, чтобы они с Екатериной Оттовной больше не встретились. Бабушка очень дорожила этим бриллиантом, но не столько за его солидную стоимость, а как семейную реликвию, непосредственно

связанную с памятью о выдающейся родственнице. О дальнейшей судьбе этой драгоценности я рассказываю в главе "14 июня".

* * *

... Прошло много лет. В 1960 году в сибирском Заполярье у меня родилась дочь Наташа - правнучка Марии Иоганновны Никифоровой (урожденной Сидкевич). Когда девочке было три с небольшим года, она очень захотела играть на скрипке, но тогда я не придавала серьезного значения ее словам: "Вы меня только балуете, а меня не баловать надо, а учить музыке! Я буду играть на скрипке - у нее такой тоненький голосок!" Однако житейские проблемы на какое-то время отодвинули планы музыкального образования нашей дочери, но в 1966 году Наташа предстала перед конкурсной комиссией Норильской музыкальной школы. В заявлении, поданном мною было написано: "Прошу принять мою дочь в музыкальную школу по классу фортепьяно". Однако при собеседовании педагоги обратились к девочке с вопросом: не хочет ли она попробовать себя в классе скрипки, где и фортепьяно, конечно, тоже будет. В ответ они услышали: "Это мама хочет, чтобы я играла на пианино, а я всегда мечтала о скрипке!" Так шестилетняя Наташа стала ученицей Виктора Николаевича Батыгина, который на первом же уроке сказал ей "Молодец!". Время шло, и в 1969 году Наташа проходит конкурсный отбор в только что открывшуюся Специальную музыкальную школу в Новосибирске. Тогда ректор Новосибирской консерватории Шевчук пригласил в свой кабинет взволнованную Наташину маму и горячо поблагодарил за талантливого ребенка, добавив при этом: "Если бы нам почаще приводили таких детей, музыкальная спецшкола была бы давно уже открыта!". Но тут у меня возникли тревожные сомнения: как такую маленькую девочку отпускать в самостоятельную жизнь? И тогда я обратилась за советом к своей вечной палочке-выручалочке, любимой моей тете Лиде - Лидии Дмитриевне Никифоровой. Ее ответ пришел скоро. Был он обстоятелен и решителен: "Когда мне было шесть или семь лет, в Ригу приехала тетя моей мамы - Марии Иоганновны Никифоровой - знаменитая балерина Вазем и уговаривала отдать меня на обучение в ее группу в Санктпетербургском балетном училище, но мама тогда не решилась. Я же всю жизнь сожалела об этом, понимая что моя судьба могла бы сложиться совсем по-другому. Так что не раздумывай, отдавай девочку учиться, а трудности все преодолимы". И девятилетняя Наташа полетела с мамой в Новосибирск и начала самостоятельную жизнь.

Потом, с 1974 года, была школа при Московской консерватории и еще долгие годы учебы. Сейчас Наташа Никифорова - известный музыкант-исполнитель, гастролирует с сольными концертами во многих странах.

Так неожиданно пересеклись две далекие судьбы.

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

<i>...Ночь,</i>	<i>тишина,</i>	<i>лишь</i>	<i>гаолян</i>	<i>шумит.</i>
<i>Спите</i>	<i>герои.</i>	<i>Память</i>	<i>о</i>	<i>вас</i>
<i>Родина-мать</i>				<i>хранит.</i>
<i>А.</i>				<i>Машистов.</i>

"На сопках Маньчжурии"

В 1903 году Япония объявила о признании Кореи сферой японских интересов, а России в качестве компенсации были предложены приоритеты в области развития железнодорожного транспорта в Маньчжурии. В январе 1904 года российское правительство телеграфом послало японскому правительству ноту, в которой соглашалось на существенные уступки. Но телеграмма была задержана. В результате Япония разорвала дипломатические отношения с Россией, и 26 января без объявления войны японский флот напал на русскую эскадру в Порт-Артуре. Так началась бесславная для России война, в которой преимущество японских вооруженных сил оказалось весьма значительным. В целом они превосходили российскую армию в живой силе в три раза, в артиллерии - в восемь раз, в количестве пулеметов - в 18 раз, да и кораблей у японцев было в 1,3 раза больше, чем у русских. На Маньчжурском театре военных действий к 1 января 1904 года японская армия насчитывала 150 тысяч человек.

Капитан Дмитрий Дмитриевич Никифоров в составе артиллерийской бригады был направлен в действующую армию в неведомую для многих россиян того времени далекую Маньчжурию.

Недолгие домашние сборы и долгий путь по железной дороге до Иркутска. Здесь воинские части пересаживали на пароход и переправляли через Байкал¹. Далее сплошной железной дороги еще не было, и до места назначения приходилось добираться по-разному.

На Маньчжурском фронте Дмитрию Дмитриевичу пришлось выдержать тяжелейшие испытания. Холодные узкие окопы, где вповалку, прямо на земле, спят солдаты и офицеры, заедают вши, мучают болезни. Из-за плохо организованного снабжения солдаты и офицеры испытывали постоянное недоедание, порой даже голод. Но самым страшным испытанием стало ощущение позора от поражений наших войск, и состояние это, к сожалению, все чаще заливалось традиционным русским "эликсиром" - вод-кой.

В 1905 году большая часть Сибири разбушевалась в революционном угаре, и возвращение войск с фронта сопровождалось новыми трудностями. От Маньчжурии по всей Сибирской магистрали царил чудовищная неразбериха. Демобилизованные солдаты запасных частей

взбунтовались и не пропускали составы с фронтовиками, которые всеми силами еще пытались поддерживать порядок и воинскую дисциплину. Запасники перекрывали железнодорожные пути перед эшелонами, следовавшими с фронта, бесчинствовали, митинговали, отбирали паровозы. Составы с фронтовиками сутками стояли на станциях и полустанках. Порой приходилось применять силу, чтобы проехать несколько верст. В этих условиях добирались домой больше месяца.

Дмитрий Дмитриевич и без того удрученный неудачами русской армии в русско-японской войне очень тяжело переживал беспорядки на железной дороге. Он понимал, что наблюдает русский бунт, "бесмысленный и беспощадный", и уже тогда воспринял его как великое зло.

Я видела этот колесный пароход, он назывался "Ангара" и еще в 1954 году лежал, привалившись набок, на берегу Байкала в поселке Листвянка. Но вот, наконец, замелькали предместья родной Риги. Состав остановился, и не верилось, что это - конец многострадального пути. Дмитрий Дмитриевич вышел из вагона больной, вконец усталый, но живой, даже не раненый. Преодолевая естественное в таких случаях волнение, он неторопливо подошел к родному дому, поднялся по винтообразной деревянной лестнице на второй этаж, потянул за веревочку, и дверной колокольчик зазвонил. На пороге показалась его супруга Мария. Прежде чем обнять жену, Дмитрий Дмитриевич попросил вывести детей в детскую и скорее затопить дровами колонку в ванной комнате. Сам он тут же, на лестничной клетке, разделся донага и сбросил вниз всю прошивившую одежду.

А потом были радость детей и жены, так долго ожидавших встречи, поцелуи, объятия и долгие рассказы о Маньчжурии, Сибири, Байкале и, наконец, отдых в домашней постели - блаженство, о котором совсем еще недавно и мечтать было невыносимо.

Во время отсутствия Дмитрия Дмитриевича в Риге оставались только обе Марии и девочки, которые к тому времени уже учились за казенный счет (как дочери военного-фронтовика) в государственной гимназии. После кончины И.А.Сидкевича доходы семьи резко сократились, и нередко приходилось влезать в долги. Поэтому мальчиков для продолжения их учебы было решено определить в Сумской кадетский корпус - тоже на казенное обеспечение. На летние каникулы молодые люди самостоятельно добирались до Риги, и вся семья переезжала в "Шваанензее", где дети весело и непринужденно проводили время среди своих сверстников.

Стасик Никифоров учился успешно и уже серьезно подумывал о дальнейшей учебе в одном из военных училищ столицы.

А Дмитрий Дмитриевич за время положенного офицеру-фронтовику отпуска подлечился, отдохнул и продолжал свою службу в рижском гарнизоне. Однако, вслед за радостью встречи, в дом пришло и горькое разочарование, ибо фронтовой быт и тяжелые условия окопной

жизни резко ухудшили характер главы семьи. Хорошо налаженный распорядок, всеобщее взаимопонимание в семье были поколеблены - в доме начали появляться незнакомые и ненужные люди, якобы друзья Дмитрия Дмитриевича, и вместе с ними - пьянство, шум, пустая суета и ссоры. Стали расти долги, а подросшие дети требовали все больших затрат. Однако, никакие доводы уже не могли остановить страсть отца к зеленому змию. Больше всех страдала терпеливая Мария, а подросшие девочки-гимназистки все более открыто выражали отцу свой протест. Бабушка Мария, убедившись в бесполезности своих увещеваний, замкнулась в своих комнатах. И только Стахий и Александр, приезжая на вакации из кадетского корпуса, вносили некоторую разрядку в напряженный домашний уклад.

СТАХИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Подпоручик Никифоров

Господа

юнкера,

Кем

вы

были

вчера?

А сегодня вы все - офицеры.

Булат Окуджава.

"Проводы юнкеров"

Стахий Дмитриевич окончил Сумской кадетский корпус в 1910 году. Далее, как свидетельствует находящийся в архиве его послужной список, 31 августа 1910 года он был зачислен в Константиновское артиллерийское училище юнкером рядового звания на правах вольноопределяющегося первого разряда. 10 июля 1911 года он был произведен в унтер-офицерское звание. Учеба в Константиновском училище продолжалась три года, относился к ней юнкер Стахий Никифоров добросовестно, выделяясь среди сверстников серьезностью и дисциплинированностью. Особое усердие он уделял математике и артиллерийскому делу, очень любил верховую езду, став приличным наездником. Все это создавало условия для успешного роста профессиональной подготовки будущего офицера. Сейчас трудно судить, насколько хорошо он в те годы был обеспечен материально, но бабушка рассказывала, что тогда семья постоянно бедствовала. Однако, несмотря на определенные материальные лишения, можно смело предполагать, что те годы для юноши Стахия Никифорова были одними из лучших: еще бы - учиться в Санкт-Петербурге, да еще в прославленном Константиновском училище!

В основе формирования нравственности будущих офицеров главное место занимали воспитание патриотизма, любви к Отечеству и государю императору, а также готовность защищать их, не щадя своей жизни.

На годы учебы Стахия Дмитриевича в Константиновском училище пришлось знаменательное

событие в истории России - празднование трехсотлетия царствующего дома Романовых. Подготовка к этому юбилею началась за три года до основных торжеств. Был представлен и обнародован "Всемиловейший Манифест к населению Империи". По случаю знаменательной даты, скульпторы и архитекторы работали над монументальными памятниками. Возводились новые храмы. Газеты были заполнены вестями о ходе подготовки к празднику. Тысячи рабочих возводили мачты для штандартов и знамен, украшали иллюминацией здания, строили праздничные арки, павильоны и киоски. На государственном Монетном дворе были отчеканены юбилейные медали - золотые, серебряные и бронзовые - с изображениями Михаила Федоровича Романова и императора Николая Второго, на обратной стороне медали было выгравировано: "В память 300-летия Дома Романовых".

21 февраля 1913 года, в 8 часов утра, двадцать один артиллерийский залп возвестил о начале торжеств. По пути следования Высочайшего поезда к Казанскому собору застыли в парадной форме представители родов войск, юнкера и гардемарины. Юнкер Стахий Никифоров тоже был участником этих торжеств. Архивная справка повествует нам, что 21 февраля 1913 года С. Д. Никифорову была пожалована светло-бронзовая медаль "В память 300-летия Царственного Дома Романовых".

Пошло всего несколько месяцев, наполненных напряженной подготовкой к сдаче экзаменов и участием в полевых учениях. Наступил день, когда юнкер Никифоров, получив высокий выпускной балл, был объявлен выпускником Константиновского артиллерийского училища, окончившим его по первому разряду.

Производство в офицерское звание было обставлено торжественно. 6 августа 1913 года в Красном Селе блестящий парад выпускников приветствовал Государя, который лично поздравил новых артиллерийских офицеров. Получив звание подпоручика, и надев офицерскую форму, Стахий Дмитриевич поспешил в шумную столичную толпу, навестил знакомых, которые его поздравили с производством в офицерское звание.

В послужном списке Стахия Дмитриевича Никифорова значится: "По окончании курса наук Высочайшим приказом, составленным на день 6 августа 1913 года, произведен в подпоручики с направлением в 25-ю Артиллерийскую бригаду". Перед отбытием на место службы молодой подпоручик получил отпуск на 28 дней, который провел в домашней обстановке. Его мама, моя бабушка, встретила сына с любовью и гордостью. Чудесное прибалтийское лето, уют усадьбы, окружение родных, друзей и знакомых, полные веселья и беззаботности дни пробежали стремительно и незаметно, и никому было невдомек, что над Россией и Европой сгущаются тяжелые тучи мировой войны и революций.

16 сентября 1913 года молодой офицер-артиллерист прибыл к назначенному приказом месту службы. Сейчас трудно сказать, как он привыкал к условиям службы на новом месте и в

новом качестве, но в силу того, что подпоручик Никифоров был человеком общительным, с задатками неформального лидера, начальство скоро отметило его профессиональную состоятельность, подкрепленную отменной дисциплинированностью, и 6 апреля 1914 года его назначают учителем бригадной учебной команды. Стахий Дмитриевич деятельно занимается боевой подготовкой порученного ему подразделения, используя при проведении обучения новейшие достижения военной науки.

Первая

Мировая

1 августа 1914 года кайзеровская Германия, а 6 августа и Австрия объявили войну России. "Началась великая война - наивысшее напряжение духовных и физических сил нации, тяжчайшая жертва во имя Родины приносимая. ":" Это экономическое разорение, моральное одичание, миллионы загубленных человеческих жизней", - так писал об этом в своих мемуарах генерал А. И. Деникин.

Начальником штаба Юго-Западного фронта был назначен генерал М. В. Алексеев, пользовавшийся большим авторитетом среди военных. При его непосредственном участии был разработан план проведения военных операций на Австрийском фронте. Командующим 8-й армией был назначен прославленный генерал А. А. Брусилов.

С началом войны Стахия Дмитриевича в составе 25-й артиллерийской бригады направляют в действующую армию. Судя по всему, он находится на Юго-Западном фронте, ибо, рассказывая нам о войне, часто упоминал Галицию, Львов, Галич, Карпаты, Румынский фронт, где боевые действия велись, в основном, с австрийцами. Германские войска им упоминались значительно реже, при этом отец всегда подчеркивал, что германцы дрались намного грамотнее и сильнее, чем австрийцы.

Здесь следует заметить, что в действующей армии Первой мировой войны принимали участие и другие члены патриотически настроенной семьи Никифоровых: мой дедушка Дмитрий Дмитриевич Никифоров на сей раз служил в интендантстве, его сопровождала и как могла оберегала от военных невзгод мужественная и терпеливая жена, моя бабушка Мария. Оба сына Дмитрия Дмитриевича - тоже на фронте, а дочери Лидия и Зинаида, окончили курсы сестер милосердия и служили: Лидия Дмитриевна - в госпитальном поезде, перевозившем раненых с фронта в Петроград, а Зинаида - в прифронтовом госпитале города Ровно. Много лет спустя, в уже весьма почтенном возрасте, тетя Зина рассказывала о своей боевой службе внуку и даже возила его в Ровно, где показала ему старинный феодальный замок, в котором располагался госпиталь. Тетя Лида уже после Великой Отечественной войны неоднократно рассказывала мне о своей самоотверженной работе в госпитальном поезде. Она выполняла обязанности хирургической сестры, а операции приходилось делать даже во время хода поезда, потому что в зимнее время было очень много случаев обморожения конечностей и их

часто приходилось ампутировать - гангрена не давала времени на раздумья. И это все при постоянной нехватке медикаментов и перевязочного материала. Раненые тяжело страдали, но молодая сестра милосердия порой не имела возможности помочь им ничем, кроме сострадания. Тетя Лида часто говорила: "Женщина не имеет права брезговать и бояться, ее долг - помогать!". Этот афоризм стал девизом всей ее жизни. А помогала она многим, и очень часто успешно. В том числе и мне.

Случилось так, что в канун то ли 1915, то ли 1916 года где-то около Варшавы судьба собрала всех фронтовиков Никифоровых. Вместе встретили Новый год, где-то раздобыли гуся и украсили им скудный фронтовой праздничный стол. Это событие осталось незабываемым, и не раз мне о нем рассказывали взрос-лые - и отец, и бабушка и обе присутствовавшие там тети.

Из послужного списка на Стахия Дмитриевича Никифорова, хранящегося в Центральном Государственном Военно-историческом архиве, видно, что он, непосредственно участвуя в боях за Отечество, проявил себя как доблестный, стойкий и умевший воевать офицер. Приведу некоторые конкретные данные из архивной справки об его участии в боях во время Первой мировой войны за период с 1914 по 1917 годы. 5 октября 1914 года подпоручик С. Д. Никифоров получает свою первую боевую награду - орден Святого Станислава третьей степени с мечами и бантом - "за неоднократные отличия в бою".

23 октября 1914 года в рукопашном бою около местечка Ташитск¹ Стахий Дмитриевич получил тяжелое ранение штыком в левую бедренную область, после чего вынужден был провести некоторое время в полевом госпитале. За этот бой 2 декабря 1914 года подпоручик Никифоров получает вторую боевую награду - орден Святой Анны четвертой степени, носившийся в виде финифтяного крестика на эфесе шпаги, сабли или шашки, и имевший девиз "За храбрость". Орден этот в Российской империи ценился очень высоко и давался офицерам за серьезные боевые заслуги. Особенно орден Святой Анны третьей степени, с крестом и бантом на ленте. Именно эту награду получил Стахий Дмитриевич Никифоров 19 июня 1915 года. Не прошло и месяца, как ему 6 июля 1915 года вручают орден Святого Равноапостольного князя Владимира IV степени. Это - особо почетная награда офицерам за боевые отличия на полях сражений. Награжденные получали знак ордена - крест темно-красной эмали с черной каймой с мечами и бантом. Из архивной справки следует, что 11 августа 1915 года в бою Стахий Дмитриевич был в очередной раз ранен, на сей раз осколком шестидюймовой бомбы. Случилось это под местечком Кны-шин².

17 декабря 1915 года подпоручик Никифоров Стахий Дмитриевич был произведен в поручики, а 5 января 1916 года награжден орденом Святого Станислава II степени с мечами, вторично его этим же орденом наградили 1 января 1917 года. Мне известно, что отец был представлен и к ордену Святого Георгия, но не успел получить его из-за известных событий октября 1917

года.

1 марта 1916 года Высочайшим приказом поручика С. Д. Никифорова производят в штабс-капитаны со старшинством. С 20 декабря 1916 по 10 февраля 1917 года он назначается (временно) командиром батареи.

На этом сведения о пребывании моего отца на фронте обрываются. За более чем два с половиной года, проведенных в действующей армии ему пришлось неоднократно принимать участие в разных операциях - это были и наступления, и отступления, непрерывные бои, сидение в мокрых окопах и стремительные изнуряющие марши, рукопашные схватки и артиллерийские дуэли. Дважды раненный, он за проявленную доблесть неоднократно поощрялся и повышался в звании. К середине января 1917 года он в 25 лет уже имел звание капитана со старшинством.

А на фронт уже приходили вести о беспорядках и волнениях в столицах империи. Свершившаяся 27-28 февраля 1917 года Февральская революция, отречение царя от престола застало офицера Никифорова на передовой и не могло его не потрясти, ибо с детских лет он воспитывался на идеях нерушимости Отечества, верности присяге и императору. (Кнышин - в те годы заштатный город Белостокского уезда Гродненской губернии (Украина), расположен в 24 км. от Гродно).

Генерал А. И. Деникин в своей книге "Очерки русской смуты" пишет по этому поводу так: "Русское кадровое офицерство в большинстве разделяло монархические убеждения, и в массе своей было, во всяком случае, лояльно:"

1 марта 1917 года вышел знаменитый приказ № 1, направленный якобы на демократизацию армии, но на самом деле взорвавший дисциплину в войсках и ускоривший их разложение.

В этот период безвременья штабс-капитан С. Д. Никифоров (вероятно, неожиданно для него) получает командировку в Гатчину, в военно-авиационную школу. 15 марта 1917 года он отчисляется от должности старшего офицера на фронте.

Через полстраны на медленно ползущих поездах, с бесчисленными остановками и пересадками Стахий Дмитриевич добирается до своего нового места назначения. В Москве он делает остановку, встречается с друзьями детства Конюшковыми.

(Забегая вперед, вспомню эпизод из 1956 года, когда я, будучи проездом в Москве навестила этих старинных друзей нашей семьи, хорошо помнивших всех нас. Тогда один из двух братьев принес мне фотопленку, сказав: "Вот пленка с фотографией твоего отца, воевавшего тогда на Румынском фронте. Стахий проездом в 1917 году останавливался у нас и оставил ее нам на

память". Я и сейчас с волнением смотрю на эту фотокарточку, на которой мой отец - такой молодой и сильный.)

Из Москвы на поезде, следовавшем, как многие тогда, без всякого расписания, Стахий Дмитриевич направился в Петроград и, наконец, в Гатчину, в летную школу.

А дальше в архивной справке мы читаем о том, что "в приказах по Гатчинской авиационной школе от 28 марта 1917 года за № 113 5 значится штабс-капитан 25-й артиллерийской бригады Никифоров, произведенный в капитаны со старшинством 13 января 1917 года". Из приказов по военно-авиационной школе узнаем также, что 15 июня 1917 года в 20 часов на аэродроме г. Гатчина, самолет "Фарман", тип XVI № 25, управляемый капитаном Никифоровым, при взлете потерпел аварию, в результате которой будущий летчик вывихнул правый локоть и получил сильные ушибы, что привело к помещению его в Гатчинский дворцовый госпиталь. Из госпиталя он был выписан уже 25 июня, и 1 июля вновь был допущен к учебным полетам.

В приказе № 469 2 от 29 декабря 1917 года в списке лиц, удостоенных звания "военный летчик" значится окончивший в 1917 году курс обучения по I разряду военный летчик Стахий Дмитриевич Никифоров. Из другой архивной справки, из Центрального Государственного исторического архива Латвийской ССР, мы узнаем, что 26 октября 1917 года Стахий Дмитриевич Никифоров самовольно покинул Гатчинскую военно-авиационную школу и вообще службу в армии "в связи с ее разложением" (так написано в справке). Из этого можно предположить, что звание "военный летчик" ему было присвоено заочно, и весьма вероятно, что сам он об этом даже не знал. Но интерес отца к летательным аппаратам сохранился на многие годы. Хорошо помню, как в Риге меня, тогда еще совсем ребенка, отец водил на выставку аэропланов времен Первой мировой войны и внимательно к ним присматривался, рассказывая как вот именно на таком-то он летал сам, и даже потерпел аварию. Я очень этому удивилась, так как об этом эпизоде его биографии тогда еще ничего не слышала, но на мои расспросы отец скупо ответил, что вот было у него такое спортивное увлечение, приведшее к аварии, в результате которой он вывихнул руку в локте, и если бы не забота и мастерство медсестры-массажистки в госпитале, рука могла бы потерять свою подвижность.

Определенная изоляция Гатчинской школы военных летчиков от внешнего мира не мешала проникновению слухов о бур-ных событиях в Петрограде, во всей империи, о полном разложении армии, особенно ее запасных частей, о массовом дезертирстве солдат с фронтов, о полной неспособности правительства А. Ф. Керенского руководить страной и армией.

Добровольцы

Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, - мы не должны отходить от нее.

В. В. Розанов

В начале октября 1917 года бывший Верховный главнокомандующий генерал М. В. Алексеев был приглашен из Ставки в Пет-роград для участия в работе Предпарламента - Совета российской республики, где он окончательно убеждается, что остановить процесс разложения в армии невозможно без ее оздоровления и возрождения боевого патриотического духа русского офицерства. Будучи великим патриотом России, Михаил Васильевич понимал, что ждет страну с разрушением ее армии. В середине октября семнадцатого года, в преддверии большевистского переворота мудрый пожилой генерал создает в Петрограде тайную подпольную организацию, названную по имени ее создателя "Алексеевской". Целью организации было воссоздание дееспособной русской армии. В состав организации принимали, в первую очередь, офицеров запасных частей, офицеров, оказавшихся по каким-то причинам в столице, юнкеров из военных училищ и даже кадетов старших классов. Генерал Алексеев создавал офицерские "пятерки", во главе которых, как он записал у себя, становились "наиболее твердые, прочные, надежные и дельные руководители". В них он видел основу будущей армии - Добровольческой. К злополучному дню 25 октября 1917 года в организации насчитывалось уже несколько тысяч офицеров. Надо полагать, что патриотически настроенный, тяжело переживавший разрушение Отечества кадровый офицер-окопник ка-питан Никифоров тоже принял призыв генерала Алексеева. Михаил Васильевич учитывал возможность захвата власти большевиками, он хорошо понимал, что противостоять этому только что начавшейся формироваться военной организации будет сложно, и на этот случай имел договоренность с атаманом Донского войска А. М. Калединым о перебазировании организационного ядра будущей армии на Дон. Сразу после случившегося 25 октября 1917 года захвата власти большевиками генерал М. В. Алексеев 30 октября (12 ноября) обратился с воззванием ко всем офицерам и юнкерам подняться на борьбу с большевиками и отдал приказ о переброске всех своих вооруженных сил на Дон, куда направился и сам под видом купца в сопровождении адъютанта Шапрона дю Ларрэ. 2 (15) ноября 1917 года они прибыли в Новочеркасск. Туда же, на Дон, разными путями и для конспирации в разных обличиях последовали освобожденные из Быховского заключения генералы А. И. Деникин, А. С. Лукомский, С. Л. Марков, И. П. Романовский, И. Г. Эрдели и другие. 6(19) декабря 1917 года пробрался в Новочеркасск переодетый в нищего старика, заметно прихрамывающий от ранения в ногу будущий вождь Добровольческой армии генерал Л. Г. Корнилов.

Штаб генерала Алексеева расположился в здании бывшего лазарета на Барочной улице, в доме № 39. Этот дом и стал колыбелью Алексеевской организации. 2(15) декабря генерал М. В. Алексеев опубликовал обращение к офицерам с призывом спасти Родину. Эту дату и принято считать днем образования Добровольческой армии. (Интересно, что в архивной справке моего отца именно эта дата фигурирует как день его вступления в ряды Добровольческой армии).

В декабре 1917 года секретным приказом командующим Вооруженными силами Юга России был назначен генерал Л. Г. Корнилов, а 27 декабря 1917 г. (9 января 1918 г.) армию официально назвали Добровольческой, и в тот же день она перебазировалась в Ростов.

С середины ноября началась официальная регистрация вновь прибывших, которые заявляли о своем добровольном желании служить в течение четырех месяцев без денежного содержания, ограничиваясь лишь продовольственным пайком. Прибывавшие со всех концов империи добровольцы нередко не имели даже смены белья, сапог. Их надо было одеть, обусть, накормить, а денег у алексеевцев практически не было. Мой отец, капитан Стахий Дмитриевич Никифоров, пережив безуспешное наступление из Гатчины на Петроград казачьего корпуса генерала Краснова, простившись с родителями, которые волею судьбы (или войны) тоже находились тогда в Гатчине (Дмитрий Дмитриевич всю Первую мировую войну служил в интендантских частях и поэтому его супруга Мария Иоганновна могла находиться рядом с ним), переодевшись в штатское, последовал призыву генерала Алексеева и на попутных поездах направился в Новочеркасск.

Уезжая, Стахий Дмитриевич предложил отцу ехать на Дон вместе, но уже перешагнувший свое пятидесятилетие Дмитрий Дмитриевич ответил: "Хватит с меня, навоевался, разбирайтесь теперь сами". Таким образом, мои дедушка и бабушка, которым в Ригу выехать не удалось, остались в Гатчине, где им пришлось хватить лиха. Помню, как бабушка мне как-то рассказывала: "Мы оказались в революцию в Гатчине, и зимой 1917-18 годов пришлось нам изрядно поголодать. Дров тоже не было, а морозы стояли суровые, в комнате все замерзло. Я тогда сожгла все стулья, мебель, всё, что могло гореть, но и это нам мало помогало".

И вот, капитан С. Д. Никифоров, преодолев все трудности пути, вагонную вонь, матерную брань дезертиров и мешочников, заполнявших вагоны, висевших на подножках, располагавшиеся даже на крышах и вагонных переходах, наконец, добрался до Дона. Здесь уже было немало офицеров, будущих добровольцев. Выйдя из поезда и вздохнув свободно, Стахий Дмитриевич осмотрелся, и по-солдатски бодро зашагал в сторону Барочной улицы, где располагалась главная квартира генерала М. В. Алексеева. В дверях стоял строгий часовой в длиннополой шинели. В вестибюле висело объявление об условиях приема в

Добровольческую армию. На первых порах - лишь кружка чая да кусок хлеба в столовой, никакого жалованья. Капитан Никифоров регистрируется, и ему определяют место в общежитии.

* * *

Молитва за Родину

(Написана одним из священников Белого движения)

Господи Боже сил!

Призри милостивым оком Твоим на зело страждующую страну нашу, в ней же за беззакония наша умножишася нестроения, и раздоры и междоусобия.

Господи Боже милосердный! Боже всемогущий, паки и паки припадаем Тебе и слезно в покаянии и умолении сердца вопием: помилуй землю Русскую, утоли вся раздоры и нестроения, умири сердца страстью обуреваемая, вдохни мужество в сердца стоящих на страже благоустройства Отечества нашего и всех нас озари светом закона Твоего евангельского, возгрей сердца наши теплотою благодати твоей, утверди волю нашу в воле Твоей.

Да якоже древле, тако и ныне и земле нашей, и внас, через нас прославится всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа.

Аминь.

* * *

Так что же заставило опытного кадрового офицера, провоевавшего в действующей армии более двух лет, принять такое суровое решение - стать снова фронтовым офицером формирующейся на Дону российской Добровольческой армии. Ответ, видимо, прежде всего надо искать в том, что был Стахий Дмитриевич Никифоров сыном военного, с малолетства вдохнувшего воздух военных гарнизонов, постоянно находящимся в окружении русских офицеров и солдат, для которых девиз "За Веру, Царя и Отечество" был не пустым звуком, а незыблемым законом, всем смыслом их жизни.

Всех собравшихся в Новочеркасске добровольцев объединяла одна цель - недопущение поражения и гибели Отечества, продолжение войны с Германией, выполнение союзнического долга. Генерал А. И. Деникин в своих воспоминаниях очень четко расставил акценты в

формулировке задач Белого движения: "Сохранение русской государственности (подчеркнуто мною. - Т. Н.) являлось символом веры генерала Алексеева, моей и всей армии". В большевиках же все видели немецких ставленников, желающих поражения России. Хочу напомнить, что Стахий Дмитриевич хорошо помнил рассказы своего отца о революционных бесчинствах 1905 года, которые тот наблюдал во время многострадального своего пути домой из Маньчжурии, с полей Русско-Японской войны. Теперь же на глазах самого Стахия Дмитриевича разыгрывалась аналогичная трагедия, но уже в более страшных, гигантских масштабах, и смириться с нею он не мог. Генерал барон Петр Николаевич Врангель позже писал: "Белое движение - добровольческое, есть борьба за освобождение России и восстановление ее государственности от самого небывалого, зловещего деспотизма, под гнетом которого погибает Отечество". Он же подчеркивал, что добровольный приход русских патриотов к генералам Алексееву и Корнилову в конце 1917 - начале 1918 годов, был сопряжен с большим риском и сознательным отказом от всего самого дорогого в личной жизни. Именно так думал и мой отец. Именно поэтому он встал под знамена Белого движения.

Но, к сожалению, все Белое движение не было так однородно патриотично, как хотелось бы многим. Примером тому можно считать ту картину, которую увидел Стахий Дмитриевич, прибыв на Дон. Донское казачество, всегда бывшее опорой государству Российскому, на сей раз повело себя очень своеобразно. И в столице Тихого Дона - Новочеркасске, и в окрестных станицах, казаки смотрели на все происходящее если не враждебно, то, по крайней мере, недобро, не оказывали добровольцам почти никакой поддержки. Можно было бы объяснить это тем, что казаки уже устали от почти трехлетней изнурительной войны, но, скорее всего, они постепенно и все глубже поддавались большевистской пропаганде и посулам сытой и мирной жизни без царя и помещиков. Разброд и смута среди казаков довела до отчаяния и самоубийства атамана Донского казачьего войска Алексея Максимовича Каледина³, написавшего в своем предсмертном письме: "Россия должна быть едина и должен быть положен предел сепаратистским стремлениям..."

Первые бои добровольцев с красными произошли уже 26 ноября (9 декабря) 1917 года у Балабановой рощи. Итогом этих боев стало взятие добровольцами 2 (15) декабря Ростова. Главные же схватки пришлось на конец января 1918 года в Таганроге и у Матвеева Кургана. В Таганроге восстали большевики. Первоначально сопротивление им оказали лишь юнкера местного училища, но противостоять превосходящим по численности красновардейским отрядам они не могли и их потери были весьма значительны. Положение изменилось, когда на помощь юнкерам подошла рота во главе с Кутеповым⁴⁵. Однако, опасность окружения Добровольческой армии заставило ее руководство пересмотреть оперативную обстановку и срочно вывести еще не готовые к серьезным боевым действиям части. Генерал Алексеев настоял на том, чтобы отступить к Екатеринодару, в надежде, что там можно будет соединиться с добровольческими кубанскими формированиями, а кубанские казаки

поддержат борьбу против большевиков и объединятся с добровольцами для дальнейшей борьбы. Существенным аргументом в пользу этого решения было и возможность пополнить запасы продовольствия и фуража в зажиточных кубанских станицах.

Ледяной поход

*Кто уцелел - умрет, кто мертв - воспринет.
И вот потомки, вспомнив старину:
- Где были вы? - Вопрос как громом грянет,
Ответ как громом грянет: На Дону!
- Что делали? - Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.*

Марина Цветаева

В ночь с 8(21) на 9(22) февраля 1918 года в обстановке строгой секретности добровольческие части оставили негостеприимный Ростов и вышли в покрытую глубоким снегом степь. Начался поход, который историки назовут Первым кубанским, или Ледяным, походом. Зима в тот год стояла небывало для этих мест суровая: морозы, глубокий снег, бураны. Шли, казалось, в полную неизвестность, очень немногие понимали куда и зачем идут, но ропота не было, авторитет командира был тому порукой: "Корнилов знает, куда ведет!" Почти все добровольцы были плохо одеты и обуты, да и с продовольствием были серьезные проблемы. Кроме того, воинские подразделения сопровождал большой обоз, в котором находилось немалое число гражданских, в том числе и женщин - а каково-то было им в скудной одежде и туфельках... Но люди шли... На рассвете пришли в станицу Аксайскую, где их встретили очень недоброжелательно. Через два дня добрались до станицы Ольгинской, где остановились на несколько суток, чтобы подкормиться и обогреться.

Среди 3683 выступивших из Ростова участников этого ставшего легендарным похода шел и капитан-артиллерист Стахий Дмитриевич Никифоров, один из двухсот пятнадцати капитанов этого героического войска.

Поход продолжался восемьдесят дней, из которых сорок четыре проходили с боями, в том числе с двенадцатью сражениями. Прошли примерно 1050 верст - и это по ледяному бездорожью, пешком, с солдатской выкладкой, через метели и бураны. Впоследствии все участники похода были названы "первопроходниками" и их всегда окружал ореол мученичества. И именно первопроходники стали ядром и душой Белого движения. Замечательный русский писатель И. С. Шмелев так писал о них: "Этот подвиг - уход в

ледяные степи имеет бессмертный смысл - ответ Голгофской Жертвы... Этот подвиг - проявление высокого русского гражданства, в нем не было ни различия классов, ни возраста, ни пола, - всё было равно, едино, всё было - общая жертва жизнью... Ледяной поход вечен, как бессмертная душа в людях - негасимая лампада..." Генерал А. И. Деникин в своих воспоминаниях сказал по-военному более четко: "Тогда на всем необъятном просторе страны оставалось только одно место, где открыто развевался трехцветный национальный флаг, - это ставка Корнилова".

Впоследствии превопроходники были награждены знаком в виде тернового серебряного венка, пересеченного снизу вверх направо серебряным мечом, носившимся на Георгиевской ленте с розеткой национальных цветов.

Таким знаком был награжден и мой отец. Помню, как бережно он его хранил и в особо торжественные для него дни прикреплял к сюртуку. А его рассказы о Ледяном походе я помню с тех пор, как стала вообще что-то понимать. Названия донских и кубанских станиц - Ольгинская, Тихорецкая, Великокняжеская, Елизаветинская и многие другие - вошли в мое сознание после ярких и образных рассказов отца.

А вот значение награды он объяснил мне много позднее, когда мне было около десяти лет - на стуле висел защитного цвета френч, а рядом лежал знаменитый знак. Папа тогда собрался отдыхать, но я пристала к нему с вопросами и он рассказал мне и о награде и коротко о походе. Я думаю, что Ледяной поход он считал одним из главных событий своей жизни - как по содержанию, так и по смыслу. В каком конкретно подразделении он тогда находился по кратким архивным записям и материалам его "Дела" установить трудно. В нем есть такие строки (в "Постановлении на арест"): "В период Гражданской войны служил офицером в армии Деникина, участник Ледяного и Степного походов". И чуть дальше: "Служил младшим, потом старшим офицером в броневом дивизионе...", и далее: "...в кавалерийском полку". Но в каком полку и под чьим командованием - этого установить мне не удалось. Правда, есть у меня предположения, основанные на сопоставлении исторических фактов из исторической и мемуарной литературы.

После соединения с Кубанским войском генерала В. Л. Покровского⁶ и очередной реорганизации Добровольческой армии, были созданы три бригады, в одну из которых входила конница генерала И. Г. Эрдели⁷, которая включала в себя Первый конный полк, Черноморский конный полк, Кубанский пластунский дивизион и Конную батарею. Поскольку отец как-то упомянул, что в руководимом им подразделении воевали и офицеры, и солдаты, а сам он - артиллерист и хороший наездник, то можно с определенной уверенностью предположить, что его подразделение находилось в составе бригады или дивизии под командованием И.Г.Эрдели.

Но вернемся на поля сражений Гражданской войны, в которых участвовал мой отец. Главной целью генерала Л.Г.Корнилова в Первом Кубанском походе было взятие Екатеринодара (Краснодара). После упорных и кровопролитных боев и сражений с 23 марта (5 апреля) 1918 года началась подготовка к овладению кубанской столицей. Для начала было необходимо переправиться на правый берег Кубани. Ни мостов, ни брода не было, и добровольцы вынуждены были воспользоваться паромом у станицы Елизаветинской. Вот за этот паром и шли затяжные и жестокие бои. 27 марта (9 апреля) 1918 года два полка конницы генерала И. Г. Эрдели внезапной атакой все же захватили станицу и переправу через Кубань.

Жители станицы встретили добровольцев приветливо, а казаки стали в массовом порядке записываться в армию. Но на рассвете красноармейцы, сосредоточив свои силы между Елизаветинской и Екатеринодаром, открыли по станице орудийный огонь. Ответным ударом добровольцы обратили их в бегство. Из Елизаветинской Корниловский полк с развернутым трехцветным знаменем под звуки оркестра прошел по станице мимо хутора, в котором находился Л. Г. Корнилов. Это была последняя встреча полка со своим прославленным командиром, имя которого его офицеры и солдаты прославили в дальнейших боях. Прославленный военачальник погиб от шального снаряда 31 марта (13 апреля) 1918 года. По поводу его гибели генерал А. И. Деникин в своих мемуарах написал: "Неприятельская граната попала в дом только одна, только в комнату Корнилова... и убила только его одного..."

Стахий Дмитриевич в своих воспоминаниях имя Лавра Георгиевича произносил всегда с благоговением. Тогда, в Елизаветинской отец принимал участие во всех боях и там же получил штыковое ранение. Судя по тому, что он вскоре вернулся в строй, оно не представляло серьезной опасности.

Вновь назначенный Верховный главнокомандующий генерал А. И. Деникин приказал отходить от так и не взятого города. 1 (14) апреля 1918 года из Елизаветинской в ночной тишине потянулись на север колонны добровольцев и почти полторы тысячи повозок с ранеными. Конная бригада генерала И. Г. Эрдели, в которой, как я полагаю, служил и мой отец, прикрывала их отступление.

... Уходили на север. По приказу командования была оставлена приведенная в негодность, чтобы не досталась противнику, часть техники, предельно облегчены обозы. Шли молча, не зная четко куда. Над колоннами, как туча, простерлось отчаяние, уже были отмечены случаи самоубийства. Кубанские казаки, примкнувшие к добровольцам, потихоньку разбежались, расходились по хуторам. Были случаи дезертирства и среди солдат и даже офицеров. Отступление от Екатеринодара сопровождалось почти непрерывными боями. Иногда казалось, что противник везде - сзади, впереди, на флангах. Несколько поднял настроение успешный бой с красными у станицы Медведовская, где добровольцы благодаря смелости и находчивости генерала С. Л. Маркова² сумели сорвать наступление противника. Настроение

добровольцев несколько улучшилось. К тому же в середине апреля стало известно о том, что на Дону против большевиков восстали казаки, да и кубанцы потихоньку стали возвращаться в ряды Добровольческой армии. Боевая удача помаленьку вспоминала про добровольцев. В конце апреля они заняли станицы Пашковскую, Ново-Михайловскую, Екатериновку, станцию Крыловская, то есть выходили на намеченные командованием Вооруженных сил Юга России рубежи. Таким образом, Первый кубанский "ледяной" поход, закончился 30 апреля (13 мая) 1918 года. Штаб армии и командование расквартировались в станице Егорлыцкой, на юге Донской области.

*

*

*

Прошло более полувека со времени того легендарного похода. Я стою во дворе Московского геолого-разведочного института и беседую со своей будущей руководительницей аспирантуры профессором Софьей Авраамовной Юшко. Знакомясь со мной и очаровывая своим лучистым доброжелательным взглядом, она вдруг (уж не помню по какому поводу) стала рассказывать о своей родной станице Елизаветинской. Рассказ этот меня озадачил: слова "станция Елизаветинская" звучали как что-то очень близкое и знакомое. Я заметила: "Не могу понять, но я почему-то очень хорошо помню это название..." И тогда Софья Авраамовна, пристально посмотрев на меня, спокойно сказала: "У станицы Елизаветинской погиб генерал Лавр Георгиевич Корнилов, а ваш отец, белый офицер был рядом. Я все помню, как все это происходило". Она тогда не сказала, что гибель ее отца-казака тоже связана с этим событием.

Есть и у меня версия, основанная на словах близких и смутных воспоминаниях о рассказах отца. Согласно ей Стахий Дмитриевич был в числе приближенных к генералу Л. Г. Корнилову офицеров и на момент его трагической гибели 31 марта (13 апреля) 1918 года находился в непосредственной близости и стал непосредственным свидетелем гибели вождя.

* * *

<i>...Да!</i>	<i>Проломилась</i>	<i>донская</i>	<i>глыба!</i>		
<i>Белая</i>	<i>гвардия</i>	<i>-</i>	<i>да!</i>	<i>-</i>	<i>погибла...</i>
<i>...Перекрестясь</i>	<i>на</i>	<i>последний</i>	<i>храм,</i>		
<i>Белогвардейская</i>	<i>рать</i>	<i>-</i>	<i>векам.</i>		

Марина Цветаева

22 июня (по новому стилю) 1918 года основательно пополнив свои ряды добровольцами и казаками Белая армия выступила во Второй кубанский поход. В задачу этого похода входило

освобождение от власти большевиков Кубани с ее столицей Екатеринодаром и Черноморского побережья.

Первоочередной задачей было овладение станциями Тихорецкая и Торговая - для перекрытия железнодорожного сообщения из Центральной России к Царицыну.

Выступающая в поход Добровольческая армия была переформирована, были пополнены личным составом уже испытанные в боях подразделения и сформированы новые. Для нас представляет наибольший интерес Первая конная дивизия, которой командовал генерал от кавалерии Иван Георгиевич Эрдели. В ее состав входил и Первый кубанский (Корниловский) конный полк, в котором, как я предполагаю основываясь на записи в его Деле, служил артиллерии капитан С. Д. Никифоров. Да и запомнившиеся мне по рассказам отца названия станций Тихорецкая, Торговая, станицы Кореневская, Выселки, Белая Глина, Березанка и др. совпадают с упоминаемым историками боевым путем дивизии. Коннице генерала И. Г. Эрдели и приданной ей конной артиллерии была поставлена задача выйти к железнодорожной станции Тихорецкая. Кавалеристы свою задачу выполнили, но путь их сопровождался непрерывными схватками и боями. Дело в том, что помимо главного противника приходилось громить разбойничьи банды, называвшиеся "зелеными", так как они обычно скрывались в лесах. В этих жестоких кровопролитных и упорных боях, рукопашных схватках, никто никого не щадил, пленных, как правило, не брали. Потери добровольцев были огромны, до 25-30% личного состава. (Эту невероятную жестокость генерал А. И. Деникин в своих мемуарах называл "Проклятой русской действительностью".) И все же 3 (16) августа Екатеринодар был взят. Город приветствовал своих освободителей. Потом были очень тяжелые бои за Армавир, который многократно переходил из рук в руки, и только 13 (26) октября был взят добровольцами из дивизии генерала Казановича. Успешно развивая свое наступление, войска Белой армии к началу 1919 года заняли весь Северный Кавказ.

Но, как я предполагаю, в завершающих боевых действиях по освобождению от большевиков Северного Кавказа капитан Стахий Дмитриевич Никифоров не участвовал, и причиной тому могли быть следующие обстоятельства. В конце августа 1918 года, уже после того, как добровольческими войсками был взят

Екатеринодар, туда прибыл генерал П. Н. Врангель, который был временно назначен командиром Первой конной дивизии вместо генерала И. Г. Эрдели, командированного в Грузию для переговоров с грузинским руководством, отношения с которым складывались непросто.

Сопровождать генерала И. Г. Эрдели в качестве офицера по поручениям был отправлен капитан С. Д. Никифоров.

Я хорошо помню, как я в детстве, начитавшись книжек о Кавказе, я спросила отца: "Папа, а ты бывал в Баку?", на что получила лаконичный ответ: "Нет, в Баку я никогда не бывал, а вот в Батуме и в Тифлисе побывать пришлось, даже грузинскую песенку запомнил". И папа, улыбнувшись, запел: "Если ты меня не любишь, я в реку Куру пойду, ты меня больше не увидишь, я как рыбка поплыву... Ай джан-джан-джан, були-були...". Отец вспоминал красоты Тифлиса, Батума, Кавказских гор, и, видимо, это были теплые воспоминания о времени блаженного отдыха после месяцев невзгод и лишений, кровавой действительности гражданской войны.

Но приятная командировка закончилась, и по возвращении из нее капитан С. Д. Никифоров получил назначение в действующую армию, воевал в Терско-Дагестанском крае (в своих воспоминаниях он часто упоминал Владикавказ), пока свирепствовавший и уносящий тысячи молодых жизней в обеих противоборствующих армиях тиф не уложил его на больничную койку. Молодой организм и заботливость врачей и сестры милосердия Веры Нагорной, рассказ о которой впереди, сумели преодолеть болезнь, и в мае Стахий Дмитриевич снова в строю. Шли тяжелейшие наступательные бои на Царицынском направлении. Отец попал в состав Кавказской (Кубанской) армии под командованием генерала П. Н. Врангеля (позднее - генерала С. Г. Улагая9). Бои шли в районе станции Великокняжеская (Улагай Сергей Георгиевич (1875-1947) - генерал-лейтенант. В Добровольческой армии с весны 1918 года на должностях начальника 2-й Кубанской казачьей дивизии, 2-го Кубанского казачьего корпуса, командира конной группой. Руководил десантом Белой армии на Кубань (Улагаевский десант) в 1920 г., после неудачи которого уволен Врангелем из армии и эмигрировал в Европу). (Пролетарская), затем армия подошла к реке Маньч, которую ей предстояло форсировать. Но задача эта оказалась не из простых - дно неглубокой реки было илистое, вязкое. Для переправы орудий и боезапаса был сооружен настил из досок, и несмотря на непрерывный обстрел со стороны неприятеля задача была выполнена. За рекой на северо-восток простиралась безбрежная солончаковая калмыцкая степь, местами перерезанная солеными бочагами. Пресной воды нет, нечем поить лошадей. Май в Калмыкии холодный, а укрыться от пронизывающего степного ветра негде, жилья тоже по пути никакого не было - отступающий в направлении Царицына неприятель все разрушил. Часто приходилось вступать в стычки с арьергардными частями красных, бои были жестокими и кровопролитными. Печальный перечень всех этих напастей дополнялся трудностями с организацией связи между подразделениями, проблемами со снабжением, разрушенными дорогами и железнодорожными путями.

В районе города Калач снова переправа - на сей раз через Дон. До Волги оставалось совсем немного. Царицын опоясывало несколько линий укреплений. Окопы были усилены проволочными заграждениями. Артиллерия обеспечивала достаточную защиту подступов к городу. Противник непрерывно получал подкрепление в личном составе.

В конце мая генерал П. Н. Врангель отдал приказ генералу С. Г. Улагаю силами Второго Кубанского корпуса наступать с юга на Царицын. В состав этого корпуса входила и Третья пластунская бригада, в составе которой находился и капитан С. Д. Никифоров.

После нескольких жестоких атак Второй кубанский корпус занял Теплые Воды и оказался в десяти верстах от города. Однако сильная артиллерия судов речной флотилии противника затрудняла наступление с юга, и его пришлось приостановить. 1 июня после необходимой перегруппировки большая группа войск, в составе которой находилась и 3-я пластунская бригада, перешла в наступление. Бои продолжались до 2 июня. Двухдневное сражение, к сожалению, было сопряжено с большими людскими потерями, погибло более тысячи человек, оставшиеся в живых люди и лошади падали от утомления, боезапас орудий заканчивался, а овладеть Царицыным так не удалось. Эти неудачные атаки заставили генерала П. Н. Врангеля отдать приказ об отступлении. Надо было ждать подкреплений.

К середине июня к Царицыну прибыло значительное количество живой силы, артиллерии (в том числе и тяжелой), танков и бронепоездов. В ночь на 16 июня ударная группа генерала С. Г. Улагаия, усиленная четырьмя танками, тремя броневиками и тремя бронепоездами начала наступление. Одним из бронепоездов командовал капитан С. Д. Никифоров.

Наступление на других направлениях обеспечивали соединения генералов Покровского и Шатилова¹⁰.

На сей раз оборона красных дрогнула и они поспешно отступили на север. В качестве трофеев белыми были захвачены два бронепоезда, много орудий и пулеметов, 131 паровоз, около 10 000 вагонов, из которых 2085 были заполнены артиллерийскими боеприпасами и интендантскими грузами. 18 июня 1919 года, после сорока дней боев, кровопролитных атак белые части преодолели сопротивление противника и вошли в Царицын.

Архивная справка свидетельствует, что капитану 3-го Кубанского казачьего пластунского артиллерийского дивизиона Никифорову Стахию 30 июня 1919 года присвоено звание полковник. Столь резкое повышение в звании свидетельствует о серьезном вкладе Стахия Дмитриевича в битве за Царицын.

После непродолжительного отдыха началось преследование отступающего противника, сопровождаемое новыми боями. Значительное сражение состоялось на Волге, у Камышина. Отец нередко в своих рассказах упоминал этот город. Здесь опять пришлось испытать ставшие, к сожалению, привычными напасти: жару и недостаток в снабжении. Тогда единственной транспортной артерией для добровольцев была Волга. Бои под Камышиным продолжались до 15 июля, когда, наконец, город был взят. При этом белые захватили значительное количество трофеев, что в условиях сложности в налаживании службы тыла и

при почти полном отсутствии коммуникаций было очень важно. (10 Шатилов Павел Николаевич (1881-1962) -В Добровольческой армии с лета 1918 года. Генерал-лейтенант. Начальник 1-й конной дивизии, затем начальник штаба Добровольческой, затем Кавказской, а с 1920 г. врангелевской армий. Эмигрировал)

Дальнейшие бои, в которых в 1919 году участвовал отец, проходили в пустынной, безводной степной местности, в которой унылый ландшафт лишь изредка "украшался" солеными озерами. Наиболее крупные из них - Эльтон и Баскунчак - и поныне известны как места добычи высококачественной поваренной соли.

К сожалению, захват Камышина был последней серьезной удачей Белого движения Юга России. Красноармейские части все более жестко оттесняли Белую армию на юг, вплоть до Новороссийска. Отец прошел этот горестный путь вместе со своей частью и завершил военную службу в Крыму (уже в октябре 1920 года). Так закончилась для него Большая Война, начавшаяся в 1914 году.

Как добирался Стахий Дмитриевич до Риги неизвестно, но встреча с родными и близкими все же состоялась и ему удалось обнять жену, родителей, сестру Зину и крохотульку-племянницу, крестным отцом которой он стал очень скоро.

³ Каледин Алексей Максимович (1861-1918) - генерал от кавалерии, руководитель борьбы казаков против советской власти на Дону в 1917-1918 гг. В июне 1917 г. избран атаманом Донского казачьего войска. Возглавил антисоветский мятеж (1917-1918). В условиях безнадежного положения, вызванного успешным наступлением войск Красной армии сложил с себя все полномочия и застрелился.

⁴ Юнкера - воспитанники военных училищ в дореволюционной России.

⁵ Кутепов Александр Павлович (1882 -1930) - белогвардейский генерал от инфантерии. В Добровольческой армии с начала ее формирования на должностях от командира роты до начальника 1-й пехотной дивизии, затем командовал корпусом и армией у Врангеля. В ноябре 1920 года эвакуировался с остатками Белой армии в Галлиполи (Турция)

⁶ Покровский Виктор Леонидович (1889-1923) - генерал-лейтенант. В январе 1918 года сформировал вооруженный отряд и в марте соединился с Добровольческой армией, где занимал должности (последовательно) командира конной бригады, дивизии, конного корпуса. С декабря 1919 года - командующий Кавказской армией. С 1920 года в эмиграции.

⁷ Эрдели Иван Георгиевич (1870-1939) - генерал от кавалерии. В Добровольческой армии командовал конной бригадой и конной дивизией. В 1919 году был назначен главнокомандующим войсками Северного Кавказа и Терско-Дагестанского края. В 1920 г. эмигрировал во Францию.

⁸ Марков Сергей Леонидович (1878-1918) - генерал-лейтенант. В Добровольческой армии был начальником штаба дивизии, командиром сводного офицерского полка, командиром пехотной дивизии. Смертельно ранен в бою.

ВЕРА

В архивной справке (Исторический архив Латвийской ССР) есть датированная 1923 годом запись о том, что Стахий Дмитриевич Никифоров состоит в браке с Нагорной Верой Константиновной...

Отец был однолюб, и наверное был прав Илья Иванович Бобров, когда категорически восстал против замужества любимой своей дочери Шурочки, узнав, что ее избранником стал Стахий Дмитриевич. Все родные и близкие знали о его трагической, не угасавшей с годами любви...

... Гражданская война в 1918-1919 годах достигла пика своей кровавой прожорливости - к огромным потерям на полях сражений добавилась новая напасть - тиф, который, не выбирая жертвы по их политической принадлежности, косил всех - как красных, так и белых. С обеих сторон ежедневно погибали сотни, тысячи, десятки тысяч молодых и совсем еще недавно здоровых людей.

Свалился в тифозной горячке и белогвардейский офицер-артиллерист Стахий Никифоров и, потеряв сознание, оказался в одном из тифозных барачков. Казалось, что черный ангел уже коснулся его своим крылом, но крепкий, закаленный невзгодами молодой организм помог молодому капитану отбиться от него. Молодая жизнь очень хотела победить, и ее настойчивость заставила Стахия Дмитриевича придти в себя. В первые минуты он не мог понять, где находится. К его постели подошел полковой доктор, внимательно осмотрел больного и поздравил с возвращением в жизнь. Затем врач ненадолго отлучился и вернулся в сопровождении сестры милосердия. Густые, непослушные, пепельного цвета волосы выбивались из-под форменной косынки хрупкой девушки. Огромные серо-зеленые глаза смотрели на больного с ласковым участием и состраданием. Доктор скупой представил ее: "Вот познакомьтесь... Этой барышне вы обязаны своей жизнью...", - и не сказав больше ничего, вышел. В первые минуты Стахий Дмитриевич ничего не понимал, только почему-то вдруг сильно забило сердце. "Что это? чудо? видение? Но ведь чудес не бывает!.." - пронеслось в его сознании. А сестрица, улыбнувшись и с нежностью посмотрев на него, произнесла: "Я - Вера", - и, наклонившись, осторожно поднесла к губам больного офицера чашку с водой. От волнения у нее дрожали руки.

Так, мгновенно, среди стонов больных, часто предсмертных, страданий и плача, окопной грязи и вшей тифозного барака неожиданно вспыхнула и мгновенно возгорелась горячая взаимная любовь двух молодых и чистых людей.

Стахий Дмитриевич начал быстро поправляться, а Вера каждую свободную от адских госпитальных забот минуту проводила у его койки. Пришел день, когда молодой капитан впервые поднялся с постели, начал ходить и, наконец, исхудавший до неузнаваемости, еще слабый, но уже вырвавшийся из клешней болезни, вышел из вонючего барака на свежий воздух, на дневной свет.

Молодые люди уже не могли жить друг без друга, ничто не могло остановить, удержать их все возрастающую любовь. Весь МИР для Стахия Дмитриевича сосредоточился теперь в этих внимательных и любящих серо-зеленых глазах, ласковом голосе и хрупкой фигурке. Чувство, непонятно где родившееся и исходящее откуда-то изнутри, продолжало расти, все остальное застилал мягкий, теплый туман.

Но война, жестокая и беспощадная, продолжала бушевать, и наступил день, когда капитану Никифорову Стахию Дмитриевичу снова надо было занять свое место в строю на фронте. Вера осталась ухаживать за тифозными больными.

Беда пришла, как всегда, неожиданно и незаметно: однажды Вера сильно простудилась, но до последнего держалась и продолжала ухаживать за больными. Закончилось все это жесточайшим воспалением легких, и девушка сама вынуждена была лечь на больничную койку. Болела она долго и тяжело, имеющиеся в госпитале лекарства помогали плохо, а главное ее лекарство - любимый Стасик в это время находился далеко: шла война, и он выполнял свой долг перед Отечеством. Наконец, Вере удалось подняться, но полностью поправиться не удавалось - ее мучили высокая температура, кашель, от которого она часто задыхалась, появилась подозрительная для врачей потливость, которая дала повод предположить, что верино воспаление легких перешло в туберкулез, который тогда называли чахоткой. Узнав об этом, взволнованный Стахий Дмитриевич выпросил у командования краткосрочный отпуск и через все фронты и бездорожья вывез изнемогавшую и вконец обессиленную Верочку в Крым. Там нашел и снял у порядочной женщины комнату и даже купил козу, надеясь на то, что Вера сможет поправиться, если регулярно будет пить свежее козье молоко. Но краткосрочный отпуск потому и называется краткосрочным, что очень быстро заканчивается. Стахий Дмитриевичу надо было возвращаться на фронт.

Благодатный крымский воздух, покой и, возможно, козье молоко, так хорошо помогавшее, может быть, даже не столько своими биологическими достоинствами, сколько постоянным напоминанием о заботе самого близкого человека, помогли Верочке подняться, она почувствовала себя намного лучше. Но теперь ее душило одиночество, разлука с любимым, и

она, к сожалению, не долечившись и не задумываясь о последствиях болезни, бросила все и поехала к нему. Однако затяжная болезнь сделала ее несколько капризной, нервной и упрямой, и это стало неприятным довеском ко всем тем трудностям, которые сопутствовали молодым в условиях фронтовой жизни. А конца войне еще не было видно. Надо было искать какой-то выход. И тогда молодой полковник (да, уже полковник!) Никифоров снова обращается к начальству с просьбой предоставить ему краткосрочный отпуск. Он решил отвезти жену в Ригу, к своим родителям, только что вернувшимся из Гатчины. Какими путями и дорогами молодые добирались до Риги, неизвестно, скорее всего - морем до Константинополя, затем через всю Европу - до Латвии.

Стахий Дмитриевич не был в Риге уже более шести лет, с 1913 года. Война и ее родные сестры - разруха, голод и появление в городе незнакомой категории общества очень изменили Ригу. В родном доме тоже было много нового, неизменным оставалось лишь постоянное безденежье. Именьё Шваанензее в Икшкиле было давно заложено-перезаложено... Да и родители, с трудом пережившие голод и холод зимы 1917-1918 года в Гатчине, были уже не те: отец, страдавший болезнью почек еще со времен русско-японской войны, часто недомогал. К тому же он никак не мог найти в себе силы умерить пристрастие к зеленому змию. Бабушка Мария Арсентьевна, которой было уже довольно за семьдесят, редко выходила из своих покоев. Не было никаких известий от сестры Лидии Дмитриевны, которая еще в 1917-м следом за мужем Мишей Малиновским, окончившим ту же Гатчинскую военно-авиационную школу, в которой учился и Стахий Дмитриевич, уехала в Баку, где давно уже была установлена советская власть. Младшая сестра Зинаида Дмитриевна вернулась в родной дом почти одновременно со Стахием Дмитриевичем, и не одна, а с новорожденной дочкой, которую скоро крестили, назвав Галиной. Стахий Дмитриевич стал ей крестным отцом. Мария Иоганновна внучке очень обрадовалась и отдавала ей много своего душевного добра.

Стахий Дмитриевич с женой поселились в комнатке, где когда-то жили его сестры. Но отпуск заканчивался, надо было срочно, любыми путями возвращаться в Крым - последний оплот русской Белой армии, которую к тому времени возглавил генерал барон П. Н. Врангель. Близился завершающий, трагический аккорд Гражданской войны в России.

Полковник Никифоров прекрасно понимал, что Верочке будет очень непросто привыкнуть к его дому и его близким. Но отвезти жену в Петроград, где жила ее мама, уже не было возможности: столица Империи стала столицей Советской России, где деникинского полковника вряд ли приняли бы дружелюбно.

Верочка осталась. Ее свекровь, добрая, умная, сама так много пережившая, отнеслась к жене своего любимого сына со всей заботливостью и предупредительностью, стараясь укрепить ее здоровье, отвлечь от тяжелых мыслей, забот и волнений, которых и у самой было

предостаточно. Ну, а Вере оставалось только ждать и надеяться на скорейшее возвращение мужа. Маленький человечек, живший рядом с нею - племянница Галочка - своими немудреными шалостями, детской непосредственностью и привязанностью к тете Вере скрадывала ее одиночество. К сожалению, Галочкина мама Зинаида Дмитриевна относилась к дружбе молодой тетушки и ее племянницы с заметной ревностью, тревожась, вероятно, за здоровье дочки ("ведь у Веры чахотка, а она заразна!"), и была очень недовольна когда Вера брала ребенка на руки или долго играла с ним.

Шло время, и поздней осенью 1920 года на пороге родного дома появился Стахий Дмитриевич...

* * *

Прошло семнадцать лет с того дня, 22 августа 1923 года, когда не стало Веры, скончавшейся от безжалостной чахотки...

Лето 1940 года, я сижу на солнечной веранде нашего дачного дома. Увлеченная чтением, не заметила, как ко мне подошел отец. Он был более обычного задумчив и грустен. Сел рядом, обнял меня - тоже не как всегда. Я вдруг поняла, что он хочет сказать (или рассказать) что-то для него особенно важное и серьезное. Отложив книгу, я тихо ждала...

Папа неторопливо расстегнул пиджак и вынул из внутреннего кармана изрядно потертый кожаный бумажник. Достав из него сложенный вчетверо желтоватый от времени листок, развернул его и положил передо мной. Я стала читать: это был аттестат об окончании Смольного института благородных девиц, выданный на имя Веры Константиновны Нагорной. Под заголовком и вводной частью следовали названия учебных дисциплин, изучавшихся воспитанницей, и оценка ее знаний. Преобладали пятерки, иногда с минусом. Я читала аттестат и думала о том, как отцу удалось его сохранить и пронести столько времени у своего сердца. А папа молчал. Потом обратился ко мне: "Видишь, как она училась, я бы хотел, чтобы ты во всем была похожа на Веру". Сначала эти слова показались мне странными: у отца вроде бы не могло быть претензий к моим оценкам в школе, но потом я все поняла. Поняла, что он всю свою жизнь пронес в себе любовь к этой женщине. Поняла и то, что мама знала о той ране, которая всегда болела в душе любимого ею мужа и старалась всеми своими силами умалить эту боль...

* * *

У меня хранится фотография, сделанная, вероятно, во второй половине двадцатых годов: отец в черном сюртуке одиноко сидит на скамье возле могилы своей Веры.

Я бы назвала эту фотографию "Одиночество".

Так оно и было. Только мы, дети, тогда не могли этого ни знать, ни понять...

СКАУТЫ

Будь готов, разведчик, к делу честному,
Трудный путь лежит перед тобой...
Глянь же смело в очи неизвестному,
Бодрый телом, мыслью и душой.
В мире много горя и мучения.
Наступила страдная пора.
Не забудь святого назначения -
Стой на страже правды и добра.

(Из гимна русских скаутов)

Аннексию Латвии Советским Союзом в нашей семье восприняли со смешанными чувствами, но в общих чертах относительно спокойно. Этому способствовала тогдашняя напряженная обстановка в Европе и умелая дезинформация о внутреннем положении в СССР. Радио, газеты непрестанно восхваляли советский строй, молодежь не без удовольствия распевала песни Дунаевского. Даже отец как-то воспрял духом: как же - он опытный кадровый офицер-артиллерист, специалист, и в грядущей войне (а в том, что война начнется очень скоро, он был уверен) его знания и опыт не могут не пригодиться. Он скупил все доступные советские книги по артиллерии и, внимательно просмотрев их, пришел к выводу, что артиллерийское дело в СССР находится на достаточно высоком уровне. Впоследствии, 14 июня 1941 года, когда в доме шел обыск, и эта литература была обнаружена на книжной полке, ее тоже использовали как улику, подтверждающую, что отец изучал эти книги в целях шпионажа. А тогда, в июне 1940-го, его наивность доходила до того, что он собирался пойти в военный комиссариат и предложить свои услуги Красной армии.

Но очень скоро всем стало очевидно, что никакой эволюции советского строя не произошло. Репрессии начались почти одновременно с входом Красной армии в Ригу, еще до официального провозглашения Советской Латвии в июле 1940 года.

Как теперь известно из литературы и архивных данных, «доблестные советские чекисты» еще в двадцатые-тридцатые годы, т. е. задолго до прихода советской власти, широко и умело внедряли в различные общественные организации Латвии своих осведомителей и провокаторов. Слухи об арестах поползли по Риге уже с середины июня 1940 года. «Черная

Берта» - тюремная машина - разъезжала по улицам города даже днем, наводя ужас на обывателей. Мне тоже как-то пришлось увидеть эту, показавшуюся мне огромным чудовищем, машину, и мое маленькое сердечко тогда замерло от страха.

*

*

*

Понятно, что все эти сообщения внесли тревогу в нашу семью. Отец, приезжая с работы и стараясь говорить спокойно, рассказывал маме об аресте кого-нибудь из знакомых. А знакомых у него было очень много - это и сослуживцы по царской и Белой армиям, это и члены Русского клуба, это и сотрудники газеты «Сегодня», и еще многие и многие: Папа был общительным и активным человеком, круг его интересов не ограничивался семьей, службой или разговорами с единомышленниками. Он хотел быть полезным для многих, но всему предпочитал работу с русскими скаутами.

Пожалуй, стоит сделать небольшое отступление и рассказать об этом молодежном движении, охватившем значительный круг молодых людей тех лет.

Движение скаутов возникло в Англии в 1907 году после англо-бурской войны. Его целью стало воспитание молодежи в духе патриотизма, строгой религиозности, сохранения духовных ценностей, созданных предшествующими поколениями, и строгого соблюдения дисциплины. Поощрялись активные занятия спортом, особенно теми его видами, которые закаляют характер, совершенствуют физические возможности человека.

В Латвии начало скаутскому движению положил генерал Гоппель (в 1920 году), который и являлся президентом этой организации в стране. Среди скаутов были молодые люди разных национальностей, они объединялись в дружины, из которых три (100-я, 134-я и 175-я) представляли русских юношей и девушек. Дружины в свою очередь подразделялись на отряды-группы. Младшие скауты (8-12 лет) назывались «волчата», при посвящении в скауты они давали торжественное обещание. Старшие, называвшиеся роверами, становились помощниками руководителей дружин. Были у скаутов свои отличительные и наградные значки. Мальчики носили форму защитного цвета с темно-зеленым галстуком, а девочки (их называли гайдами) - темно-зеленые платья и тоже галстук. Скауты должны были неукоснительно соблюдать все положения устава и скаутских заповедей. Все члены отряда или дружины собирались на сборы, где с ними проводились разнообразные и увлекательные занятия - читались лекции по литературе, истории, их учили оказывать первую медицинскую помощь, знакомили с основами топографии и геодезии, маршрутной съемке и ориентированию с помощью компаса и карты. Занятия перемежались вечерами отдыха, часто тематическими. Летом скауты выезжали в загородные лагеря, где жили в полевых условиях: ночевали в палатках, сами готовили на кострах еду, обучались плаванию и гребле, ходили в увлекательные походы.

Все это, конечно, увлекало детей. Но скаутское движение не было таким тотальным, как потом пионерская организация. Обычно в классе школы или гимназии можно было увидеть лишь трех-пятерых скаутов, т. е. примерно 10 процентов учащихся. Кстати сказать, когда Надежда Константиновна Крупская приступила к созданию советской пионерской организации, она именно у скаутов позаимствовала многие элементы атрибутики, устава, торжественного обещания, построений-линеек, конечно же придав всему этому соответствующее идеологическое наполнение.

В Латвии для оказания помощи русскому скаутскому движению в 1933 году было создано «Общество друзей гайд и скаутов русской национальности», в число членов которого входил и Стахий Дмитриевич Никифоров. После государственного переворота К. Ульманиса скаутское Общество было закрыто политическим управлением Латвии (это случилось в 1935 году), но мой отец вплоть до лета 1940 года продолжал активно заниматься с ребятами. По его инициативе для русских скаутских дружин было арендовано просторное сухое полуподвальное помещение на улице Ноликтавас, 5. Там и проходило большинство сборов, собраний, торжественных линеек и праздничных концертов.

Мы жили на верхнем этаже этого же дома, и ключи от скаутской «штаб-квартиры» хранились у нас. Мне, тогда уже подростку, было поручено передавать их, по необходимости, скаутам. Всех их я уже знала в лицо, чаще всего к нам заходили ровера, и общением с ними я очень гордилась.

Меня заинтересовала жизнь скаутов, и я очень хотела стать гайдой, но отец не приветствовал этого стремления, и оно так и осталось неосуществленным. Однако, на сборы скаутских дружин, особенно на торжественные, он брал меня часто. Особый восторг вызывали у меня летние скаутские лагеря, костры, линейки, тренировки по плаванию и гребле. Заметив мой интерес к бивачной жизни, отец где-то в 1938-1939 годах преподнес мне не совсем обычный для девочки подарок: небольшую лодку, окрашенную в защитный зеленый цвет, рюкзак, полный набор рыболовных принадлежностей и (верх мечтаний!) настоящую двухместную брезентовую палатку, т. е. полное туристическое снаряжение, как сказали бы сейчас. Радость была велика, и я очень скоро научилась обращаться со всем этим богатством. Ну, а плавать-то я умела уже в семь лет! Этот подарок сыграл большую, если не основную, роль в выборе профессии и становлении всей моей будущей жизни.

*

*

*

Возвращаясь к рассказу о репрессиях, начавшихся уже в июне 1940 года и продолжавшихся до самого начала войны, остановлюсь на арестах и дальнейшей судьбе некоторых скаутов-роверов и руководителей дружин, многих из которых я знала с самого раннего детства.

В Латвийском государственном архиве сохранились следственные дела на арестованных в те годы. С некоторыми материалами мне удалось ознакомиться, и я приведу факты, уже ставшие историческими.

Одними из первых жертв репрессий новой власти стали члены русских общественных организаций. В страшную ночь на шестое июля 1940 года арестовали и скаутов-роверов. Трудной, подчас страшной сложилась жизнь этих молодых людей.

Борис Александрович Григорьев (1914-1986) провел в тюрьмах и лагерях восемнадцать лет, но все-таки вернулся в Ригу в 1971 году.

Сергей Аркадьевич Белоградов¹ (1915-1977) прошел тюрьмы Риги, Минска, Москвы, колымские лагеря и ссылку в Магаданской области. Вернулся в Ригу больным. Преодолев тяжелую болезнь, окончил Латвийский университет. (1 Б. А. Григорьев и С. А. Белоградов являлись также членами рижской студенческой корпорации «Рутения». Корпорацию основали в 23.04.1929 г. студенты Латвийского университета, она имела свой девиз и герб.)

В ту же ночь был арестован Алексей Шорин, которому я не раз вручала ключи от скаутской «штаб-квартиры», ровер-скаут сотой дружины и член Народно-трудового союза нового поколения (НТСНП). Судьба его мне неизвестна.

Тогда же были арестованы и ровера Анатолий Робертович Зандовский и Александр Ульянович Заливако.

На допросе (Дело № 7609) ровер-скаут Александр Заливако рассказал о себе: родился в 1916 году в Орле, в Риге жил на Московском форштадте. В 1927 году был принят в отряд скаутов, стал «волчком». Принимал участие в работе русского спортивного клуба «Сокол». Окончил основную школу (т. е. шесть классов). Следователи задают Александру разнообразные вопросы, но все же придерживаются установленного трафарета: интересуются чем занимались скауты в летних лагерях и в зимнее время. Молодой человек рассказывает, что проходили военную подготовку, изучали оружие, стреляли. Задается вопрос: «Кто проводил занятия со скаутами?» Заливако отвечает, что слушал лекции Василия Васильевича Преображенского². Учебные занятия-лекции проводились также студентом-скаутом и членом студенческой корпорации «Рутения» А. С. Белоградовым, Н. В. Радецким (о котором я расскажу чуть позднее) и другими.

Следователи спрашивают, с кем общался и встречался Александр Заливако во время скаутских сборов и занятий. Ровер называет многие фамилии, в частности Владимира Яковлевича Островского, руководителя одной из групп, якобы готовившихся для переброски

в СССР. В группу входили также Линк, Егоровы и Кира Андреевна Верховская³ (я ее запомнила по скаутским сборам, на которых она часто бывала, особенно если они проводились за городом. Она читала скаутам газеты, рассказывала об СССР, особо обращая внимание на то, что очень многие люди в Союзе недовольны советской властью). ((Василий Васильевич Преображенский (1897-1941) - приват-доцент Русского института университетских знаний в Риге, богослов. Преподавал также в рижских гимназиях. Автор ряда книг и статей. Был арестован 14 июня 1941 года и умер 21 октября 1941 г. в Усольлаге (г. Соликамск, Пермской области).

³ Верховская Кира Андреевна (1907-1980). В Латвии с 1923 года. Журналистка газет «Сегодня» и «Для Вас». По мнению многих ее современников была провокатором и сотрудничала с НКВД (Балтийский архив. Том IV. С. 134)

Неоднократно Александр называл на допросах имя руководителя русских скаутских дружин Владимира Леонтьевича Брунса, упоминал руководителя группы роверов Владимира Конрада, начальника отряда Константина Романовича Портного (преподавателя Закона Божьего, который состоял в скаутах более пятнадцати лет). Было названо и имя Ивана Смилтена, который в 1925 году приехал из России. В Деле следователь пометил, что И. Смилтен - сотрудник и осведомитель НКВД.

На последующих допросах следователь вновь спрашивает о В. Л. Брунсе. А. Заливако показывает, что Брунс с 1939 года был начальником всех русских скаутских дружин (№№ 100, 134 и 175). Рассказывает, что Брунс ругал тех русских, которые удирали в 1939 году в Германию, и говорил: «Пусть меня расстреляют русские, но драться на стороне немцев - ни за что!» Рассказывая о В. Л. Брунсе, Александр упомянул и то, что Владимир Леонтьевич состоял в рижском Русском просветительском обществе, в работе которого принимали активное участие и другие руководители скаутского движения в Латвии и ровера [Г. Ф. Русские в дввоенной Латвии. С. 186-189].

Коротко об этом обществе. Рижское Русское просветительское общество было основано 31 января 1926 года. Его бессменным председателем стал выдающийся общественный деятель Елпифидор Михайлович Тихоницкий (1875-1942). Свою главную задачу Рижское русское Просветительское общество видело в пробуждении духовных интересов, русского национального самосознания и в демонстрации красоты и силы русской культуры. Центральными событиями в работе организации были ежегодные Дни русской культуры, которые помимо всего прочего имели неоценимое значение для национального воспитания русской молодежи, следовательно, и скаутов.

Судьба Е. М. Тихоницкого оказалась трагичной. Его арестовали в июне 1940 года, затем вывезли в Астрахань, приговорили к расстрелу, но приговор в исполнение привести не

успели, так как Елпифидор Михайлович скончался в тюремной больнице от болезни сердца
21 мая 1942 года.

Арестованный одновременно с Александром Заливако Анатолий Робертович Зандовский в своих показаниях (Дело № 7608) сообщает, что родился он в 1915 году в Подмоскowie, в Горках. В Риге работал рабочим-шлифовальщиком стекла, ровер-скаут с 1936-1937 гг. Одновременно занимался в русском спортивном клубе «Сокол». В скаутской морской дружине состоит с девяти лет. Вопросы, которые ему задавал следователь, идентичны тем, которые задавались А. У. Заливако. Часто они носили откровенно провокационный характер, и измученные допросами подследственные иногда невольно отвечали на них именно так, как этого хотел следователь. В первую очередь задавались вопро-сы, касающиеся руководителей скаутского движения. В целом А. Р. Зандовский повторяет то же, что показывал А. У. Заливако, но иногда упоминает и другие существенные детали. Так, он рассказывает, что В. Л. Брунс, в прошлом белый офицер, распространял среди скаутов журнал «Часовой». Этот легендарный журнал много лет редактировал В. В. Орехов - председатель Российского национального объединения. «Часовой» был основным печатным органом Русского Общевоинского Союза (РОВС) - оплота русской белой военной эмиграции и издавался с января 1929 года в Париже, а позднее - в Брюсселе. В журнале публиковались официальные документы и постановления РОВС'а, некрологи на воинских чинов, волей судьбы оказавшихся в странах, где осели русские эмигранты, и многое другое, касавшееся эмигрантской жизни. Журнал придерживался идеологической линии, сформированной генералом П. Н. Врангелем и его последователями.

Отец регулярно, в течение многих лет, вплоть до 1940 года выписывал «Часовой». Ежемесячно незнакомый молодой человек приносил аккуратную бандероль с очередным номером. Случалось по звонку подходить к двери мне, и тогда бандероль принимала я. К журналу отец относился очень бережно, и когда я подросла, давал читать его и мне, объясняя события и излагая свой взгляд на них, характеризовал людей, о которых в журнале было написано. Помню, как он обратил мое внимание на фотографию А. В. Колчака, сказав задумчиво: «Отличный был адмирал и ученый, а вот Верховный Правитель из него не получился:»

По всей вероятности, к В. Л. Брунсу этот дорогой по стоимости журнал поступал от отца, так как они были друзьями и коллегами по скаутскому движению.

Упоминает А. Р. Зандовский на допросах и друга В. Л. Брун-са - руководителя скаутской дружины Н. В. Радецкого и других активистов движения.

Допросив скаутов, каждого по отдельности, следователь устроил им очную ставку, что их окончательно сломило.

Следствие длилось около двух месяцев. После изнурительных допросов молодых людей заставили признаться, что они являлись членами рижского отделения Народно-трудового союза нового поколения, которое проводило свою деятельность через 100-ю скаутскую дружину небольшими группами, причем члены одной группы могли не знать членов другой.

Что же представляла собой эта организация - Народно-трудовой союз нового поколения, первоначально именовавшийся Национальным союзом русской молодежи?

Эмигрантская русская молодежь двадцатых годов остро переживала трагедию родной страны и искала ответ на мучительный вопрос: как и почему все произошло? Особенно большое влияние на формирование ее мировоззрения оказал известный русский философ, один из идеологов Белого движения Иван Александрович Ильин, который по приглашению Русского академического общества неоднократно (в 1931, 1934, 1935, 1937 годах) выступал в Риге с публичными лекциями и участвовал в закрытых беседах. Он призывал к противлению злу силой.

Русская эмигрантская молодежь, избравшая путь борьбы с коммунизмом, собиралась в кружки в городах Болгарии, Югославии, в Праге, Париже, Варшаве, Берлине. Поначалу разрозненные, эти кружки осенью 1928 года в Белграде объединились в Союз русской национальной молодежи - СРНМ. В июле следующего года в болгарском городе Велико-Тырново состоялся Первый съезд Национального союза русской молодежи (НСРМ), провозгласивший: «Дело Союза - продолжение Белой борьбы!» Наконец, в Белграде на съезде, проходившем с 1 по 5 июля 1930 года, завершилось окончательное слияние разрозненных кружков и организаций русской патриотической молодежи в единую мощную организацию. В разных странах, во всех подразделениях Союза проводилась активная организационная и про-пагандистская работа. НСРМ не порывал связей с Русским общевоинским союзом (РОВС), но понимал и необходимость независимости от него, разрабатывая собственную идеологическую доктрину, чтобы в своей борьбе избежать всех тех ошибок, которые привели Россию к катастрофе.

Второй съезд НСРМ состоялся в конце декабря 1931 года. На нем было решено подчеркнуть независимость политической доктрины Союза и переименовать Национальный союз русской молодежи в Национальный союз нового поколения (НСНП). На этом съезде была определена и основная задача нового Союза - подготовка национальной революции в России. Отделения и группы НСНП образовывались почти во всех странах, где находилась русская эмиграция. В каждом отделении по хорошо разработанным программам налаживалась работа по национально-политической подготовке русской молодежи, проводились собрания с чтением докладов и лекций на идеологические, исторические темы, доводилась информация по текущим проблемам патриотического движения. Особо уделялось внимание изучению

внутренней и внешней политики СССР. В первые годы своего существования НСНП призывал к боевым действиям в Советском Союзе, т. е. террору.

Вполне естественно, что ОГПУ, а позднее НКВД без восторга приняли сообщения о новой зарубежной антисоветской организации и не без успеха внедряли своих секретных агентов и осведомителей в ее ряды.

В начале 1936 года организация получила новое наименование - Национально-трудовой союз нового поколения (НТСНП). (Хочется подчеркнуть в названии слово «трудовая».) Исполнительное бюро Союза находилось в Белграде, в стране, не признававшей большевиков, однако органы НКВД протянули свои щупальца и туда, сумев завербовать к себе на службу некоторых эмигрантов, состоявших в рядах РОВС'а.

В Риге НТСНП осуществлял свою деятельность через 100-ю скаутскую дружину.

Нам никогда не станет известно, какими методами следователь выбивал показания рOVERов, что заставило их выдать других членов организации, но, к сожалению, поименно они назвали многих: Валерия Пчелку, который занимался вопросами культуры и политикой, рOVERа 100-й дружины студента Алексея Шорина, Николая Касперского, также студента Латвийского университета: Заполучив имена, следователи потребовали рассказать о целях и задачах НТСНП, и также получили исчерпывающий ответ. Вот как он представлен в «Деле»: главная задача НТСНП состоит в свержении советской власти и возвращении СССР исторического названия Россия; объявление коммунистической партии вне закона; возрождение в России капиталистического строя.

Наконец, после двух месяцев изнуряющих допросов А. У. Заливако и А. Р. Зандовскому предъявили обвинение и зачитали приговор, по которому они были осуждены по 58-й статье УК РСФСР, пункты 4, 8, 10, 11.

Александр Исаевич Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ» называет 58-ю статью «великой, могучей, обильной, разветвленной, всеподметающей, исчерпывающей мир:» 58-я состояла из четырнадцати пунктов и длинного ряда подпунктов. Вот только некоторые из них: статья 58-4 - помощь международной буржуазии, сюда относились также эмигранты; 58-8 - террор (причем это понятие рассматривалось очень широко); 58-10 - пропаганда, агитация, призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, а также распространение, изготовление, хранение литературы того же содержания (под понятие «литература» могло подойти и частное письмо); 58-11 - не имел самостоятельного содержания, этот подпункт отягощал любой из предыдущих пунктов, если деяние готовилось организованно. Дело № 7608 завершается текстом приговора подсудимым. А. У. Заливако был осужден на десять лет исправительно-трудовых лагерей с последующей ссылкой. А. Р. Зандовский был приговорен к

расстрелу.

Дальнейшая судьба этих молодых людей неизвестна. В Ригу они не вернулись.

Следом за скаутами-роверами, в определенной степени в соответствии с показаниями неопытных в «общении» со следственными органами НКВД молодыми людьми, были арестованы В. Л. Брунс, Н. В. Радецкий и В. И. Ивановский.

Начну со следственного дела В. Л. Брунса, арестованного 16 сентября 1940 года. Владимир Леонтьевич дружил с моим отцом и часто бывал в нашем доме, иногда его сопровождала супруга, актриса Русского драматического театра. Их сын Дмитрий, тоже скаут, учился со мной в одном классе, отличался большой любовью к рисованию, что помогло ему в дальнейшем стать архитектором.

Самого Владимира Леонтьевича я помню хорошо. Красивый, выше среднего роста, шатен с чистым лицом, всегда подтянутый, приветливый, вежливый, в модных тогда, особенно в среде бывших военных, кожаных до колен гетрах, он мне, девочке, очень нравился.

Помню, что страшную новость, вернувшись с работы, привез отец: «Вчера арестовали Брунса!» - сказал он громко, потом потише добавил, что у Владимира Леонтьевича никого, кроме него, в доме не было, так как жена с сыном, как это было у них заведено, летом гостили у своих родных в Таллине.

Мне довелось ознакомиться с делом В. Л. Брунса в середине девяностых годов в Латвийском архиве. Обычная папка «Дело», каких в этом архиве много, с аккуратно подшитыми бумагами, касающиеся не только Владимира Леонтьевича, но и Н. В. Радецкого. На первом листе «Дела» значится: 117

[В. Л. Брунс реабилитирован (посмертно) в 1989 году. На прошение Д. В. Брунса, поданное в 1962 году, отвечено отказом - ВРАГ № 1]

На первом допросе В. Л. Брунс рассказывает о себе. Он родился в Москве в 1900 году, его мать была зубным врачом, отец - конторщиком, жена - Захарова, артистка Русского драматического театра в Риге. В настоящее время подследственный работает мастером на фабрике «Ригас Мануфактура», недвижимости не имеет. В скаутском движении принимает участие с 1915 года, сначала в Москве, где состоял в морской дружине, позднее - в Риге. На вопрос, имел ли он награды за участие в скаутской деятельности Владимир Леонтьевич отвечает, что в августе 1917 го-да в Москве получил орден Белого Медведя 2-й степени от начальника Московской скаутской дружины Владимира Попова, редактора журнала «Вокруг света», а в 1925 году «Знак скаутской благодарности» от Николая Федорова, начальника

русских скаутов Эстонии. С 1929 года принимает активное участие в скаутском движении Латвии, за что в 1935 году ему был вручен орден «Белого Медведя» 1-й степени. Далее В. Л. Брунс показывает, что в Латвии было Центральное правление скаутской организации во главе с президентом страны.

На вопрос, что собой представляет организация YMCA, Брунс отвечает, что это международная организация, зародившаяся в Америке, что русское ее название «Христианский союз молодых людей». Он состоял в этой молодежной организации с 1926 по 1933 годы и заведовал русским отделом в ее латвийском филиале. После конфликта этой организации со скаутами, он из Христианского Союза молодежи Латвии вышел и полностью посвятил все свое свободное время работе со скаутами. К этому времени скауты представляли собой «четкую, стройную организацию, с определенными установками, которые сводились к воспитанию в членах националистического духа, преданности буржуазии и ее строю» (так в протоколе).

Далее следует вопрос следователя: «Какую должность вы занимали в скаутском движении?». Владимир Леонтьевич отвечает: «Первоначально - начальник 100-й дружины, а с 1939 года - начальник всех русских скаутов Латвии». Рассказывая о деятельности скаутов и своей работе среди них, В. Л. Брунс говорит, что в связи с резким обострением международной обстановки в Европе, победы нацизма в Германии, знакомства с советскими кинофильмами «Минин и Пожарский», «Александр Невский», «Дети капитана Гранта», прослушивания радиопередач его личные взгляды в последние годы сильно изменились. Это привело к корректировке воспитательной работы среди скаутов, в частности на загородных сборах бывали случаи, когда ребята пели советские песни:

На следующем допросе (6 декабря 1940 года, с 14.35 до 17 час.) следователь спрашивает В. Л. Брунса о близких ему людях. Тот называет Ивана Смиттена (как потом выяснилось, секретного агента НКВД), Георгия Портного, Николая Радецкого, который с 30 октября 1940 года тоже томился в тюрьме. Своего друга Стахия Дмитриевича Никифорова Владимир Леонтьевич не назвал, не выдал его.

На допросе 11 декабря 1940 года (с 15.35 до 16.40 час.) Брунс показывает, что беседы со скаутами действительно носили антисоветский характер, особенно до 1936 года. (По тексту чувствуется, что допросы ведутся со все большим психологическим напором). Владимир Леонтьевич защищается, показывая, что сам он в возможность интервенции против СССР не верил; что хотя и воевал в свое время в армии генерала Юденича, в белогвардейских организациях после Гражданской войны не состоял, будучи убежденным, что советская власть падет сама по себе; говорит, что мог уехать с репатриантами в Германию, но наотрез отказался от этого предложения, считая себя патриотом России.

На последнем допросе 17 декабря (с 11.45 до 14.00) Брунс вновь признает, что воспитывал скаутов в антисоветском духе, затем опять рассказывает, как служил добровольцем в армии Юденича, что звание прапорщик присвоено ему заочно, что он почти не воевал - не успел. В эмиграции он с 1920 года - бесконечное повторение одних и тех же вопросов и ответов: вероятно, следовательно пытался уличить его во лжи.

Семнадцатым декабря 1940 года помечено в деле постановление о том, что Брунс Владимир Леонтьевич приговорен по статье 58, п.п. 4, 10, 11 и для отбытия наказания отправлен в трест Воркутауголь. Там он и скончался в 1942 году.

Упомянутый мной выше Николай Васильевич Радецкий, которого В. Л. Брунс называл близким ему человеком, был арестован 30 октября 1940 года [Дело № 978, две папки]. Николай Васильевич, 1900 года рождения, происходил из рижских рабочих и был начальником 175-й дружины скаутов. С началом войны он был, как эвакуационный, вывезен в Свердловск, но позднее оказался в Астрахани, в тюрьме № 2, где и был 10 марта 1942 года приговорен по той же 58-й статье, по пунктам 4, 10, 13.

Начальник 134-й дружины русских скаутов Владимир Иванович Ивановский (1885-1942) был арестован в «знаменательный» для Прибалтики день 14 июня 1941 года и сразу же был увезен в Усольлаг НКВД СССР [Дело № 5446/768 и П-6453-Л, начато 14. 06. 41, окончено 13. 02. 42, осужден по ст. 58, п. 4]. Он не только был арестован в один день с моим отцом, но и номера их дел были почти рядом. Владимир Иванович умер в лагере.

Я не ставлю перед собой задачу рассказать о судьбах всех скаутов-роверов и начальников русских дружин, упоминаю здесь только тех, кого знали в нашей семье. Но, судя по «Делам №:» (а я их просмотрела немало), вопросы задавались почти по трафарету, да и ответы на них не сильно различались. Приговоры тоже не отличались разнообразием - все та же 58-я статья, иногда варьировались лишь подпункты - 4, 10,11 или 13.

Аресты 1940-1941 годов коснулись не только русских скаутов, их жертвами стали очень многие руководители и члены общественных организаций, коих в Риге было немало.

Теперь уже доказано, что через своих осведомителей и провокаторов, внедренных почти во все общественные организации, чекисты были прекрасно осведомлены о политических взглядах и настроениях каждого из их членов.

*

*

*

Катастрофически сужался и круг друзей и знакомых моего отца - очень многие из его друзей и знакомых были уже за решеткой. Очень взволновало его известие о том, что арестован Борис

Александрович Энгельгард (1877-1962), заведовавший библиотекой Русского клуба, в которой папа часто бывал в 1938-1939 годах.

Русский клуб был одним из главных культурных центров русских рижан. Он был создан в 1863 году, основали его богатейшие русские люди города - купцы, коммерсанты, промышленники Камкины, Камарины, Тупиковы, Кармановы и др. В конце тридцатых годов его членами были, в основном, представители русских деловых кругов. Располагался он в здании, где сегодня находится Русский драматический театр. Задача Клуба заключалась в объединении культурно-общественных интересов русских жителей Риги, но политической деятельности Устав Клуба не предусматривал, что, впрочем, не мешало ему служить местом собраний многих русских общественных организаций. Для многих он был местом разумного и приятного отдыха. Здесь располагалась лучшая в Риге русская библиотека, насчитывавшая в ту пору более десяти тысяч томов.

Членами Русского клуба, каждый в свое время, состояли мой дед И. И. Бобров, мой отец Стахий Дмитриевич Никифоров и 121

многие наши друзья и знакомые. Я тоже с самого раннего детства нередко посещала его. Здесь устраивались интересные вечера для детей (как их тогда называли - балы), часто - с благотворительными целями. Хорошо запомнился мне один из них, когда папа, председательствовавший на таком балу, строил нас, детей, для полонеза, мама продавала клюквенный морс, а мы со сверстниками веселились. Но главным в Клубе для меня, рано полюбившей книгу, всегда оставалась библиотека, которая погрузила в мир путешествий и приключений, подружила с историей.

Помню, как однажды вечером отец предложил пойти с ним в библиотеку. Я с радостью согласилась. Мы вышли на улицу, моросил мелкий дождик. В клуб вошли через вход во дворе, поднялись по слабо освещенной лестнице и оказались в небольшом помещении, вдоль стен которого, до самого потолка, простерлись полки, плотно заставленные книгами. За стойкой стоял письменный стол, на нем лампа с зеленым абажуром, она скромно освещала всю комнату. Навстречу нам из-за стола поднялся уже немолодой мужчина чуть выше среднего роста. Почему-то мне врезалось в память, что поверх костюма на нем был надет серовато-синий халат. Он приветливо, как старый знакомый, поздоровался с отцом и пригласил нас раздеться. Потом Борис Александрович Энгельгард (а это был он) удалился в соседнюю комнату, принес из нее книгу о Жанне д' Арк и, славно улыбнувшись, подал ее мне. Теперь я понимаю, что его выбор был не случаен - перед каждым тогда стоял вопрос, что есть патриотизм, и настоящие русские прививали это чувство подрастающему поколению. Борис Александрович усадил меня за письменный стол - читать, а папу пригласил в соседнюю комнату, где они о чем-то долго беседовали.

Позже я узнала, что Борис Александрович был хорошо известен в Риге как общественный и политический деятель, писатель. В свое время он окончил Пажеский корпус и служил в армии, получив в 1912 году звание полковника. В том же году стал депутатом Государственной Думы. Во время Гражданской войны Б. А. Энгельгард возглавлял Отдел пропаганды штаба Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России (ВСЮР), то есть работал непосредственно рядом с Антоном Ивановичем Деникиным. С моим отцом их сближало участие в Белом движении и любовь к лошадям - оба они были частыми посетителями ипподрома.

К счастью, судьба была благосклонна к Борису Александровичу - он был осужден лишь к ссылке, потом освобожден и после войны вернулся в Ригу. Похоронен он в Юрмале, на кладбище Яундубулты.

Черные тучи все тяжелее и тяжелее нависали и над отцом. Я не знаю, насколько трудно он все это переживал, потому что внешне он держался спокойно: приезжая по вечерам с работы, решал все текущие домашние проблемы, в свободные часы любил со своим сеттером побродить по лесу. Хозяин фирмы, в которой папа работал, некий Крист, сразу же после 17 июня 1940 года уехал в Германию, но отец довольно скоро нашел другое место бухгалтера, и оно как будто его удовлетворяло. Запомнила я это потому, что он говорил маме, что его оклад теперь 550 латов, и мне казалось, что это очень много.

Однако, не все так спокойно ждали решения своей участи. Муж маминой сестры Ольги Виталий Смоленский, в прошлом белый офицер, не стал дожидаться, когда за ним придут, и в трюме парохода, следовавшего в какую-то из стран Европы, удачно бежал.

ВОЙНА

23 августа 1939 года Гитлер и Сталин подписали договор о ненападении, известный как Пакт Молотова—Риббентропа, с приложением к нему секретного протокола, в котором предусматривались сферы влияния Германии и СССР в Восточной Европе. Выходившая в Риге ежедневная русская газета «Сегодня» сразу же сообщила о договоре, а к статье приложила снимок, на котором было запечатлено рукопожатие Молотова и Риббентропа. Отец вырезал из газеты эту фотографию, потом ходил из комнаты в комнату и всем ее показывал. Подошел и ко мне, одиннадцатилетней, и сказал: «Взгляни и запомни — совершенно величайшее в мире историческое преступление!» Я запомнила. А мир молча, предательски, следил за последующими за этим рукопожатием событиями. Они не заставили себя ждать, и уже 1 сентября 1939 года германские орды вторглись в пределы Польши. Началась Вторая мировая война. Немцы очень быстро продвигались вглубь страны, несмотря на то, что польский народ в эти трагические дни проявил небывалую стойкость и мужество. Уже 8 сентября начались бои за Варшаву. Варшавское радио взывало о помощи и почти

ежеминутно сообщало об очередных авианалетах. «Увага!.. Увага!..» («Внимание!.. Внимание!..») Я тревожно вслушивалась в голоса дикторов и старалась понять смысл польской речи.

Отец, очень мрачный, шагал из угла в угол веранды нашего дома в Приедайне (Сосновке), включая и выключая радио, садился в кресло и снова вскакивал — видно было, как он тяжело все это переживал. Его мать, моя бабушка была полькой, а в Первую мировую войну папе пришлось участвовать в боях на территории Польши, бывал он в Варшаве, Кракове и других польских городах.

Варшава стойко держалась три недели, но силы были неравными, а помощи от других стран Европы — никакой. К тому же Красная армия, выполняя «договор» перешла границу Польши с востока и двинулась вглубь страны, фактически не встречая сопротивления. Значительная часть занятых Красной армией областей была населена белорусами и украинцами, и они надеялись, что с приходом русских их жизнь улучшится. Государственная граница Советского Союза, таким образом, была передвинута значительно западнее, и СССР теперь граничил непосредственно с Германией.

На территории, занятой войсками СССР, было сформировано пять западных областей Белорусской ССР и шесть — Украинской ССР. Репрессии со стороны советской власти по отношению к проживающим на занятых территориях гражданам не заставили себя ждать. Первая депортация произошла 10 февраля 1940 года, когда из родных мест насильно было переселено сто сорок тысяч человек. Их, как скотину, погрузили в товарные вагоны и вывезли на Крайний Север Европейской части СССР и в Сибирь. Следующее спецпереселение последовало 13 апреля 1940 года, тогда в Казахстан вывезли шестьдесят одну тысячу членов семей тех граждан, которые уже были арестованы, осуждены или расстреляны. Наконец, последняя массовая депортация 1940 года из тех же мест произошла в ночь на 29 июня, ей подверглось около семидесяти девяти тысяч человек. Всего за 1940 год из вновь образованных областей разного рода репрессиям подверглось приблизительно двести восемьдесят тысяч граждан. Все эти депортации проходили в обстановке строжайшей секретности, и мы, живущие в Риге, об этом даже не подозревали.

А жителей Риги и всей Латвии тогда волновало много других событий. В октябре 1939 года, как следствие Пакта Молотова—Риббентропа, между Латвийской республикой и СССР был заключен договор о «взаимопомощи», согласно которому военные базы Советского Союза разместились в Лиепае и Вентспилсе, а на улицах Риги нередко можно было видеть проходившие строем отряды красноармейцев.

Другим событием, взбудоражившим Ригу, был спешный отъезд прибалтийских немцев, внявших призыву Гитлера вернуться в фатерланд. Хорошо помню, как по улицам города

проносились в сторону Морского порта грузовики, нагруженные контейнерами или деревянными ящиками с немецким добром, а у набережной Двины (Даугавы) стояли огромные пароходы в ожидании репатриантов и их багажа. Однажды мы, школьники-четвероклассники, совершили к этим пароходам самостоятельную экскурсию. Увиденное произвело огромное впечатление: белые гиганты-пароходы, суetyающиеся вокруг маленькие человечки, четкость команд, скрип цепей и канатов, поднимающиеся и опускающиеся в глубокие трюмы огромные ящики и контейнеры. Уже в ноябре 1939 года основная масса прибалтийских немцев покинула Ригу и уплыла в свой Faterland.

Часть своей квартиры мы сдавали немецкой семье Грозберг, которые, будучи по-немецки практичными людьми, перед своим отъездом решили распродать свою не самую нужную утварь. Я помню, как самые разнообразные вещи были разложены прямо на паркетном полу. Приходили покупатели, внимательно осматривали все это добро, торговались, кто-то что-то покупал, другие уходили ни с чем. Потом приходили другие — в общем, в доме целыми днями была сутолока и беспорядок. Затем привезли огромные ящики, их заполнили и увезли, а Грозберги остались ждать часа своего отплытия. Однажды мама, разговорившись со старшей Грозберг, спросила ее: «Зачем вы уезжаете, если даже не знаете, куда конкретно вас везут?» Ответ последовал быстрый и четкий: «Однажды, в Первую мировую, мы уже побывали в Сибири, и перспектива вторично пережить это удовольствие нас не прельщает».

После отъезда репатриантов улицы Риги заметно опустели. От уехавших приходили письма и открытки, в которых сообщалось, что до непосредственно Faterlanda'a доехали немногие, почти всех высадили в порту Данцига (Гданьска), там же был выгружен багаж. Репатриантов развезли по польским городам и расселили в квартирах, где раньше проживали поляки и польские евреи. Рассказывали, что бывали случаи, когда новоселов ждал на столе еще не остывший кофе хозяев, только что изгнанных из дома. Что случилось со старшей Грозберг, неизвестно, но старушка так и не воссоединилась со своими родственниками. Ходили разговоры, что пожилых репатриантов посадили на отдельный пароход, и когда он вышел в море, всех пассажиров угостили чашечкой кофе...

Суровая, холодная, полная всяких слухов и противоречивых газетных сообщений зима 1939—1940 гг., наконец, заканчивалась. Природа медленно просыпалась. Запахло весной. Конец учебного года неуклонно приближался, в квартире после зимних холодов заметно потеплело, настроение поднялось, и о войне, которая полным ходом уже катилась по Европе, думалось меньше. До нас доносились лишь глухие ее отголоски. В один из весенних дней, вернувшись из школы, я застала свою маму очень встревоженной, взволнованной. Она сидела в кресле и, сжав виски руками, тихо покачиваясь взад—вперед, непрерывно повторяла: «Что делать?.. что делать?.. Мы пропали... мы погибли...» Я подошла к ней, обняла и спросила, что случилось. Мама долго молчала, потом начала рассказывать. Накануне отец имел беседу с одним из представителей германской комиссии, обосновавшейся в Риге уже после отъезда

прибалтийских немцев. В задачу комиссии входила вербовка лиц немецкой национальности, желающих, в силу различных обстоятельств, выехать под видом немцев в Германию. Здесь следует отметить, что отец в предвоенные годы работал бухгалтером в немецкой фирме, торговавшей в Латвии мотоциклами, и его офицерское прошлое и политические взгляды не могли не быть известны его работодателям.

О чем конкретно с отцом говорили, я знать не могу, но из пересказа мамы помню, что ему предложили (как и многим бывшим русским офицерам) переезд с семьей в Германию и сотрудничество с рейхом. На это отец, ненавидевший нацизм и не стеснявшийся об этом громко высказываться во всех общественных местах, в том числе и среди своих воспитанников-скаутов, ответил категорическим отказом, мотивировав его тем, что он, русский офицер, воевал против кайзеровской Германии и никогда не был и не может быть предателем России. Такой оборот вызвал у немца раздражение, и роковой разговор закончился угрозами в адрес отца и всей нашей семьи. Ему сказали, что скоро нас всех ожидают репрессии со стороны советской власти, которая в самое ближайшее время будет установлена в Латвии и которая не посчитается с патриотическими настроениями деникинского полковника.

Поведав мне все это, мама продолжала повторять: «Боже, мы пропали, я немцев знаю — они слов на ветер не бросают!..»

Отец остался непреклонен, и к отъезду в Faterland мы собираться не стали, в отличие от многих других русских рижан, которые откликнулись на приглашение германской комиссии, и уже весной 1941 года, за три месяца до начала войны, новая группа «прибалтийских немцев» отбыла на бывшую польскую территорию. В числе этих рижан оказались и семьи моих соучеников по 13-й Рижской основной школе — уехали мои подруги Ира Ион, Инна Желнина и другие.

А радио сообщало о все новых победах рейха: в начале апреля 1940 года гитлеровцы захватили Норвегию, затем Бельгию, Голландию, Люксембург. 22 июня 1940 года капитулировала Франция. Теперь почти вся Европа оказалась под пятой германских нацистов.

В мае сорокового года отец решил, что пора выезжать в наш дачный домик у реки Лиелупе в Приедайне (Сосновке). Но на этот раз мы покидали свою рижскую квартиру насовсем. Мне папа объяснил свое решение тем, что уже в предшествующую зиму мы мерзли в рижской квартире, так как в город не был завезен уголь, а в дальнейшем, в связи со все более осложняющимся военным положением в Европе, ожидать можно только худшего. Началась суета сборов, мама погрузилась в хлопоты, что, наверное, помогало ей отвлечься от черных предчувствий. Нашу ухоженную квартиру трудно было узнать — вещи собраны в узлы и

свалены на пол, со стен сняты картины, из которых мне хорошо запомнилась подаренное папе художником К. С. Высоцким полотно «Рыси в снежном лесу».

Отец, помятуя опыт предыдущей войны и понимая, что новая недолго заставит себя ждать, разместил имущество из нашей рижской квартиры в разных местах: часть столового гарнитура сложил на чердаке знакомого хуторянина, проживавшего неподалеку от озера Бабите; к соседу-крестьянину, в его огромный сарай, где хранились телеги, сани, плуги и прочая деревенская утварь, он отвез ящики с книгами, картинами и другими домашними вещами. В мансарде возле Петеркирхи (Собора св. Петра в Риге) жила семья наших родственников Трофимовых, дочь которых Аля недавно вышла замуж. Молодожены еще не успели обзавестись необходимой мебелью, и отец отдал им во временное пользование спальный гарнитур. Таким образом, в приедайнский дом он привез лишь самое необходимое.

Забегая вперед, скажу, что в день входа в Ригу фашистских войск, дом, где жили Трофимовы, сгорел вместе с нашим спальным гарнитуром; знакомый хуторянин умер в 1943 году, а его соседи хорошо похозяйничали в наших ящиках, оставив их совершенно пустыми; сохранились лишь вещи, сложенные на чердаке.

Героически преодолев многочисленные хлопоты, связанные с переездом из Риги, отец занялся переоборудованием летнего домика для постоянной жизни в нем. Он установил ванну, наладил колонку для подогрева воды и, главное, провел в дом водопровод с электронасосом. Затем он занялся обустройством садового участка, появилась бригада рабочих, которая разобрала старую ограду из ржавой колючей проволоки, о которую я неоднократно больно царапала ноги. Ее заменила металлическая сетка, укрепленная между цементными столбами. А мама в это время, разобрав привезенные вещи, заготавливала впрок продукты — черные сухари, баранки, сахар, топленое масло — все это складывалось в недоступные для постороннего глаза места, где это добро не должно было портиться. Мне в обязанность был вменен уход за маленьким огородиком, расположенном у самой реки, и занималась я этим с огромным удовольствием.

Но события, коренным образом изменившие нашу мирную жизнь, надвигались неотвратимо, как черная туча перед страшной грозой.

В пограничной зоне между Прибалтикой и СССР был разыгран провокационный инцидент — сожжено несколько домиков советских пограничников, рядом были найдены их трупы. Сразу же после этого, 14—16 июня 1940 года, последовал ультиматум, предъявленный Советским Союзом правительствам Литвы, Латвии и Эстонии, якобы нарушившим Договор о дружбе и взаимопомощи. Ультиматум содержал в себе требование к главам названных государств смены их правительств и заявлял об увеличении контингента красноармейцев в Прибалтике для обеспечения интересов советского государства.

17 июня 1940 года около 12 часов дня передовые части Красной армии вошли в Ригу. Толпы народа, населявшего, в основном, Московский форштадт, устроили им торжественную встречу, которая привела к кровавым беспорядкам у вокзала и префектуры. 19 июня рижская русская газета «Сегодня» поместила сообщение обо всем этом и отметила следующее: «Население не препятствовало продвижению войск, и советское командование совершенно удовлетворено радушной встречей и приветствием населения». А вот нашему отцу, возвращавшемуся с работы в тот день, пришлось пробиваться к пригородному вокзалу сквозь возбужденную толпу. Добравшись до дома, он еле сдерживая волнение весьма красноречиво обрисовал обстановку в Риге, добавив к своему рассказу достаточно резкие комментарии.

А у нас на реке все было пока по-прежнему — спокойно, солнечно. Я поливаю цветы, катаюсь на лодке, купаюсь...

21 июня в газетах был опубликован список лиц, вошедших в новое правительство Латвии и состоялась грандиозная демонстрация под красными флагами и транспарантами. А несколькими днями позже, в ночь с 28 на 29 июня 1940 года, в нескольких вновь образованных областях Западной Украины была произведена очередная, третья по счету, депортация бывших польских граждан — около семидесяти девяти тысяч человек, но об этом газеты ничего не сообщали...

Прошло совсем немного времени со дня провозглашения новой власти, когда вернувшийся с работы отец, огорошил нас всех сообщением, что национализирована недвижимость, принадлежавшая семейству Бобровых, а также дом его матери (улица Блаумана, 1). Бабушка переехала жить к нам в Приедайне, чему я была по-детски рада, потому что очень ее любила, но каково же было ей, всю жизнь прожившей в своем доме. А у меня, двенадцатилетней девочки, все происходящее никаких особых эмоций не вызывало, скорее все было интересно и любопытно. Если бы я была постарше, то даже из милой и живописной Сосновки (так русские называли Приедайне) смогла бы разглядеть то многое страшное, что тогда начало обволакивать нас.

Большевистские репрессии начались еще до официального вхождения Латвии в состав Советского Союза (5 августа 1940 года). Начались аресты. Репрессии следовали одна за другой. В первую очередь они коснулись членов различных общественных организаций, в том числе и русских. Приезжая вечерами с работы, отец глухо рассказывал маме о том, что взяли того или другого из его знакомых.

Оснований для волнений и беспокойства у отца было предостаточно. Человек общительный, он имел очень широкий круг знакомств, состоял в дружеских отношениях со многими

представителями русской интеллигенции. К тому же папа был прекрасным и очень откровенным рассказчиком и нередко вспоминал о своих приключениях в германскую и гражданскую войнах, никогда не делая секрета из того, что воевал под знаменами прославленных белых генералов Л. Г. Корнилова, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Я же об этом знала чуть ли не с пятилетнего возраста.

В свете всех этих событий и потрясений незаметно подкралась осень, побагровела и озолотилась листва, вода в реке стала прохладнее, но, преодолевая озноб, я продолжала купаться.

Как всегда, школьные занятия начались первого октября. В школу отец повез нас на мотоцикле — я пристроилась на заднем сиденье, а мама с Ирой расположились в коляске. Было уже прохладно, и на пронизывающем ветру мама так озябла, что у нее даже губы посинели. В школе стоял невообразимый шум, родители тревожно обсуждали происшедшие за лето перемены, а дети пересказывали друг другу свои новости. И вот я вошла в свой пятый класс, не подозревая, что в 13-й основной рижской школе я учусь последний год.

За время летних каникул в жизни переменилось очень многое. Четвертый класс мы заканчивали в одном государстве, а пятый начинали уже в другом. Изменения в школьном укладе обнаружились уже в первый день. Вместо пятнадцатиминутной утренней молитвы, предваряющей уроки, теперь была введена физзарядка: нас собирали в зале и под прихлопы и притопы заставляли махать руками и дергать ногами, затем, вспотевших, разводили по классам. С тех пор я возненавидела никому не нужные, на мой взгляд, бестолковые утренние упражнения, мешавшие сосредоточиться на первом уроке. Занятия по Закону Божьему отменили, и куда девался симпатичный и всеми любимый батюшка Николай Трубецкой — нам было неизвестно. Появились новые предметы, в том числе немецкий язык, которым я уже владела и, естественно, на уроках скучала. Очень уплотнились уроки по арифметике, так как по советской программе уже с шестого класса вводилась алгебра, по-новому стали преподавать историю и физическую географию, появился и новый учитель, очень скучный, на его занятиях шумели и болтали все. Директором школы стал наш учитель естествознания Николай Иванович Колосов, позднее его заменили новым — из Советского Союза. Но все же, в основном, прежний учительский коллектив сохранился, и нашим классным руководителем оставалась строгая, но терпеливая, принципиальная Вера Ивановна Лопатина. В классе появились новички, перешедшие к нам из других школ. Была закрыта еврейская школа, и шесть учеников из нее, хорошо знавшие русский язык и выдержавшие экзамены, были приняты в наш пятый класс. Из Французского лицея, занятия в котором проводились на латышском и французском языках, к нам перешла Алла Бодаревская, которую я хорошо знала, так как наши бабушки и мамы были подругами. Из Двинска (Даугавпилс) перебралась в Ригу семья священника Варфоломеева, и его дочка Соня тоже оказалась в нашем классе. Странно было видеть некоторых одноклассников в красных галстуках, их повязали, в

основном, все новенькие из еврейской школы, но и кое-кто из наших прежних одноклассников поспешил сделать это. Как чуть позже выяснилось, дети (или их родители) перестарались, так как надеть красный галстук разрешалось только после официального приема в пионеры — это случилось через недолгое время.

Я довольно быстро приспособилась к новому школьному распорядку и училась легко и с удовольствием. В школу теперь приходилось ездить на пригородном поезде и вставать рано, что мне всегда давалось с трудом. Помню, как мама будила меня и приговаривала: «Ах, как ты трудно просыпаешься, как же будешь вставать на работу?» На станцию Приедаине к поезду в Ригу шли лесом, когда еще только начинал сквозь туман пробиваться рассвет. Рядом со мной и сестрой, постоянно подбадривая нас, всегда шел отец, ему тоже надо было торопиться — на работу. Поезда, ходившие в эту зиму, были составлены из очень оригинальных старинных вагонов, напоминавших экипажи. Каждый такой вагон состоял из нескольких изолированных друг от друга купе, двери которых открывались прямо на улицу, что создавало определенные проблемы для нашей безопасности: можно было выпасть из вагона на ходу поезда, защемить руку или пальцы. Однако смотрелся такой поезд в целом очень живописно. Из школы мы с сестрой возвращались самостоятельно, и дома нас ожидал горячий и всегда очень вкусный обед, который готовили мама с бабушкой, и хотя с продуктами стало заметно беднее (например, были введены карточки на сахар, по 1200 г на человека), от их недостатка мы пока не страдали.

Зима сорокового—сорок первого была многоснежная, но таких морозов, какие донимали нас в прошлом году, не было. В нашем саду, прямо перед окном родительской спальни, служившей одновременно столовой и гостиной, отец соорудил птичью кормушку, и кто только не прилетал подкрепиться в нее — черноголовые синички, серые воробьи, щеголеватые сороки, иногда невесть откуда взявшийся дрозд, но больше всего я любила наблюдать за красногрудыми снегирями и их скромными серенькими подругами. Для своих любимцев по совету дяди Саши я еще с осени припасала большое количество ягод рябины, и зимой, развесив их гроздьями у кормушки, наблюдала, как птицы, прилетая, деловито расклевывали яркие оранжевые ягоды.

В мае 1941 года, война в Европе была в разгаре, ее отголоски были слышны уже и в Латвии. В воздухе все явственнее пахло надвигающейся и на нас войной. Стало заметным существенное оживление перемещений военных. Однажды ночью мимо нашего дома с грохотом прошли танки, утром на обочине шоссе мы увидели широкие борозды от их гусениц, изрядно исковеркавших дорогу. В окрестном лесу обосновались красноармейцы-связисты, они поставили палатку и тянули куда-то провода, при этом непрерывно переговариваясь с кем-то по радию. Когда мы подошли, они добродушно и терпеливо ответили на все наши вопросы, было очень интересно. Потом радио и газеты сообщили об учениях по отражению

воздушного нападения, и в назначенный день и час завывали сирены воздушной тревоги — ощущение, прямо говоря, жутковатое.

Отец, понимая что военных событий остается ждать недолго, задумался о сооружении в саду рва, который смог бы служить укрытием во время бомбежки или артиллерийского обстрела, нарисовал проект и готовился его осуществить.

В конце мая, возвращаясь из школы поездом, я обратила внимание, что около станции Торнякалнс на запасных путях концентрируются товарные вагоны. С каждым днем их становилось все больше, в них велись какие-то работы, снаружи небольшие окна перекрывались двумя продольными металлическими прутьями. Мимо проходили пассажирские и пригородные поезда, но вряд ли кто-нибудь из пассажиров проявлял любопытство к манипуляциям с товарными составами. Я спросила у мамы зачем на маленькой станции так много товарных вагонов. «Не знаю...» — ответила она.

Седьмого или восьмого июня (точно не помню) к нам неожиданно пришел участковый милиционер и переписал всех, кто проживает в доме. Мама интуитивно почувствовала недоброе и очень разволновалась...

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ИЮНЯ

Насилие — самое страшное преступление, оно в итоге парализует человека.

Как оно пришло — то роковое, четырнадцатое число июня 1941 года? Что тогда было? Ночь или уже светало?

Детский сон глубок и безмятежен, но вот в него вторгается глухой стук: кто-то с силой барабанит в ставни. Ощущение, что больно бьют по голове.

Сквозь уходящий сон чувствую, что мама трясет меня за плечи и слышу ее взволнованный голос: «Скорее, скорее просыпайся!..» С трудом открываю глаза. Через щели в ставнях пробивается рассвет... Ничего не понимаю — зачем она меня будит? А мама продолжает меня трясти и говорит каким-то чужим, невменяемым голосом: «Нас увозят за пределы Латвии... на сборы один час... взять можно только сто килограммов вещей... но сколько это... остальное на станции выбросят...» И снова: «Да скорей же ты поднимайся!.. Надевай на себя побольше белья!..»

Подымаюсь с трудом, плохо соображаю, звучат громкие чужие мужские голоса, тяжелые шаги. Сестричка Ирина тоже уже проснулась и одевается.

Выхожу из детской, вижу — в спальне родителей полный разгром, идет обыск. Из разрезанных матрасов высыпают спрятанные там про черный день серебряные пятилатовые монеты.

Мужики в штатском быстро перекалывают монеты в свои карманы, оставляя часть, на которую тут же составляется Акт. В одном из мужчин, единственном в милицейской форме, узнаю знакомого крестьянина-jaunzemnieks'a («новохозяина») Браже. Он прячет глаза, не смотрит в нашу сторону. Этот человек был хорошим нашим знакомым — отец очень любил утиную охоту, и когда с началом сезона ездил на озеро Бабите, всегда у него останавливался. Сразу же после установления в Латвии советской власти, Браже надел милицейскую форму. Спустя годы выяснилось, что именно он вписал в список подлежащих высылке из Юрмалы всех членов нашей семьи.

Отца не вижу — он присутствует при обыске.

Мама, очень бледная, растерянная, трясущимися руками вынимает вещи из шкафов и бросает все в полотняный мешок. На сборы дан один час и разрешено взять не более ста килограммов — сколько это, и что брать в первую очередь? К тому же объявлено, что если багажа окажется больше, его просто выбросят. В результате, в этой страшной суматохе забыли, не взяли с собой многое из самого необходимого. Спасибо солдату-охраннику, стоявшему с винтовкой у входной двери — он, оглянувшись с опаской, тихонько подсказал маме: «Хозяйка, берите все теплые вещи, а багаж мужа положите отдельно».

Думаю, что в тот момент никто из нас не мог понять, что происходит, чудовищно страшно все это было. Бабушке, матери отца, стало настолько плохо, что у нее отнялись ноги.

Свидетелем той ночи нечаянно оказался наш гость — папин друг, однокашник по кадетскому корпусу Павел Миронович Табульский. Чекисты проверили его документы и со словами «Хороши же у вас друзья!» отпустили. Взволнованный Павел Миронович помчался к своей семье в Ригу, предвидя такую же участь, но их дом беда обошла.

С соседней дачки, в которой жила папина сестра, моя любимая тетя Лида, прибежал разбуженный грохотом в ставни мой восемнадцатилетний двоюродный брат Виктор. Сообразив, что происходит, он начал уговаривать конвоиров не увозить хотя бы больную астмой бабушку, приводя при этом разумные доводы, но все они оказались бесполезными. Охранники объяснили молодому человеку, что Мария Ивановна Никифорова включена в список членов семьи «врага народа», и они самостоятельно не вправе что-либо изменить. Вите ничего не оставалось, как только помочь ей собраться. Он, как и все мы, очень любил бабушку и с четырех лет со своей мамой жил в ее доме на улице Блаумана (Старо-Невской), вплоть до июля 1940 года, когда, сразу после национализации, Мария Иоганновна

Никифорова была вынуждена переселиться в небольшую комнатку возле кухни. Виктор разложил на полу простыню и стал бросать на нее вещи. При этом он пытался хоть как-то всех успокоить, обещая сделать все возможное, чтобы нас не вывозили. Однако значительный жизненный опыт Марии Иоганновны подсказывал ей, что, к сожалению, это — конец. И пока энкаведешники тщательно обшаривали все помещения, в том числе и сарай, она незаметно достала откуда-то спичечный коробок, в котором был спрятан старинный бриллиант — семейная реликвия, которую бабушка хранила много-много лет. Этот бриллиант был подарком близкой родственницы по линии ее отца, знаменитой в свое время балерины Мариинского театра Екатерины Оттовны фон Вазем¹, которой вручил его сам император Александр Второй за прекрасное исполнение сольного танца.

Многие годы спустя, когда довелось снова встретиться, Виктор рассказал, что после того как нас всех посадили в грузовик и увезли, он поспешил в город, чтобы сообщить обо всем случившемся своей матери. Все его мысли были заняты тем, как нас вызволить. Находясь в этом растерянном состоянии, он перед уходом с дачи зачем-то вынул из кармана коробок и оставил его на подоконнике комнаты, в которой спал. Вернуться на дачу пришлось только через несколько дней — на подоконнике бриллианта не оказалось — коробок был пуст.

Тогда же, в 1991 году, я узнала от Виктора, что чекисты при обыске обнаружили портреты членов императорской фамилии, офицерскую форму отца и, что оказалось главным, его переписку с находящимся в эмиграции Великим Князем Владимиром Кирилловичем Романовым, которую он вел во второй половине тридцатых годов. О том, что таковая существовала, я не только знала, но и читала некоторые из этих писем и видела фотографию Великого Князя. Но что удивительно, — в следственном деле отца этот факт не упоминается.

Немного привыкнув к суматохе лихорадочных сборов, я вдруг задумалась о том, что делать с моим любимцем — снегирем. Взяв клетку, я направилась к стоявшему в дверях часовому и попросила разрешить мне выйти в сад и отпустить птицу. Он разрешил, но предупредил, чтобы я все время находилась в поле его зрения. Увы, мне тогда не пришло в голову схитрить и уйти через кусты и камыши в лес. Я открыла дверцу клетки и постучала по ней. Снегирь сначала недоумевал, вышел из клетки, присел на дверцу, и вдруг взмахнув крыльями, резко взмыл и полетел в сторону реки. Сумел ли он выжить, нашел ли своих самочек в грохоте очень скоро начавшейся войны?

Тем временем чекисты закончили разгром дома и стали торопить нас рассаживаться на узлы в грузовике. Бабушку вынесли, подняли в кузов, она молчала, да и мы все, оцепеневшие от ужаса происходящего, не могли слова вымолвить. У ворот остался лишь Виктор да наш любимец — сеттер Барсик, который тоскливо смотрел на нас преданным собачьим взглядом, как будто все понимал. Позднее я узнала, что от тоски у него скоро начали гноиться глаза, и верный пес умер.

Грузовик тронулся, переехал по понтонному мосту через реку Лиелупе и притормозил около здания милиции в Булдури. Конвоиры с бумагами вошли в помещение, ждать их пришлось довольно долго. Вернувшись, они отдали какое-то распоряжение водителю, и машина, повернув в сторону станции Лиелупе, выехала на шоссе и через некоторое время остановилась у небольшого домика в Буллюциемсе, на улице Лашу, 12. Два конвоира остались охранять нас, а остальные вошли в дом и долго оттуда не выходили. Наконец дверь домика отворилась и из него вывели с узлами и еще какими-то пожитками семью из пяти человек — мужчину средних лет, женщину и трех девочек, старшая из них, Эдите, была примерно моих лет, другие — совсем еще маленькие. Это была семья Симанис. Все они, как и мы, оцепенело молчали. Нам было приказано потесниться, а «новеньким» подняться в кузов. Теперь в нем сидело десять арестованных, из них пятеро детей и старая женщина.

А потом — долгая езда с остановками в разных местах. Солнце уже стояло высоко. По дороге видели еще несколько машин, подобных нашей. Все сидевшие в них люди, напряженно нахохлившись, молчали. Переехали по понтонному мосту Двину, повернули в сторону Московского форштадта, и, наконец, Шкиротава (Сортировочная), доселе неизвестная мне товарная станция. Оглянувшись, я ахнула: все железнодорожные пути были забиты множеством составов из товарных вагонов с зарешеченными окнами.

Наш грузовик остановился у ограды, отделявшей дорогу от железнодорожных путей. Перед нами и позади нашей машины выстроились в очередь другие, в кузовах которых сидели на своих узлах онемевшие от ужаса люди.

Из кузова, сверху, хорошо прослеживалась вся процедура погрузки. Товарные вагоны, находящиеся на ближних путях, медленно передвигались. Некоторые из них, уже набитые людьми, были плотно закрыты на тяжелые металлические засовы.

Когда подходил пустой вагон с настезь раскрытыми дверями, он останавливался возле проема в ограде, к нему подставляли доску и по ней загоняли людей из грузовика. Туда же забрасывали их вещи. Если кто-то противился, вооруженные охранники подхватывали упряма и без слов закидывали его в вагон. Один из энкаведешников со списком в руках следил за порядком заполнения теплушки. Когда она оказывалась «укомплектованной», дверь со скрипом закрывалась, опускались наружные засовы, и состав передвигался вперед еще на один вагон — открытый.

Кругом стоял невообразимый шум, грохот вагонов, задвигаемых дверей и засовов, плач, истерические крики. Уже ко всему привыкшие конвоиры не обращали на это никакого внимания, равнодушно делая свое дело — так, как будто перед ними были не люди, а скот. Впрочем, так оно и было...

Подошла наша очередь грузиться. Машина подъехала к открытому вагону. Сначала из кузова спустили на руках бабушку и усадили ее на мешки с нашими вещами, затем — маленьких девочек и нас с сестрой... Последними спустились взрослые.

Около теплушки, в которую через несколько минут предстояло погрузить нас, билась в истерике, кричала и сопротивлялась охраннику немолодая, ярко-рыжая еврейка. Но через минуту ее силой загнали в вагон, и вопли несчастной доносились уже оттуда. Видя этот кошмар, многие начинали понимать, что силе придется подчиниться.

По узкой дощечке поднимаемся в вагон...

И вот с грохотом задвигают снаружи тяжелую дверь, и мы слышим, как охранники опускают металлические засовы. Темно и страшно, но постепенно глаза привыкают и начинают что-то сначала различать, а потом и видеть.

По обе стороны от двери, больше похожей на ворота, сооружены из досок двухэтажные, ничем не прикрытые нары. На нижних царит полная темнота, а на верхние свет проникает через два маленьких оконца, перекрытые двумя металлическими планками, с таким расчетом, что голову между ними не просунуть. А посреди вагона, в промежутке между нарами, подавленные и обессиленные свалившимся на нас горем, стоим мы — дети, взрослые, старики, всего человек тридцать. Рядом кучей валяются наши узлы и чемоданы. В сумеречной тишине слышны лишь всхлипывания и тяжелое горестное дыхание.

Но вот раздается голос моего отца: «Что ж, кажется, это надолго. Надо знакомиться, располагаться...» Папа почти сразу занял лидирующее положение и предложил разместить детей с матерями на верхних нарах, а остальным располагаться внизу. С ним все согласились, и он мне, своей любимице, показал на место около окошка и тут же помог туда подняться. Рядом со мной расположились сестра и мама, за ними — семья Симанис, вместе с которой нас везли на грузовике из Лиелупе в Шкиротаву. Таким образом, на наших нарах оказалось семь человек. С противоположной стороны на верхних нарах уложили мальчиков с их родителями. Папа с бабушкой «обустроились» внизу, прямо под нами. Постепенно все «пассажиры» разобрали свои узлы, что-то положили под себя, что-то пристроили в головах.

Тяжесть нашего положения усугубляло отсутствие в теплушке, в которой раньше перевозили скот, туалета, даже в самом примитивном его понимании. Его здесь заменяла прорубленная в глухой стене вагона, прямо напротив «входной двери», дыра размером 15 . 35 см, обшитая до уровня сидения досками и открытая со всех сторон. Не сразу я поняла, что это и есть наше «отхожее место», а когда сообразила, все внутри меня онемело и замкнулось в ужасе. Подобные эмоции испытывали и все окружающие. Но терпение у всех подходило к концу, а вопрос с туалетом не решался. Наконец полная пожилая латышка достала из своих

узловстаренькое, но еще вполне плотное фланелевое одеяло, из которого мужчины соорудили некоторое подобие ширмы вокруг злополучного отверстия.

Хлопоты вокруг такого важного для всех объекта в какой-то степени ослабили общее напряжение, и люди уже были готовы приступить к знакомству друг с другом, но сделать этого тогда не удалось — снаружи заскрипел засов, приотдвинулась тяжелая дверь и в теплушку поднялся конвоир. Он приказал, чтобы мы все уселись на нижние нары, и, раскрыв тетрадь со списком «пассажиров», начал переключку, при этом каждый должен был назвать свое имя и фамилию, главе семьи уделялось особое внимание. Проверив наше наличие, чекист тут же ушел.

Снова сумерки и тревожные размышления. Но на сей раз молчание длилось недолго, все взрослые заговорили, пытаясь разобраться, что кроется за понятием «глава семьи»² и почему именно ему чекисты придают такое значение. Разговоры эти сблизили людей, все понемногу перезнакомились, начали говорить и о других проблемах, и тут выяснилось, что никто не запасся ни едой, ни питьем. Во время суматошных сборов никому голову не пришло, что надо будет есть и пить. А маленькие дети уже плакали и просили кушать, и бедные их мамы не могли помочь своим детям- арестантам ничем, кроме слов утешения.

Наступил вечер. Снова загремел засов и завизжала отодвигаемая дверь. В вагон вошел вооруженный охранник, опять со списком. На этот раз он назвал фамилии тех, кто днем назвался «главой семьи». Прозвучала фамилия и моего папы. Железным, грубым голосом, не допуская никаких возражений или вопросов, чекист приказал: «Все, кого я назвал, немедленно на выход с вещами. На сборы десять минут!»

Внутри у меня как будто что-то взорвалось, сердце сжалось: неужели нас разлучают?.. Как страшно.. Что же будет дальше?..

Мамино лицо стало вдруг белее снега, дрожащими руками она вытащила из сложенных узлов мешок с отцовскими вещами, хотела сунуть в него лежавшее отдельно папино утепленное охотничье полупальто, но так разволновалась, что не сделала этого, о чем впоследствии очень сожалела, понимая, что именно оно, это полупальто, должно было ТАМ пригодиться.

Наступила минута прощания. Отец по очереди подходил к нам: своей матери, жене, Ирине и ко мне. Я крепко к нему прижалась, поцеловала в последний раз и расплакалась.

Конвоир торопился, отодвинул пошире дверь и все мужчины нашего вагона, все «главы семей», захватив свои пожитки, покидали теплушку, уходя от нас в неизвестность. И, как оказалось, навсегда.

Совершенно измученная душевно и физически, я легла на отведенное мне папой узкое и жесткое местечко на нарах, и попыталась уснуть. Но в голову лезли и лезли мысли о пережитом за последние сутки, в душу закрадывались недобрые предчувствия. Только уже перед рассветом я, наконец, забылась тяжелым сном, полным кошмаров, но очень скоро была разбужена скрежетом отодвигаемой двери и громкими голосами. Приподнявшись на локте, я увидела в центре теплушки группу незнакомых людей, в основном женщин. Выяснилось, что один из эшелонов, в котором первоначально разместили семьи, впоследствии определили для мужчин группы «А», и первыми туда перевели всех «глав семей», а людей из группы «Б», т. е. «членов семей» распределили по другим эшелонам.

Стало шумно, вновь прибывшие засуетились, начали располагаться и размещаться на нарах, освободившихся после ухода наших мужчин.

Мама поднялась, спустилась с нар на пол и вдруг увидела свою старую знакомую, пристроившуюся на узлах прямо под нашими «верхними местами» — Нину Николаевну Казацкую; рядом с ней сидел ее младший сын Николай.

В глазах Нины Николаевны смешались испуг, отчаянье, непонимание всего происходящего. В кратком, спешном разговоре Нина Николаевна рассказала, что их забрали прямо на даче — её, мужа и Николая. Старшего сына с ними не было, и что с ним сейчас, ей неизвестно. Вывезли их одетыми по-летнему — в сандалиях, плащах, на Коле — только костюм. И никаких теплых вещей, лишь одно одеяло на двоих. Даже свои личные вещи Нина Николаевна второпях оставила в вагоне, из которого их спешно выдворили, чтобы разместить там «глав семей».

Когда закончили «благоустройство спальных мест» вновь прибывших, кто-то взялся пересчитать «пассажиров». Нас оказалось двадцать девять. Во время «переписи населения» выяснилось, что в вагоне оказался сирота, без денег и каких-либо вещей — четырнадцатилетний мальчик Яша. Взяли его вместе с отцом, но потом «главу семьи» вывели вместе с другими мужчинами. Отец, видимо, растерявшись и не понимая, куда его ведут, забрал с собой чемодан с вещами своими и сына. Пришлось всем обитателям вагона взять мальчика на попечение.

Пока нас доставляли на станцию Шкиротава, пока мы сидели запертыми в вагоне, папина сестра Лидия Дмитриевна, со всей присущей ей энергией, принялась хлопотать, в надежде вызволить из беды если не всех нас, то хотя бы свою мать, нашу бабушку. Сына Виктора она направила к отцу его школьной подруги — генералу, а сама бросилась к знакомым, которые, как ей казалось, могли помочь.

Генерал принял Виктора у себя дома, выслушал и сказал, что он генерал армейский и повлиять на решения чекистов никак не может. Виктор генералу не поверил и ушел обиженный. Знакомые тети Лиды тоже оказались бессильными помочь. На следующий день, поняв, что сделать для нас ничего уже нельзя, тетя Лида, прихватив с собой сына и племянницу Галю, накупила продуктов и приехала в Шкиротаву. Увы, они опоздали буквально на минуты и увидели лишь хвост уходящего поезда. Это случилось в полдень 15 июня 1941 года. Начиналась наша трагическая одиссея.

ЭШЕЛОН

*Мысли с рыданиями ветра сплетаются,
С шумом колес однотонным сливаются,
И безнадежно звучит и стучит это:
Ти-та-та... та-та-та... та-та-та...
ти-та-та...*

Максимилиан Волошин. «В вагоне»

Первое время поезд шел как-то неуверенно, часто и иногда надолго останавливался. Потом, как человек, вставший после долгого сидения и, наконец, размявший ноги, пошел побойчее. Товарный вагон, в котором мы ехали, конечно ни рессор, ни амортизаторов, обычных на вагонах пассажирских, не имел, и поэтому его бросало из стороны в сторону, он подпрыгивал, шатался, скрипел и грохотал. Привыкнуть к такому дискомфорту было трудно. Но мое «спальное» местечко находилось как раз возле окошка, и через его решетку я могла видеть многое — железнодорожные станции, переезды, хутора и поселки, поля и леса. И людей, которые занимались своими повседневными делами, оставаясь свободными. И много военных. Тогда я еще не могла знать, что вот-вот сюда, на эти мирные поля, в эти тихие поселки придет война. Вот проскочили станции — Огре, Плявиняс... На повороте увидела, что тянули нас аж два паровоза, а вагонов я насчитала около пятидесяти. Значит, прикинула я, в них около полутора тысяч человек.

К вечеру эшелон подошел к Даугавпилсу (Двинску). Была остановка и долгое маневрирование, возможно, что к составу прицепляли еще несколько вагонов. Все «пассажиры» нашего вагона за двое бессонных суток, да еще без питья и еды, так обессилели, что когда поезд отошел от Двинска, молча улеглись по нарам и под стук и грохот колес забылись в тревожном полусне.

Ночью состав пересек бывшую границу Латвии и СССР и на рассвете остановился на станции Полоцк. Проснулись мы от визга открываемой двери и громкого выкрика конвоира: «Двое выходи за едой!» Коля Казацкий и еще кто-то из мужчин быстро собрались, спустились на платформу и в сопровождении вооруженного охранника отправились за едой и водой.

В вагоне все уже проснулись. Я выглянула в окошко. В сумерках за дорогой виднелись почерневшие от времени двухэтажные дома, они показались мне очень мрачными. Своими мыслями я поделилась с мамой, она ответила, что в городах провинциальной России все жилые постройки такие.

Прошло более часа, когда, наконец, Коля и его спутник вернулись, нагруженные четырьмя ведрами и мешком с хлебом. Одно ведро оказалось наполненным супом с вермишелью, другое на одну треть содержало в себе все ту же вермишель, а поверх нее лежали две огромные котлеты. В третьем и четвертом ведрах была вода — кипяченая и холодная. Хлеб был только черный, в виде непривычных для рижан кирпичей. Кушать пришлось около пяти часов утра, пока еда не остыла. По всеобщему согласию, решено было отдать котлеты детям. Мама достала нашу единственную алюминиевую мисочку, наполнила ее супом и заставила нас с Ириной его съесть. «Надо, — жестко сказала она, — хоть через силу, а ешьте, неизвестно, когда еще еду принесут...» Когда суп нами с трудом (кто же ест в пять часов утра!), но все же съеден, мама положила нам «второе»: вареную вермишель, на которую положила кусочек котлеты. Пробую — никаких вкусовых ощущений — сплошная соль. Такое есть трудно даже после двухсуточного голодания. Впрочем, и эти котлеты оказались последними — за всю дорогу, которая длилась для нас более месяца, нам больше ни разу не давали ничего мясного. После окончания коллективной «трапезы» уже ставший незаменимым Коля Казацкий собрал пустые ведра, оставив лишь одно — с водой, и в сопровождении того же охранника отнес их в вокзальную столовую.

В Полоцке эшелон стоял долго. Хмурое утро сменилось таким же неприветливым днем. Я снова забралась на нары и попыталась уснуть, но в голову лезли тревожные мысли: куда нас везут, что будет с нами дальше. Увы, ответа я не находила.

Прошло еще какое-то время, состав задержался и тронулся, постепенно набирая скорость. От Полоцка нас повезли на север, мимо станции Дретунь к Невелю, и уже в середине дня мы остановились в Великих Луках. О городе и вокзале никаких воспоминаний не осталось, запомнился лишь привокзальный рыночек под навесом. Точно не помню, но кажется, что женщинам, торговавшим на рынке, разрешили подойти к вагонам с молоком и вареным картофелем — в вагонах было много детей, даже совсем маленьких.

У Коли Казацкого оказалась с собой географическая карта, и начиная с Великих Лук мы начали отслеживать маршрут нашего поезда. От мысли, что будем проезжать Москву, где можно было бы броситься в поиски правды, пришлось отказаться, столица осталась южнее. Под стук и грохот колес наш путь шел в направлении на восток, все дальше унося нас от родного дома. За окном мелькали станции, на некоторых были недолгие остановки для заполнения водой паровозных котлов — Торопец, Андринополь, Охват, Осташков, Фирово, Куженкино, Бологое, Мста, Удемля, Малышево, Бежецк, Сонково и так далее... Как-то

вечером, кажется, это было 20 июня, поезд остановился на станции Волга. Эти места были хорошо знакомы нашей маме — В Первую мировую войну, во время немецкого наступления на Ригу, она находилась в эвакуации в Кашине. Наш вагон оказался у главной платформы вокзала, на которой собралась большая группа женщин, все почему-то в красных косынках. Они с любопытством и участием смотрели на нас и потихоньку, с оглядкой, отвечали на наши вопросы. От них мы узнали, что наш эшелон за этот день уже четвертый. «И куда же это вас всех везут? Боже, Боже, что ж это делается!?» — воскликнула с ужасом одна из них. Мама спросила, почему они все в одинаковых красных косынках. Оказывается, что в их магазине «выбросили» красный ситец, из которого все, кому удалось его «достать», пошили себе косынки. Одежда на всех женщинах очень скромная, в основном ситец, но чистая и аккуратная.

Поезд трогается и направляется к Рыбинску, городу, в котором мама тоже бывала в молодости.

Каждому вагону нашего эшелона энкаведешники присвоили номер, и дальнейшее обращение к нам осуществлялось только по номеру, например, на остановках раздавалось: «Номер такой-то, получать еду, воду!» и т. п. А еды с каждым днем давали все меньше и меньше, да и реже. Кормили один раз в сутки, и всегда ночью или на рассвете. Уже на весь вагон приносили лишь четверть ведра вермишелева варева и чего-то еще непонятного чуть-чуть. Пока хватало лишь черного хлеба в виде липких серых кирпичей да воды в ведрах. Хлеб этот вызывал изжогу, но и ему приходилось радоваться — другого ничего не было. Даже мой молодой желудок не хотел принимать эту пищу, а что говорить о стариках или совсем маленьких детях?

В вагоне стояла жуткая жара, дышать было нечем, из отхожего места шли тяжелые запахи, убрать грязь из вагона было непросто. Вагон мотало во все стороны, страшно трясло, тело покрылось синяками от ушибов. Постепенно наваливалось какое-то всеобщее оупение, равнодушие, люди начали терять чувство реальности, многим становилось безразлично, что с ними стало и что будет в дальнейшем.

А люди в вагоне оказались очень разные и по-своему достаточно интересные. Попробую вспомнить некоторых из них.

Прямо подо мной на нижних нарах, рядом с нашей бабушкой расположились Нина Николаевна Казацкая (1894—1945) с сыном Николаем (1916—1942). Нина Николаевна была давней знакомой моей мамы. Вместе с мужем Мойшей Давыдовичем (1886—?) она содержала в Риге мануфактурный магазин. Их сын Николай учился живописи у известного художника С. А. Виноградова¹ и подавал большие надежды, неоднократно и успешно представляя свои работы на выставках. На всем протяжении нашего нелегкого пути Коля

добровольно взял на себя обязанности опекать всех, ходил за едой и водой, узнавал и сообщал последние новости с воли.

Справа от нас на верхних нарах расположилась семья Симанис: мама Наталья (1903—1942), которую неоднократно мучили сердечные приступы, и ее дочери — Эдите (1928), Айя (1936—1942) и Сильвия (1938 г. р.). Наталья и Айя уже в ссылке, в тяжелую зиму 1942 года не выдержали страшного голода и погибли. Эдите и Сильвия после смерти мамы и сестры оказались вместе с нами в детском доме поселка Айполово и летом 1946 года вернулись в Ригу.

Примечательна судьба нашей попутчицы Александры Милгравис (урожд. Скворцова, 1909—1979). Она оказалась единственной из взрослых, ехавших в нашем вагоне, кому удалось вернуться на родину. Это случилось 20 мая 1955 года. В теплушке Александра познакомилась со своей ровесницей, певицей из Польши, которая бежала в 1939 году из горящей Варшавы, оккупированной немцами, да вот волей недоброй к ней судьбы оказалась среди нас. Эти молодые женщины держались всегда вместе, что впоследствии спасло их от голодной смерти. Помню, как певица не раз находила в себе силы и пела для нас. Это очень помогало нам оставаться людьми в тех диких условиях.

Посреди вагона, в проходе, на собственной раскладушке времен Первой мировой войны расположилась очень колоритная, оригинальная, прекрасно воспитанная и хорошо образованная мадам Штольцер — так нам она себя отрекомендовала. Держалась она с достоинством, охотно разговаривала с попутчиками, но иногда вдруг наглухо замыкалась в себе. Она рассказала, что ее муж — русский полковник. Личных вещей с нею почти не было, все они остались у мужа, когда ее ночью вывели из вагона, в котором они сначала оказались перед выездом из Риги.

Хорошо помню семью Левенсон — пожилую разговорчивую маму и ее взрослых детей — наивного и доброжелательного Леву и строгую и серьезную Еву.

На нарах, через проход напротив нас, расположились три члена семьи Мендельсон. Люди они были очень состоятельные, но взять с собой вещи они или сами не догадались, или их, как и многих других, ввели в заблуждение в момент ареста. Единственным свидетельством достатка мадам Мендельсон были две роскошные серебристые лисицы, которые она все время нашего «путешествия» накидывала на плечи. В дальнейшем эту семью поселили в соседней с нами деревне Огнев Яр, где, как показывают документы, уже четвертого декабря 1941 года в страшных муках от голода скончался Янис Мендельсон. Луция (1896—1942) продержалась до 16 октября 1942 года. Вернуться в Ригу удалось лишь их дочери Эрике, но об этом ниже.

Хорошо держались и старались не падать духом Фрида Кремер и ее дочка Фаня, моя ровесница. Это помогло Фане вернуться в Ригу в 1947 году.

В дальнейшем я расскажу и про других, с кем тогда свела меня безжалостная судьба.

А пока два паровоза, натужно пыхтя и изредка, как бы для отдыха, останавливаясь, увозили нас все дальше и дальше на восток. Двадцатого (или двадцать первого?) июня, днем, наш эшелон по окружной дороге обошел Ярославль. Издали были видны белые стены кремля и купола церквей. Паровозы взяли курс на Кострому. Этот участок дороги запомнился мне плохо, видно и у меня появились симптомы привыкания к однообразной и удручающей действительности, в которой мы находились. Впрочем, вполне возможно, что причиной такого моего состояния стало нервное напряжение, вызванное событиями 14 июня. Следствием стресса стал спазм в брюшной области, очень долго не проходивший. Желудок не принимал пищу, только иногда, скорее, по привычке, чем по необходимости, я жевала черный хлеб, запивая его водой. Около 20 июня мое состояние ухудшилось, во рту стояла горечь, тошнило. Я, разбитая, физически ослабленная, лежала на отведенном мне папой местечке на верхних нарах и ни на что не реагировала. Мама, все еще находившаяся в отчаянии от происшедшего, серьезного значения моему недомоганию не придавала.

В ночь с 21 на 22 июня эшелон подошел к станции Вятка (г. Киров). Поманеврировав немного, поезд остановился. Охрана приоткрыла в вагонах двери, так как стояла невероятная духота. Впрочем, так поступали на всех длительных остановках, особенно если надо было идти за водой и едой. А в эту роковую для всей огромной страны ночь, я не могла уснуть, прислушивалась ко всему, что происходило снаружи. Там было необычно шумно. Маневрировали эшелоны, охрана громко переговаривалась. Выглянула в оконце и вдруг увидела: прямо напротив нас стоял военный эшелон, составленный из открытых платформ, груженных военной техникой. Он медленно продвигался в ту сторону, откуда приехали мы.

А мне становилось все хуже и хуже. Почувствовала острый приступ боли и тошноты, спустилась с нар, пришлось потревожить маму. И только успела просунуть голову в приоткрытую дверь вагона, как началась страшная рвота желто-зеленой желчью. Я напугала всех, а сама еле держалась на ногах. Через охрану вызвали врача. И вот я вижу, как, подпрыгивая, бежит к нашему вагону мужчина, одетый необычно (уже привыкли, что вокруг лишь люди в военной форме) — в серый поношенный плащ, на голове — изрядно помятая шляпа. «Куда?» Ему показали на наш вагон. Войдя, мужчина представился, сказав, что он — врач. Потом внимательно меня осмотрел, выслушал, порылся в своем чемоданчике, достал из него глауберову соль, развел ее в кружке и заставил меня выпить эту пакость. К счастью, лекарство помогло, и к вечеру я оправилась, изрядно напугав маму: стула не было девять суток. Закончив возиться со мной, врач вежливо спросил, нет ли жалоб у других

«пассажиров», но при этом ни в какие разговоры не вступал, а на посыпавшиеся на него вопросы коротко отвечал «Не знаю...» Затем раскланялся и ушел.

Скорый приход врача вызвал у всех обитателей нашего вагона недоумение: везут непонятно кого в неизвестном направлении, а тут оказывают девочке скорую помощь... У всех один вопрос: этот врач едет вместе с нами в эшелоне или его пригласили с вокзала?

Эшелон продолжал стоять. Из нашего вагона просматривалось здание вокзала, на котором огромными буквами было написано: ВЯТКА. Дело в том, что с 1934 года город этот назывался Киров, но название железнодорожной станции было оставлено прежнее. Заговорили о том, что этот край известен как место ссылки еще со времен царской России, что сюда был сослан А. И. Герцен и еще много хороших людей.

Необычно долгая остановка и ночные военные эшелоны, ушедшие на запад, начали вызывать недоумение: что случилось? Пытались спрашивать у конвоиров, но они отвечали молчанием и отходили от вагонов подальше. Пополудни к вокзалу подошел пассажирский поезд, впервые мною увиденный за всю нашу дорогу. Он тоже надолго остановился, из ближайшего к нам вагона была слышна польская речь. Наша спутница — варшавская певица тут же подошла к приоткрытой двери и, воспользовавшись тем, что в тот момент рядом не было конвоира, быстро заговорила с польскими пассажирами. Но тут появился охранник и с громким окриком «Прекратить разговоры!» шумно захлопнул дверь вагона. Но наша актриса все-таки успела кое-что узнать: «Сегодня на рассвете немцы напали на СССР. Война!» Сразу стало понятно и длительное стояние эшелона, и растерянность энкаведешников, и частота прохождения воинских составов.

Так мы узнали, что на рассвете 22 июня 1941 года фашистские орды перешли границу СССР, вторглись в мирно спящую страну. Как отреагировали на это сообщение находившиеся уже девятые сутки в замкнутом пространстве вагона-телятника, страдающие от скудной еды, постоянного недостатка питьевой воды, изнывающие от жары и тяжелых запахов люди — этого я не помню, но думаю, что у каждого были свои мысли.

Только поздним вечером наш состав вздрогнул, зашевелился и, прогибая рельсы тяжестью нашего горя, двинулся дальше на восток.

К вечеру 23 июня, медленно, и как будто сетуя на усталость, эшелон подошел к большой станции. Это был город Молотов, по-старому Пермь, когда-то главный город Урала. «Пермяк — солены уши» — это от «соли камской», от пермских соляных шахт знаменитого рода братьев Строгановых и несметного числа их потомков.

У вокзала, на многочисленных путях маневрировали или стояли несколько эшелонов. Вдруг одна из наших женщин через оконную решетку в вагоне, который проходил рядом, увидела лицо своего мужа. Она громко закричала, замахала, все бросились к окошкам, пытаясь что-нибудь разглядеть, но поезд медленно прошел мимо и когда я, наконец, протиснулась к оконному отверстию, он был уже далеко. Я долго не могла прийти в себя, понимая, что в этом вагоне мог находиться и мой отец. Через много лет я узнала, что, действительно, отца тогда везли в Усольлаг, это недалеко от Соликамска, севернее Перми. Значит, до места той памятной «встречи» нас везли след в след, и именно здесь наши пути разошлись навсегда.

(Когда я в 1946 году вернулась в Ригу, тетя рассказала, что якобы «кто-то» в промежутке между 1942 и 1944 годами передал моим родственникам маленький пузырек из-под лекарства, в котором находилась свернутая в трубочку записка, написанная рукой моего отца. В ней он очень кратко сообщал, где находится, что очень страдает от болей в ногах и спине и не перестает думать о том, что стало с его детьми и где они. Как этот стеклянный флакончик с письмом через линию фронта попал в Ригу, неизвестно. Мне его увидеть не пришлось.)

Тогда же в мельтешении маневрирующих составов, мама обратила внимание на эшелон, из окон которого выглядывали женщины и дети южного типа, одетые очень скромно, по-крестьянски. Маме удалось с ними переговорить. Оказалось, что они из Молдавии, крестьяне, и не могут понять, за что их насильно изгнали из родных мест и куда везут. Мама была изумлена, так как эти женщины внешне никак не подходили под категорию «буржуи», и своими мыслями поделилась со мной. Но, увы, ни мама, ни тем более я, тогда не понимали, что стали свидетелями страшной затяжной войны против собственного народа, независимо от его сословной и национальной принадлежности. Не знали и не знаем по сей день, что погибших в Великую Отечественную войну, может быть, даже меньше, чем число убитых или заморенных голодом и болезнями за все годы, начиная с 1917-го.

Ночью после утомительного (в первую очередь — для нас) маневрирования, с грохотом и дребезгом, то набирая, то убавляя скорость, наш эшелон потянулся дальше на восток. Утром сквозь посеревшее небо и сетку редкого дождя открылась величественная панорама седого Урала. К небу ступенчато воздымались огромные темно-зеленые ели, а между ними примостились аккуратные темно-серые бревенчатые домики, украшенные голубыми ставнями. Местами из-за деревьев как бы наползали отвесные серые скалы, иногда отражаясь в светлых жизнерадостных речках и речушках. Неожиданно наступила полная темнота, густо запахло паровозным дымом, но через короткое время так же неожиданно вдруг стало светло. Эшелон проскочил первый туннель. Не успели вдохнуть свежего воздуха — снова туннель, и так несколько раз. К полудню промелькнул знаменитый столб на границе Европы и Азии. Состав пошел спокойнее. Потрясающая красота Урала осталась позади, но прекрасное всегда поднимает настроение, затеплилась вдруг фантастическая надежда, что все уладится.

Ночью остановились в Свердловске. Коля Казацкий с кем-то помчался за хлебом, принесли полведра чего-то макаронного, но есть не хотелось.

После Свердловска поезд вышел на великий Транссиб и через Камышлов и Тюмень — дальше, в необъятную Сибирь, где дороги долго-долго не кончаются. Ландшафт резко изменился, замелькали березовые рощи, потом их сменила степь. На одном из степных участков по настойчивому требованию матерей, поезд остановился на тридцать минут, и нам разрешили выйти из вагонов и прогуляться по степи. Кругом ковыль, тишина, а в небе — птицы, множество птиц. Но вот снова гудок — по местам! Я успела собрать пучок ковыля, от него шел незнакомый терпкий запах.

Миновали Тюмень, Ишим. Поезд пошел значительно быстрее, делая короткие остановки. Июнь подходил к концу. Особое впечатление произвели на меня знаменитые солончаковые степи. Равнина с редкими озерами, покрытая, как волдырями, отдельными кочками, между которыми белеет выпаренная солнцем соль. Хилая растительность, блеклая травка. Людей почти не видно — пустыня! Вдруг у появившегося неожиданно большого озера показалась деревенька. Эшелон зачем-то остановился, и я разглядела поселок — жалкий, низкий, чем-то жуткий. От него шло несколько человек, похожих на нищих. Они предложили купить

у них жареных карасей из местных озер. Мы очень удивились — конвой был не против, но наша мама, экономя остатки денег, не решилась на эту покупку.

Следующей нашей большой остановкой был Омск. Подъехали мы к нему рано утром, короткая передышка от вагонной тряски, и вот паровозы снова подцеплены, и наш эшелон тянется дальше, на восток — но куда? Как долго? За окошком по-прежнему мелькали станции, но поезд шел ходко и не всегда я успевала прочесть их название. Вот остановка Татарск, городок, напоминающий, что здесь еще во времена Ивана Грозного казак Ермак со своей ватагой сражался с Синей Ордой. Да и сегодня татар в этих краях достаточно много. Потом был Барабинск — «столица» знаменитого степного края. А поезд все шел и шел... Утомление двухнедельной дорогой сказывалось, под монотонный стук колес я забылась крепким сном и не слышала, как маневрируя на путях, поезд осторожно подобрался к речному порту Новосибирска. Разбудил меня мамин взволнованный голос: «Просыпайтесь, вставайте, надо выгружаться!..» В вагоне все уже все были на ногах, люди возбужденно переговаривались, пытались предугадать дальнейшие события...

БАРЖА НА ОБИ. Новосибирск — Каргасок

Конец июня 1941 года. На западе идет жестокая война, но что там происходит — для сосланных из Риги тайна. Мы полностью лишены какой-либо информации. Нет ни газет, ни радио. Охранники молчат.

К речному порту города Новосибирска по железнодорожной ветке, упирающейся в могучую Обь, один за другим прибыли три эшелона со ссыльными из Латвии и Эстонии. Лязг отодвигаемых железных засовов и выкрики охраны: «Выходи с вещами!». Рассвет, прохладно. Я открываю глаза и не могу сразу понять, что происходит. За две недели пути в наглухо закрытом, темном, вонючем вагоне я уже отвыкла от света и свежего воздуха. Но вот двери открыты настезь, светло, все вокруг суетливо собирают узлы, мешки, редкие чемоданы. Я помогаю одеться и собраться бабушке, она лежит на нижних нарах. Подтаскиваем вещи к выходу, осматриваемся. Перед нами великолепная панорама гигантской реки на рассвете — это сибирская Обь. Для выноса багажа из вагонов и переноса его на дебаркадер присланы грузчики. Мама хлопчет о бабушке, ее надо выносить, а мы с Ирой сами по себе. Наконец, выбираемся из вагона и направляемся к берегу, где складывают наш багаж. Мама просит не отходить от вещей и внимательно за ними следить. Но, видимо, что-то отвлекло наше внимание, в результате мы не досчитались кожаного портфеля, набитого моими вещами. Мама тут же сообщила о происшествии кому-то из руководителей эшелона. Немедленно был составлен «Акт о пропаже вещей». И это в обстановке общей сумятицы и хаоса! (Самое удивительное, что в сентябре того же года, когда мы уже жили на поселении в деревне Ершовке, нам неожиданно вернули украденный портфель. Он был, увы, пуст, но нам пообещали, что за пропавшие вещи мы получим денежную компенсацию, чего, однако, не случилось. А вор, как нам сообщили, «изобличен и отбывает наказание»).

Эшелон постепенно пустеет. Снизу, от берега реки открытые двери вагонов смотрятся жутковато. Всех переводят на дебаркадер. Говорят, что будем ждать «водный транспорт». Еды никакой, кроме ржавых кирпичей кислого черного хлеба. Но можно «достать» кипяток.

Довольно жарко, грязно. Мухи и тоска. Ждем. Ждем долго: что же дальше? Толпа в три тысячи человек сидит на своих вещах. Местные жители к нам не подходят, видимо это им запрещено. Смотрю на реку: вода мутная, буровато-коричневая, что-то в ней видится грозное и жестокое. На противоположном берегу вижу силуэты зданий — это Новосибирск. Информации никакой, люди стоят и сидят молча в ожидании неведомого. Но все же кое-что узнаем: кто-то обрывок газеты нашел и прочел, кто-то перекинуться несколькими словами с кем-то успел. Теперь уже почти все знают, что на западе началась война. Красная Армия отступает. По толпе шелест возбужденного вздоха: вдруг немцы придут и спасут! Мама молчит, она хорошо помнит и большевиков, и германцев времен Первой мировой...

Так проходит несколько часов. Вдруг вижу: к дебаркадеру подходит белый колесный пароход, из него выходят пассажиры, видимо, местные жители, с узлами, мешками, в каких-то ватниках, — серая унылая толпа. Нас просят потесниться и пропустить их.

Пароход опустел, но продолжает стоять у пристани. Заметно поубавилось охраны: бежать ведь некуда, кругом Сибирь-тайга! Наконец, появился какой-то мужчина в полувоенном

френче со списком в руках. Он называет ряд номеров вагонов из эшелонов и объясняет, что прибывшим в них следует группами перебираться на пароход. Наш вагон почему-то не назван. Снова толчея и суматоха. Коля Казацкий ушел в надежде разузнать, что будет дальше. Вернувшись, сообщает, что стоящая несколько в стороне баржа — следующий транспорт, предназначенный уже для нас, и скоро ожидается посадка.

И вот отчаянно дымящий буксир медленно, как будто нехотя, подтаскивает к дебаркадеру гигантскую баржу. Опять суматоха, суета, выкрики и погрузка. Каждому вагону заранее определено место. Долго ожидаем своей очереди к спуску в трюм. Когда, наконец, она подошла и мы спустились по крутому трапу, я ахнула от ужаса: теснота жуткая, на наш вагон, в котором ехало 28 человек выделили не более семи квадратных метров, чтобы сложить багаж и «расположиться» на нем самим.

Погрузка продолжалась до позднего вечера, так как в баржу поместили три эшелона: два из Эстонии и один — наш, из Риги. В общей сложности не менее двух с половиной тысяч человек. Кругом царил сумрак, стоял бесконечный гул. От людской тесноты ступить было некуда. Нашему вагону повезло с местом: его разместили недалеко от трапа, выходящего на палубу, поэтому досталось чуть больше света и воздуха, чем остальным.

Несколько позднее, когда поднялась на палубу, я обнаружила — в трюм вело два входа, окон, естественно, нет. На корме примостился туалет, единственный на всю баржу, на одного человека. Очень быстро у него собралась очередь длиною часа на полтора, многие не выдерживали и пристраивались рядом, о стеснительности стали забывать, люди поневоле превращались в животных.

Но вот погрузка, наконец, завершена. На буксире отдали концы, и баржа двинулась за ним вниз по Оби, реки широкой, как море. Берегов не видно. Спокойно, ветра нет, дождя тоже. Только облака туманной пеленой прикрывают солнце.

Первую ночь я провела вместе с мамой на палубе, прикорнув на лестнице, спускавшейся в трюм.

Измученные теснотой и недосыпанием, а главное — голодом, две с лишним недели не видевшие нормальной пищи, люди молча наблюдали за происходящим. Днем выползали из тесного вонючего трюма, пытались получить хоть немного энергии и бодрости от скудного северного солнышка. Преодолевая унылое однообразие, люди пытались заняться чем-то, что могло их развлечь.

Пожилая дама по фамилии Кузнецова (кажется, из знаменитой семьи фабрикантов фарфора) собрала вокруг себя некое подобие дамского клуба и темпераментно рассказывала о чем-то окружающим.

Я страдала от отсутствия своих любимых книг и слонялась по палубе из одного конца баржи в другой, заняв заблаговременно очередь в туалет.

В центре палубы располагалась кухня. Около нее стояли огромные бочки с прошлогодней квашеной капустой, из нее готовили варево — пустые щи. Дневной рацион состоял из кипятка, поварешки пустых кислых щей и ржавого хлеба (пока вдоволь).

От нездоровой пищи и длительного недоедания у многих начинали опухать ноги. Взгляд становился тупым, люди все больше лежали, дремали. У мамы тоже стали сильно опухать ноги, она выбиралась на палубу, прислонялась к какому-нибудь бревну или стенке и часами отчужденно смотрела вдаль.

День, ночь, снова день... Я теряла счет этим дням.

Однажды я, слоняясь по палубе, решила подойти к «дамскому клубу», в надежде услышать что-нибудь интересное. И вот что я услышала.

Мадам Кузнецова на сей раз высказывала мнение, что всех нас вместе с баржей хотят потопить, для чего и везут куда подальше. Свои доводы мадам Кузнецова основывала на том, что в годы Гражданской войны на Волге бывали случаи, когда загружали баржу «буржуями», офицерами, монашками, выводили ее на середину реки, прорубали дно или открывали люки, и топили вместе со всеми кто на ней был. Обо всем этом рассказала одна женщина, которая, выплыв, спаслась. Я тогда об этом услышала впервые, а теперь многие знают, что подобный, сравнительно простой способ уничтожения людей применялся широко и в Гражданскую и много позднее.

Фантазия моя после услышанного разыгралась. А если?.. И как спастись?.. Я подошла к нашему люку, ведущему в трюм. Да, наш вагон расположен рядом с лестницей, если что случится, надо быстро подняться по ней и прыгать в воду, а до берега-то я уж, конечно, доплыву. Немного успокоенная этим я решила никому ничего не говорить. Рассказов, домыслов, страхов и без того было предостаточно.

Не помню, на который день плаванья, к вечеру, наша баржа приблизилась к городу Колпашево, но остановки не последовало, мы плыли дальше. В памяти остался высокий желтовато-оранжевый яр, на котором выстроились бревенчатые домики с синими резными

наличниками и ставнями. Множество береговых ласточек вились вдоль кручи, сплошь усеянной круглыми отверстиями — входами в гнезда этих пичужек. Я тогда еще не знала, что с этим городом будет связано пятнадцать месяцев моей ссылки. Пока же наша баржа миновала его и держала курс дальше, на Север.

А что же стало с тем пароходом, в который посадили часть ссыльных еще в Новосибирске? Тогда он ушел вперед, однако периодически возвращался, сближался с баржой, команды о чем-то переговаривались. Затем на пароход начали переводить группы людей, вызывая их опять по номерам вагонов. Выяснилось, что все это делалось для высадки на берег части ссыльных: белый пароход был маневреннее неуклюжей громадины-баржи и ему легче было пристать к берегу.

Особая суета началась с приближением к Нарыму. Вспомнили, что это место ссылки И. Сталина, и что он, видимо вспомнив прелести этих мест, переселяет сюда тысячи ни в чем не повинных людей. Не знаю, что в это время думал Сталин, он тогда только начал выходить из оцепенения, вызванного фактом начавшейся войны, но вот его прихвостни из НКВД хорошо знали, куда нас везут. Эти места Западной Сибири (Порабель, Нарым, Каргасок и т. д.) хорошо были известны своими морозами и нескончаемыми таежными болотами, безлюдьем.

А белый пароход все чаще и чаще подходил к барже и на него вызывали вагон за вагоном. Люди быстро собирали свои пожитки и перебирались на его палубу. Пароход отвозил их к берегу и вновь возвращался. Баржа постепенно пустела, на ней становилось свободнее. Неугомонный Коля Казацкий все ходил и собирал новости, но без видимого успеха.

Хочется вспомнить необычный случай. Пока белый пароход бегал к барже и обратно — к берегу Оби, высаживая ссыльных, выяснилось, что на нем находилась Валентина Ивановна Афанасьева, урожденная Бурлова, а на барже оказался ее супруг Владимир Михайлович Афанасьев (как он из мужского этапа оказался здесь — непонятно). Супругов арестовывали отдельно, он, видимо, не отозвался в вагоне на выкрик «Кто глава семьи?!», так как был один. Они ехали из Риги в одном эшелоне, но в разных вагонах, в Новосибирске встретиться было почти невозможно — слишком много нас было, а вот когда с баржи пересаживали на пароход, супруги нашли друг друга. Их высадили вместе в Каргасоке.

Каргасок... Остановка... Бревенчатая пристань, вернее — плот. Вдали видны унылые, серые постройки, все серо, пустынно и очень мрачно. Какая-то девочка, тоже в чем-то серо-черном, стояла на пристани и продавала розовые леденцы в кульке. Ах, как мне их захотелось, но у мамы осталось совсем мало денег... Тогда бывшая пока еще при деньгах Нина Николаевна купила эти леденцы и угостила меня. До сих пор помню их необычный, ненатуральный привкус. Это были последние леденцы на долгие годы моей жизни.

В Каргасоке белый пароход расстался с последними своими пассажирами и ушел на юг. Больше мы его не видели, а я вновь встретилась с ним уже в 1944 году, когда из детского дома была «трудоустроена» и направлена в зооветеринарное училище в город Колпашево.

Нашу баржу здесь тоже значительно «разгрузили» и мы поплыли дальше в неизвестность.

БАРЖА НА ОБИ. Нарымский урман — Васюганье

А дорога моя, как в сказке,
Сквозь дремучий урман лежит.
Авраменко. «Туман»

Снова дни сменяют ночи, а мы все плывем, путь кажется нескончаемым, но ландшафт постепенно меняется. Команда на барже оказалась приветливой, матросы объяснили мне, что мы идем уже не по Оби, а по ее притоку, который называется Васюган: «Видите — вода другая, коричневая и фарватер сужается...». Только тогда я обратила внимание, что идем против течения, что цвет у воды ржаво-коричневый, а берега сблизились настолько, что видна тайга.

Сердце тревожно сжалось: так куда же нас везут, на какой еще край света? А плыла баржа, оказывается, аж в самый центр Васюганских болот, самых обширных в мире, по площади равных двум третям всей Европы. Здесь когда-то плескались волны четвертичного моря, сформировавшегося после таяния ледников. Потом море ушло, оставив, как память о себе, нескончаемые болота, изредка прерываемые гривами и озерами.

Давайте взглянем на карту: на сплошном зеленом фоне мы видим штрихованные обозначения многочисленных и обширных болот и голубые пятна больших и маленьких озер, которые дают начало многим—многим речкам и рекам. А сам Васюган берет начало в южных болотах Западной Сибири, но затем поворачивает на северо—восток и с медлительной степенностью несет свои воды в могучую Обь. В верхнем и среднем течении река неширока и очень извилиста.

Окружает Васюган мшистая темнохвойная тайга, которую здесь называют таинственным словом «урман». Местами урман обрывается крутыми ярами. Условия жизни в этих краях таковы, что прокормиться и выжить здесь могли только очень умелые, выносливые и сильные люди. До тридцатых годов двадцатого века край был почти безлюден, жили здесь селькупы¹, ханты, реже эвенки, пришедшие в восточного берега Енисея, да, еще со старинных времен, русские промысловые люди — охотники, чаще старoverы.

В царские времена в Нарым, Каргасок, Порабель ссылались политические, бывал в Нарыме и будущий «отец народов» И. Сталин. В советское время, во времена «раскулачивания»

крестьянства (30-е гг. XX в.), сюда на Васюган и его притоки согнало огромное количество хлеборобов, в основном с юга Сибири и Алтайского края. Пока они на плотках и баржах добирались до мест своего поселения, наступила ранняя здесь осень. Крестьян насильно высадили на безлюдные таежные и болотистые берега и предложили осваивать дикие земли. Землянки и шалаши сумели они поставить уже в снегу.

Лютый холод, голод и болезни сделали своё. К весне первого года от спецпереселенцев осталась едва пятая часть. Оставшиеся в живых начали рубить леса на гривах, корчевать под посевы земли в тайге, осенью бить кедровый орех, ловить в капканы и в петли дикого зверя. Жизнь кое-как наладилась, и вдоль Васюгана возникло немало деревень, поселков. Некоторые из них стали даже райцентрами: Средний и Новый Васюган, Майск и др.

Вновь «великий кормчий» вспомнил забытый Богом край после известного «Пакта Молотова—Риббентропа», по которому СССР присоединила к своим западным областям земли, населенные «ненадежным элементом», который подлежал выселению. Собрав своих прихвостней из НКВД, он ткнул пальцем в карту Сибири и напомнил, что эти просторы пригодны для обживания сотнями тысяч и даже миллионами людей и добавил, что он сам отбывал ссылку в Нарыме и хорошо знает эти места. И пошла новая лавина репрессий.

Так судьба занесла в этот урман и меня...

И вот мы плывем в неведомое. Иногда с косогоров выглядывают бедные поселки — три-пять серых изб. Однажды, уже поздним вечером, раздался страшный грохот, еще оглушительней был одновременный вскрик всех находившихся в трюме людей. Они подумали, что дно баржи пробито и она начинает тонуть, но, к счастью, ничего серьезного не случилось. Баржа действительно задела то ли мель, то ли отдельный камень или топляк, но все обошлось — баржа медленно сдвинулась с препятствия, а матросы нас успокоили, что все обошлось. Постепенно все пришли в себя.

Около середины июля рядом со мной у молодой матери на руках скончалась малютка. Мать была бессильна, врача не было, да и что он смог бы сделать в этих условиях! Я впервые воочию увидела смерть и долго не могла придти в себя.

Тем временем баржа подошла к районному центру — поселку Средний Васюган.

Высокий серо-желтый косогор, наверху чернеют несколько изб. Баржа остановилась, высадили на берег не то два, не то три вагона, т. е. 60—80 человек. С косогора поглазеть сбежала стая мальчишек. На вопрос чьи они, все дружно ответили: «Детдомовские!» — слово для нас тогда совсем еще непонятное.

Все мы, приплывшие на барже, думали, что здесь в поселке, где наверняка есть погост, похороним умершего младенца. Мать его тоже на это надеялась, но... Баржа вдруг отошла от берега, прошла далее по реке не более километра и за излучиной остановилась. На противоположный от селения берег спустили трап, по которому сошла мать с завернутым в простыню мертвым младенцем, его бабушка, еще два или три человека из ссыльных, возможно близкие, и несколько человек из команды баржи. Все скрылись в чаще, откуда вышли минут через двадцать с окаменевшими лицами. Оставшиеся на барже тоже молчали. Да и что можно было сказать, когда ребенка зарыли, как сдохшую собачонку!

После Среднего Васюгана реку все чаще перегораживали коряги, в воде было много сучьев, топляка, плыть становилось все опаснее, однако баржа протянула еще около двухсот километров и дошла до старинного остяцкого селения Айполово. Остяки, ханты, манси — таежные охотники, но советская власть поселила вдоль Оби, Васюгана и других рек русских раскулаченных крестьян, и теперь здесь все население смешалось. В Айполове среди привычных изб мы увидели бревенчатый, черный от времени двухэтажный дом. На фоне однообразного пейзажа он казался огромным. Опять на берегу крутятся мальчишки и опять «детдомовцы». Но теперь мы знаем, что «Детдом» — это детский дом, старинное его название — приют. Зачем здесь, в дремучей глуши, эти приюты, было непонятно. Пока мы жили в Латвии, нам было мало известно о порядках в СССР, а большевики умело скрывали все свои преступления. В те годы в России под руководством гениального палача Дзержинского и его соратника Менжинского, с благодушного согласия сначала Ленина, а позднее — его последователя Сталина, были уничтожены миллионы, десятки миллионов людей. Только в период раскулачивания погибло, по непроверенным данным, более десяти миллионов крестьян. Часть их детей выжила, их-то и разместили в детских домах. А сейчас организация детских домов приписывается Дзержинскому, как его великое благодеяние.

В Айполове высадили на берег еще несколько «вагонов», в основном, эстонцев. Река здесь совсем обмелела, фарватер сузился до десяти метров, и наша большая баржа стала с трудом разворачиваться в обратный путь. А нам объявили, что переведут на две баржи поменьше и повезут дальше — в Новый Васюган. Это, рассказывали нам, хороший, совсем новый поселок. Измученные дорожными переживаниями люди обрадовались скорому окончанию пути.

Перенос багажа, перемещение в новые баржи проходили опять мучительно долго из-за нашей истощенности и усталости. Тем более, что никакой еды, кроме ржавого черного хлеба, уже не оставалось. Сейчас я не могу понять, как мы тогда выжили...

Когда маленькую баржу загрузили, в трюме оказалось так тесно, что можно было лишь стоять. Бабушку нашу кое-как, полусидя, пристроили на наш багаж. Стал накрапывать дождик. Темнело. Буксирчик отвалил от Айполовского берега и пошел во тьму. Тропинкой по тайге до

Нового Васюгана оставалось всего лишь километров двадцать, но нас везли по извилистой реке, и путь утраивался. Дождь усиливался, но спрятаться от него было некуда. Никаких навесов над палубой не было.

Опять, как в первую ночь на той, большой, барже, тесно прижавшись к маме, пристроилась я на ступеньке лестницы, ведущей в трюм. Так мы с ней продремали до рассвета, а там и дождик кончился, стало проглядывать неласковое здесь солнышко. Обе баржи шли очень медленно, часто путь преграждали коряги, упавшие деревья, топляк. Буксир не раз останавливался, матрос спускался на берег и топором освобождал фарватер от завалов. Было что-то таинственное, будто заколдованное в этой таежной реке, пробивающейся через лесную чащу и тишину.

Но вдруг как будто посветлело, впереди на берегу просматривались новые светлые домики, их становилось все больше. Вот и райцентр Новый Васюган. Строили его все те же спецпереселенцы, крестьяне, согнанные в эти места в тридцатые годы. Нас довольно быстро выгрузили и перевезли в совсем новое и показавшееся нам таким уютным здание. Во всех комнатах были устроены нары. Позднее выяснилось, что в Новом Васюгане проходила какая-то, местного значения, конференция, и в этом доме располагались командированные. Нам выдали талоны на питание в ближайшей столовой: борщ и каша — какое это было счастье! Всюду успевающий Коля Казацкий, придя с улицы, сообщил, что в поселке есть кинотеатр и вечером можно пойти смотреть кино. Сейчас не помню, что мы тогда смотрели, лента часто рвалась, фильм прерывался, но это уже была пусть хоть маленькая, но цивилизация.

На следующий день, не сказав никому, я отправилась знакомиться с окрестностями поселка. Меня интересовала ТАЙГА. Местные жители рассказали, что вон там, за избами (а это «там» было совсем рядом) начинается настоящая чаща. Осмотревшись в поселке, ознакомившись с его улицами, что было сделать нетрудно в виду их малочисленности и непродолжительности, я храбро направилась в сторону леса. Граница между обжитой площадью и тайгой была резко обозначена самой природой: переступив через нее и сделав всего несколько шагов, я остановилась: густой мох, заросли, высокие кочки и между ними — вода. Невысокий хвойный лес, но настолько густой, что солнце сюда не заглядывало. На уровне моих коленок — сплошная комариная завеса, и такой гул и шум шел от них, что в первый момент я оцепенела от ужаса, а во второй — стремительно выскочила из леса под открытое небо поселка. Мои голые ноги были сплошь покрыты комарами (именно сплошь!), пришлось хорошо помахать руками и попрыгать, чтобы избавиться от них. Искушали же меня эти крылатые твари за недолгое время порядочно...

Райцентр Новый Васюган оказался всего лишь временным прибежищем, но зато мы получили возможность отдохнуть после долгого и страшного пути. Прошла неделя или чуть больше, и поступило новое распоряжение — снова готовиться в путь. Вечером следующего дня нас

погрузили на небольшой открытый катер. На нем поплыли не все «пассажиры» нашего вагона, кое-кто, в частности семья Менгельсон, сказавшись больными, остались. Они вышли на берег проводить нас. Я хорошо запомнила госпожу Менгельсон, которая была в своем роскошном платье, поверх которого были наброшены две серебристые лисицы — это было всё, что она в суматохе отъезда успела взять с собой.

Опять холодная бессонная ночь, почти у самой поверхности воды. Катер то и дело натывается на коряги, над рекой нависают деревья, по берегам тянется темная непроходимая тайга. Плыли ровно сутки. К вечеру следующего дня катер остановился у крутого косогора, сложенного кирпично-красными песчано-суглинистыми породами. Наверху виднелись избы поселка Огнев Яр. Матрос объявил, что катер дальше не пойдет, и нам предстоит высадка.

Подошел чекист, ответственный за ссыльных со списком и перечислил тех, кто распределен на «постоянное жительство» в Огнев Яр. Сообщил, что для них приготовлена избы и они сразу должны в них вселяться. Остальным, в том числе и нашей семье, предстоит ночевать в местной школе, чтобы с утра пешком по таежной дороге, отправиться в расположенный выше по Васюгану поселок Ершовка, до которого сухопутным путем около пяти километров, а рекой — все двадцать. А сейчас следует поторопиться, поднять свои вещи по обрыву и отнести их в школу.

Начал накрапывать дождь, стало сумрачнее. Помощников для переноса вещей здесь не дали. Помогали все те же: неугомонный Николай Казацкий, Лева Левинсон и четырнадцатилетний осиротевший еврейский мальчик Яша, о котором я рассказывала в главе «14 июня». Добираться до школы оказалось нелегко, а мне несколько раз пришлось подниматься и спускаться по крутому обрыву, перетаскивая наш багаж. Когда, наконец, я перетащила последний узел, было уже почти темно.

¹В быту, в разговорной речи, в учетных документах того времени они называются остяками. Численность селькупов-остяков около 3000 человек. Язык относится к самодийской группе, куда входят также языки ненцев, энцев, нганасан. Однако, остяки Васюгана говорят в основном по-русски, ибо среди них нередки смешанные с русскими браки. Основное занятие — охота и рыболовство.

БАРЖА НА ОБИ. Огнев Яр

Итак, нас разместили на ночевку в один из классов Огневской школы. Расположились на полу. Поужинали полусырым кирпичом ржаного хлеба с водой. Вокруг копошились, суетились усталые люди, пытаюсь устроиться на ночь поудобнее. Слышалась разноязыкая речь — русская, латышская, эстонская, еврейская, польская. Я пыталась уснуть, но сна не было —

мною овладело какое-то сомнамбулическое состояние, когда все давно уже стало безразлично от усталости и многих переживаний. Под утро все же уснула. Проснулась довольно поздно от маминого прикосновения: «Вставай быстрее, все уже разошлись».

Утро, сумрачное небо все в тучах, накрапывает дождь — уже август. Класс, в котором мы ночевали, опустел. Все ушли по своему назначению. Нам и еще одной группе из вагона, в котором нас везли до Новосибирска, предстояло пешком пройти около пяти километров до поселка Ершовка. Мама торопит меня, так как за нами пришел возчик, чтобы взять багаж и помочь его вынести.

Встала, огляделась, вечером в темноте ничего не было видно. Обычный школьный класс с партами, большими окнами, какими-то плакатами на стенах. Только все чужое.

Торопливо собираем свои мешки, чемоданы. Поднимаем бабушку, помогаем ей одеться и выносим с помощью возчика к подводе, стараясь устроить поудобнее. Она ко всему безучастна, больше молчит, понимая, что все кончено.

Мужик, который нас сопровождал в Ершовку, оказался вежливым и расторопным, он ловко подхватил наш скарб, разложил его в телеге, поудобнее устроил в ней бабушку. Мне, сестре и маме предстояло идти пешком.

Вышли, опять не позавтракав, и не потому что проспали, а потому, что завтракать было нечем. Но, странно, в первые месяцы ссылки мы еще не ощущали по-настоящему голод. Это будет потом.

И вот мы уже на окраине Огнева Яра и выходим на таежную дорогу. Вокруг невысокий, очень густой смешанный лес, дремучие заросли, ни человеческой души, ни зверя, ни птиц — тишина. Телега едет впереди, на ней бабушка и наш багаж, рядом шагает возчик, погоняя лошадь, мы идем следом. Начал было накрапывать дождик, но скоро перестал и сквозь тучи выглянуло нежаркое солнышко, в кустарнике заблестел ручеек и рядом, на кочках, — о, чудо! — белые калы, маленькие, нежные. Такие же, только намного крупнее, дарят в Риге невестам в день свадьбы. Мамины любимые цветы. Как могли они вырасти здесь, среди болотной чащи? Такие беззащитные и одинокие... Совсем как напоминание о недалеком прошлом, таком светлом и безмятежном... Сорвать эти цветочки рука не поднялась, и мы побрели дальше — в неизвестное и страшное будущее.

Дорога до Ершовки показалась нам длинной. Наконец впереди, на пригорке, мы увидели новое барачного типа строение, рядом еще два небольших бревенчатых домика, как

оказалось — это еще не достроенные больница, приемная врача и его дом. Прошли по дощатому мостику через речку-ручей Ершовку и скоро оказались на околице деревни. Возле почерневшей от времени захудалой избы наш возчик остановился. Совсем рядом сквозь прибрежный кустарник виден уже так хорошо знакомый Васюган.

Из избы вышла бедно и неопрятно одетая краснолицая баба, открыла дверь в избу и показала куда нам перенести вещи. Заранее, еще до нашего прибытия в эту деревушку, местным жителям было объявлено, что придут новые поселенцы — «фашисты», и что они должны их разместить у себя. Так каждой семье ссыльных была определена изба и ее хозяева. Увы, наша хозяйка Некрасова оказалась не из самых симпатичных. Но делать было нечего, кроме как подчиниться чьей-то злой воле и последовавшим событиям.

Возчик внес в избу наш скарб, сложил в углу около входной двери, распрощался, сел в телегу и уехал в свою Огневку. А мы остались здесь, в Ершовке. Как нам объяснили — жить. Но как! Казалось, что это невозможно! Тогда, стоя посреди мрачной черной избы с тремя подслеповатыми оконцами, мы еще не могли себе представить, какие испытания нас ожидают, но уже осознавали, что судьба из двадцатого века одним ударом откинула нас в век — какой? — пятнадцатый? четырнадцатый?? Или еще глубже!?

Мама в оцепенении: надо обустроиваться, но — как? Очнувшись после первого шока, она вместе с нами выходит из избы, чтобы осмотреться. От дома к реке через густые кусты ивы и дикой красной смородины спускается тропинка. Прямо с берегового камушка можно зачерпнуть буроватую васюганскую воду. Ширина реки здесь не более двадцати метров. На противоположном берегу прямо от воды вздымается густой черный лес — урман.

Оказалось, что нас поселили в некотором отдалении от основного поселка — колхоза, за главными воротами деревни. Рядом, на пригорке, в другой избе, разместили две семьи из нашего же вагона: Левенсон и Кремер. Придя к ним, мы застали их в энергичном обустройстве. Госпожа Левенсон умело разделила простынями помещение на отдельные «участки», Лева ей помогал, а Соня разбирала узлы. Кто-то из местных сколачивал топчаны.

Встретили нас приветливо, подбодрили совсем было упавшую духом маму, но длинные разговоры вести всем было некогда, солнце клонилось к закату и вот-вот было готово упасть за тайгу. Мы попрощались и заторопились к себе заниматься тем же. Застали всех Некрасовых в сборе: старший сын Колька — худой мальчик с огромными, уходящими куда-то вглубь глазами, было ему где-то 14—15 лет, средний брат Васек, ему на вид было годков 12—13, черноглазый, коренастый, довольно шустрый и похожий на цыганенка, и младший Вовка лет десяти-одиннадцати. Вовка в противоположность среднему брату был голубоглазым, тоже очень худым, более флегматичным, но с хитринкой в глазах. Самой младшей в семье оказалась трехлетняя сестренка Настя, ее каждый день по утрам братья отводили в

колхозные ясли. Вечером вместе с сестренкой они приносили поллитра молока — дневной белково-жировой рацион для всей семьи. В тот вечер хозяйка Надежда предложила нам отведать своей похлебки. Из черного чугунка налила в старую-престарую темно-зеленую миску болтушки из ржаной муки. Помню, ели из одной миски. Несмотря на уже начавшееся хроническое голодание, я съела несколько ложек, больше не смогла.

Подступали сумерки первой ночи в Ершовке. Устроились на ночлег мы на полу в углу избы, поближе к входной двери. И уже привычно тесно сбившись в кучку, забылись тяжелым сном.

Утром по договоренности с хозяйкой ее сыновья соорудили нам из каких-то досок топчан, один на всех. Ширина нашего общего ложа едва достигала 130—140 сантиметров, а нас ведь было четверо. Всем вместе расположиться на нем было весьма проблематично, но изба была очень мала и другого места, к сожалению, не было. К счастью, мы довели из Риги несколько одеял и подушек. Часть одеял ушла на подстилку, вещи свои мы сложили под топчан, а что-то из носимого развесили над ним на гвоздях. А сами со всем нашим «богатством» все же кое-как поместились на топчане, на котором нам предстояло прожить, как это выяснилось позднее, около трех с половиной месяцев. Бабушке определили место у бревенчатой стены, рядом устроилась я, затем валетом ко мне Ира, а на самом краю — мама. В такой тесноте невозможно было даже повернуться во сне и на следующий день я постелила себе на полу, где и проспала до самых лютых холодов, и лишь тогда, когда, сильно простудившись, покрылась нарывами и чирьями, поднялась на нары. Но это было потом, а пока еще было лето и относительно тепло.

БАРЖА НА ОБИ. Жизнь в Ершовке

На следующий день продолжаем знакомиться со всем тем, что теперь нас окружало.

Перво-наперво осмотрелись в жилище Некрасовой. Это была однокомнатная рубленая русская изба, крытая березовой корой, общей площадью около 20 квадратных метров, с одной дверью, из которой уже осенью отчаянно дуло, тремя оконцами, смотрящими на реку. Бревенчатые стены изнутри были обмазаны бурой глиной. Комната прямоугольная, с одной ее стороны, той что поближе к входной двери, теперь высился наш топчан, на противоположной — громоздилась на четверть объема избы русская печь, которую я тогда увидела впервые. На печи была устроена лежанка, где спала сама хозяйка Надежда вместе с дочуркой. Взирались они туда по грубо сколоченной деревянной лесенке в три ступеньки. По диагонали от сооруженного для нас ложа, у другой стены стоял похожий на наш топчан, на котором в груде какого-то тряпья спали все три мальчика. В «красном» углу — небольшой прямоугольный стол, сколоченный из очень толстых грубых досок и такие же две скамьи. Все было накрепко приколочено к полу. Посреди избы расположилась железная печурка — главный источник тепла, на которой можно было и приготовить что-то. Украшал жилье пустой кованный сундук — напоминание о некогда более славной жизни. Не могу вспомнить, висела

ли в «красном» углу икона. Кажется, ее все-таки не было. Никаких признаков одежды, постельного белья — только ношенные ватники и такие же шапки. Даже поздней осенью мальчишки ходили босиком, и потом долго отогревали свои красные, как у гусей, ноги возле железной печурки. Вся посуда — чугунок, миска, деревянные ложки да пара эмалированных кружек. С улицы над входной дверью — навес, сложенный из неотесанных жердей. Элементарного туалета не было даже во дворе, каждый выбирал себе ближние кусты. Воду носили из реки. Просматривался около избы неухоженный и давно заброшенный огород. И никакой скотины, только вечно голодная собачонка...

С деревней познакомились лишь на следующий день. Свое название она получила от извилистого ручья, впадающего в Васюган ниже по течению, метрах в трехстах от нашего дома. Возможно, когда-то в этой речке водились ерши, но за все время нашего пребывания там я ни разу не видела чтобы в ней ловили какую-нибудь рыбу. Ершовка расположилась на правом берегу Васюгана на второй надпойменной террасе. Избы, числом около двадцати, выстроились вдоль проселочной дороги, глядя окнами на реку. Всю деревню окружала обычная деревянная изгородь, а вход в нее со стороны дороги преграждали бревенчатые ворота. Три избы, в том числе и «наша», находились за пределами собственно деревни, за ее изгородью. Здесь жили «единоличники», то есть те крестьяне, которые не пожелали вступить в колхоз даже после выселения из родных мест. Мне запомнилась среди них старообрядческая семья, состоявшая из трех взрослых сыновей и возглавлявшей хозяйство матери. В колхозе они не работали, а занимались охотой с помощью «петель», капканов и других охотничьих приспособлений. Кроме того, промышляли кедровую шишку, собирали грибы и ягоды — все то, что щедро давал урман. Ружья им советская власть не доверила. Впоследствии это не помешало ей всех троих отправить на фронт, где они героически сложили головы.

Первой постройкой у ворот деревни оказалась изба-читальня, на дверях которой постоянно покоился большой навесной замок. Избы тянулись вдоль дороги лишь с одной ее стороны, по другую — был виден Васюган и мрачный урман за ним. Меня заинтересовала кровля изб: она была берестяная. Кора березы растягивалась на перекладинах и покрывала всю крышу. Случалось, ветер срывал целые куски этой кровли, тогда береста сворачивалась в рулон и моталась под порывами ветра, а на крыше образовывалась прореха, куда обильно поливал дождь или сыпал снег. Но, похоже, это не очень беспокоило хозяев.

Все избы — обычные, в одну горницу, с русской печкой, вход прямо со двора, без крылечка или террасы. Были и пятистенки, но очень мало. Иногда к избе прилеплялось нечто похожее на сарай. Ни деревца, ни кустика — голый, пустой двор, в котором у многих были «стайки», в которых когда-то держали корову, но, увы, сейчас корова была здесь тоже редкостью — попробуй прокорми ее в этих условиях. Добавьте к этому огромный налог по маслу и молоку, оплатить который колхозники, а тем более единоличники, были не в состоянии.

В центре деревни высился новый, еще не посеревший от времени, бревенчатый полуторазэтажный дом за крепкой деревянной оградой. Во дворе — добротная конюшня, две лошади. Это был дом коменданта, в котором размещалась и его приемная. Комендант по тогдашним понятиям жил богато и сытно. Еще бы — главное лицо округа.

Далее в невысоком, барачного типа здании жили учителя местной школы и фельдшерица. Люди неподневольные, молодые — комсомольцы. Их жизнь очень отличалась от положения спецпереселенцев, они ходили по деревне весело, энергично, одним своим видом показывая свое превосходство и независимость.

Еще одним приметным зданием, возвышавшимся над избами оказался магазин. Войдя в него, я была крайне удивлена: все прилавки были абсолютно пусты. В этот магазин мы потом вынуждены были ходить каждый вечер за своей убогой «пайкой» — 500 граммов хлеба маме, если она ходила «на работу» в колхоз, и по 300 граммов — мне, сестре и бабушке.

Обращал на себя внимание колхозный двор — новые крепкие постройки для скота, сараи. При входе у самых ворот — колхозная контора, где восседали председатель и счетовод, и каждое утро собирались колхозники для получения дневных нарядов на работы. В течение года, прожитого мною в Ершовке, успели снять с работы аж двух председателей, якобы за растрату средств нищего, нежизнеспособного колхоза и отправить их в тюрьму. Но что здесь было воровать? Да и выполнить план по госпоставкам тоже было невозможно! Помню, как два чекиста вели в наручниках этих красивых мужиков мимо дома, где мы жили. Одного, через некоторое время — второго. Удрученные, униженные, они покорно шли впереди своих мучителей, понимая, что ведут их туда, откуда не возвращаются.

За колхозным двором протянулся глухой овраг, круто спускавшийся к реке, на дне его поблескивал ручеек, весной бурно разливавшийся. Ближе к реке его перегораживала плотина водяной мельницы, а мельник, пожалуй, был здесь самым состоятельным человеком. Дом у него был пятистенный, то есть в две горницы.

Почти сразу за обрывом деревня заканчивалась, но несколько изб уходило в сторону леса, среди них выделялась новая, сложенная тоже из бревен, школа. В школе учились в две смены, утром с первого по третий классы, а после обеда — с четвертого по шестой. При школе в маленькой каморке, примыкавшей к классам, жила директриса со своим мужем алкоголиком. Строили все эти здания сами колхозники, топорами рубили лес и обтесывали бревна, впрягались вместо лошадей в сани и тащили их к месту строительства. Все как в далеком средневековье...

За школой начиналась бесконечная и дремучая, с болотами-омутами, тайга...

За деревней, сразу за избами у колхозников были свои огороды, земли под которые они отвоевали, корчуга тайгу. Но и здесь нас настигло разочарование! Весной—летом 1941 года весь этот край был затоплен наводнением. Хозяйка нашего дома Надежда рассказывала, что воды даже в избе было до метра. Из огородов она отступила только к июлю, тогда и стали сажать картофель, который кое у кого еще сохранился, но до заморозков вырасти он не успел. Голод ожидал не только нас, ссыльных, но и местных жителей.

Что касается колхозных полей, то их было очень немного, так как приходилось за каждый квадратный метр земли вести суровую борьбу с тайгой.

Комендант дал маме на обустройство и ознакомление с условиями жизни в деревне два или три дня. Мама, которая имела специальность учителя русской словесности, решила пойти к директору местной школы, надеясь устроиться в нее на работу. Тогда она по наивности не понимала, что мы все четверо: она, бабушка и мы, две девчонки—школьницы, «враги народа». А раз так, то не достойна она учить детей трудящихся.

Я тогда всюду следовала за нею, пошла и на этот раз.

Миновав овраг и мельницу, мы свернули к школе.

Школа — совсем новое, сложенное из светло-желтых бревен, чистое здание. Рядом располагались три избы, показавшиеся нам вполне солидными. В них поселились несколько высланных эстонских крестьянских семей, которые с нами никогда не общались.

Встретила нас сторожика—уборщица, крупная, краснолицая, рыжеватая, узкоглазая женщина. Она доложила о нашем приходе директрисе Авдотье Михайловне. Авдотья Михайловна не заставила себя долго ждать и тотчас вышла из своей комнаты, пригласив нас в один из классов. Была она лет пятидесяти, среднего роста, полноватая, волосы закручены в узел на затылке. Представилась, очень внимательно посмотрела на заметно волнующуюся маму. Пригласила ее присесть, и они устроились за учительским столом, а я вышла, решив осмотреть школу и ее окрестность. За окном я увидела просторный, ничем не огороженный школьный двор и большую, аккуратно сложенную поленицу дров. Дальше, как везде — простиралась тайга.

По окончании разговора, когда обе вышли из класса, я по лицу мамы поняла, что она очень подавлена беседой. Простившись с директрисой, мы вышли из негостеприимной школы. На обратном пути мама некоторое время молчала, потом начала рассказывать: «Она меня выслушала и сказала, что им очень подошел бы такой учитель, как я, но принимать на работу учителей из спецпереселенцев не разрешено, их полагается использовать только на

черновой колхозной работе». Так печально закончилось наше посещение школы. Мама совсем сникла.

Так моя мама — Александра Ильинична, урожденная Боброва, окончившая знаменитую в Риге частную гимназию Олимпиады Николаевны Лишиной с дополнительным классом «Русская словесность», затем несколько лет преподававшая в этой же гимназии, владевшая французским и немецким языками, пробовавшая себя в поэзии, игравшая на рояле любимые ею сонаты Бетховена, вдруг оказалась «деклассированным элементом», которому нельзя доверить обучение даже крестьянских ребятишек.

Удар был велик, последняя надежда получить достойную работу потеряна.

А уже в сумеречное утро следующего дня грубый голос колхозного бригадира призывал маму на работу на колхозном дворе. Молча встав, надев свой зеленый вельветовый плащ, такой же берет и рижские галоши с тремя пуговками, она ушла в туманное августовское утро. Так стало повторяться ежедневно. Возвращалась мама уже в сумерках, и однажды вечером, придя с этой постылой каторги, села и обреченно сказала: «Нет, такого я долго не выдержу!». Да, ей действительно было очень тяжело: худенькая, очень хрупкая, она не могла долго вынести непривычную изнуряющую работу. Но за нее она получала дополнительные 200 граммов хлеба, и тогда наш общий паек представлял уже половину круглой черной буханки. И ради этой полуковриги мама каждое утро вставала по требовательному стуку в дверь, одевалась и уходила на целый день на колхозный двор. А мы, дети, оставаясь дома, выполняли свои нехитрые обязанности, готовили еду.

В августе еще удавалось купить мелкую, величиной с каштан, картошку. Варили из нее на костре похлебку, приспособив для этого взятую из дома единственную кастрюлю. Другой посуды у нас не было, ее в суматохе и неразберихе «отъезда» забыли взять. Жидкая, без жиров, картофельная похлебка с луком и кило-двести черного хлеба — вот весь обычный дневной рацион на всех нас, четверых. Иногда мама выменивала у колхозников на наши носильные вещи, простыни или одеяла еще какие-то продукты: то несколько яиц, то поллитра молока. Сначала ей казалось это невозможным, но потом она поняла, что другого выхода, чтобы спасти нас всех, не было. Охотник-старовер, единоличник, с большой охотой отдавал маме за грубые простыни дичь. Приносил то зайца, то пару куропаток, то утку. Это нас спасало. С каждым днем становилось холоднее, по утрам деревню заволакивал холодный туман, вечера наступали все быстрее...

Примерно через две недели после прибытия в Ершовку маму вызвал на собеседование комендант. Я пошла вместе с ней. Она уже плохо себя чувствовала, сильно похудела, казалось, остались у нее на лице одни глаза. Комендатура в этой глуши гляделась роскошным дворцом. Добротный дом за крепкой оградой уже сам по себе внушал

мистический ужас. Строение новое, но с большой задумкой на будущее. Мы поднялись по высокому крыльцу и вошли в приемную. Там уже яблоку некуда было упасть, так как, оказывается, были созданы все вновь прибывшие ссыльные.

А сейчас я попробую рассказать о тех, кого еще поселили в Ершовке.

Из нашего рижского вагона здесь оказалось пятнадцать человек. В памяти остались не все, и пусть простят меня те, кого она не сохранила.

Начну с нас, т. е. с семьи Никифоровых.

Нас было четверо: мама Александра Ильинична, урожденная Боброва, бабушка Мария Иоганновна (Ивановна), урожденная Сидкевич, по материнской линии она происходила из известной в Риге купеческой семьи Окуневых, и мы — дети Тамара и Ирина.

Казацкие Нина Николаевна (1894—1945 гг.) и ее сын Николай Михайлович (1916—1942) — тот самый Коля Казацкий, который нам всем очень помог в пути. Николай Михайлович был одним из самых способных молодых художников в «Школе С. А. Виноградова». Сергей Арсеньевич особо выделял этого юношу и его работы были представлены на выставке в мае 1930 года, а было тогда Коле всего 14 лет.

Хорошо помню одинокую представительную пожилую даму по фамилии Штольцер. Она отрекомендовалась женой белого офицера. Из Васюганья она не вернулась.

Вспоминаются две молодые женщины. Одна из них — Александра Милгравис (1909—1979 гг.). Шура вернулась домой 23 мая 1955 года, героически выдержав почти пятнадцатилетнюю ссылку. Ее подругой была польская певица, бежавшая в Ригу из оккупированной Польши и оказавшаяся в ссылке вместе с нами.

Семья Левенсон из трех человек: мамы и двух взрослых детей — дочери и сына. В Ригу никто из них не вернулся — май 1942 года стал для них последним.

Навечно осталась в Васюганских болотах и госпожа Кремер, а ее дочка Фаня, моя ровесница, уже в 1947 году оказалась в Риге.

Я уже упоминала четырнадцатилетнего еврейского мальчика Яшу, который остался на попечении вагона без еды, одежды и спальных вещей. В Ершовке он тоже был с нами. Его дальнейшей судьбы я не знаю, но есть основания надеяться, что Яша выжил.

Вообще из пятнадцати рижан, оказавшихся в ссылке в Ершовке, выжило шестеро, то есть смертность среди них составила 60%.

Несколько человек из нашего вагона остались в Огнев Яре. Это семья Менгельсон — мама Луция (1892—16.10.1942), сын Янис (1921—04.12.41) и дочь Эрика, 1927 года рождения (она вернулась в Ригу 14.07.1946 г.); там же, в Огнев Яре поселили семью Симанис — маму Наталию (1903 г. р.) с дочерьми Эдите (1928 г. р.), Айей (1936 г. р.) и Сильвией (1938 г. р.). Всем им удалось вернуться в Ригу.

Жило на поселении в Ершовке еще несколько русских и эстонских семей из Нарвы и три эстонские крестьянские семьи. Их судьбы мало отличались от нашей: Таня Бух и ее мама умерли от голода весной 1942 года, а Танина сестра Галя позднее оказалась в Айполовском детском доме; мой ровесник Женя Мяги, воспитанник детдома, вместе со мной закончил семь классов в Айполове, а его мама скончалась все в том же 1942-м. Трагически сложилась судьба семьи Брюниных — в мае 1942 года они погибли все четверо.

Все эти люди и собрались тогда в приемной коменданта. Было тесновато. Кто успел, уселся за большой прямоугольный стол, остальные стояли, прислонившись к стене, и, пока не было «хозяина», довольно шумно переговаривались о наблевшем.

Наконец из апартаментов, где проживал с семьей, вышел комендант. Высокий, широкоплечий, рыжий детина, с грубоватыми чертами лица, изрытого оспой, одетый в форму чекиста. Ему бы сейчас под Москвой или Питером ротой или взводом командовать, а то и с пулеметом на смерть стоять, а он вот отсиживается вместе с семьей в этой глуши и «опекает» несчастных людей, не понимающих зачем и почему их — женщин, детей и старух — насильно сюда привезли. Подобных «патриотов», к сожалению, в России были тысячи. В руках комендант держал список сосланных в Ершовку, провел по нему перекличку и потребовал тут же, прямо сейчас, сдать паспорта. У многих рижан их не оказалось, так как незадолго до высылки документы были отданы для переоформления. Затем комендант объявил, что наша ссылка — на двадцать лет, и что мы не имеем права без его личного разрешения выходить за территорию поселка, даже в соседние поселки Огнев Яр и Медведка. Все взрослые обязаны ежедневно работать в колхозе под руководством председателя, бригадира или звеньевых. При невыходе на работу ссыльный лишался своей пайки хлеба, а кроме него никакой еды не было, да и купить что-либо было невозможно из-за того, что весь урожай в округе на сотни километров, как я уже рассказывала, был уничтожен весенним наводнением. Посыпались вопросы. У большинства ссыльных не оказалось никакой теплой одежды и обуви, только летние плащи и сандалии. Комендант выслушал нас, сделал какие-то пометки в своем блокноте. Следует сказать, что некоторые из нас, в том числе и Нина Николаевна, получили ватники и стеганые на вате чулки до колен. Маме не дали ничего, а у меня было только поношенное осеннее пальто.

БАРЖА НА ОБИ. Суровые будни. Кончина мамы и бабушки

Сибирская осень в урмане только начиналась, но холод и особенно голод уже сильно о себе напоминали. Есть хотелось непрерывно. Нас прикрепили к магазину, где вечером, строго по списку, выдавали пайку. На нашу семью в лучшем случае выходило 1400 граммов, это была примерно половина круглой буханки черного хлеба. Но мамины силы таяли, она все чаще оставалась дома, и наш паек сокращался до 900 граммов. Бабушка, чтобы не голодали внуки, почти не прикасалась к своему пайку, но очень просила сахар. Фельдшерица, которую мы вынуждены были пригласить к бабушке, снисходительно выписала 100 граммов сахара, который мама разбила на мелкие кусочки, завернула в тряпочку и положила возле бабушки. Она брала кусочек в рот и запивала его водой или кипятком. Конечно, надолго этих ста граммов хватить не могло, а тут еще внуки, которых так хотелось угостить...

В августе в тайге созрели ягоды — малина, голубика, клюква, черника, на болотах — морошка. На лесных опушках, вырубках, возле пней появились грибы — опенки, вполне съедобные. Но сваренные в воде, без приправы, они были невкусными. Однако, ели — какая-никакая, а все-таки еда!

В августе — начале сентября совсем замучил гнус: комары и мошка. Бороться с ними было нечем, помог бы деготь, да где его взять? А изматывал гнус нещадно, нередко на шее, около глаз, на ногах и руках образовывались страшные и очень болезненные синяки, которые к тому же нестерпимо чесались.

И все же в лес, правда ближний, ходили. Сначала несколько раз мы с сестрой пошли за малиной в березняк на болоте. Прыгая с кочки на кочку, цепляясь за ветви низкорослых берез, мы собирали сочную сладкую лесную ягоду. Но сколько мы ее в таком месте могли собрать?.. Однажды ветка, за которую держалась, обломилась, и я оказалась по пояс в ледяной воде. Дна я не чувствовала, что-то тянуло меня вниз; не знаю, как удалось тогда выбраться... Мокрая, замерзшая, вконец измученная, уже на заходе солнца добралась я до нашей избы. Слава Богу, обошлось...

Пару раз, когда маму по колхозному наряду направляли в тайгу за черникой и клюквой для сдачи их на поставки, она брала нас с собой, чтобы мы набрали ягод домой. Мы с сестрой очень старались, но набрали немного — не умели еще, к тому же страшно мучил гнус, да еще под ногами хлюпала ледяная вода, а вся обувь наша — сандалии да летние туфли.

Спасти нас от голода эти ягодные походы не могли, но все же это было хоть что-то съедобное. Купить молоко, яйца у местных крестьян стало почти невозможно, да и денег не было. Какое-то время мама не решалась менять наши носильные вещи и постельное белье на продукты, которые предлагали местные жители, хотя многие из наших товарищей по беде давно же освоили этот способ выживания. Наконец, поняв что другого выхода нет, решилась

на это и наша мама. Местный охотник-старообрядец (я его уже упоминала) за простыни приносил нам дичь. Однако, этого было тоже мало. Чувство голода все возрастало, я худела с каждым днем. Маме приходилось труднее всех, она изнемогала, но старалась держаться.

В августе в нашей избе случилась трагедия. Николай, старший сын Надежды Некрасовой, стал жаловаться на невыносимые головные боли, он страшно мучился, кричал, порой бился головой о стену или скамью, похудел до невозможности. Спустя несколько дней он окончательно слег, не переставая ни днем ни ночью стонать и кричать, впадая в беспамятство. Видеть и слышать все это было жутко.

Наконец в доме появилась врач, из ссыльных эстонцев. По-русски она не говорила и совсем не понятно, как она объяснялась с матерью больного. Осмотрев мальчика, она сообщила, что у него туберкулезный менингит и жить Николаю осталось несколько дней. Так оно и случилось. Сын повторил участь своего отца, который за три года до нашего прибытия в Ершовку также скончался от туберкулезного менингита. Наверное, имела место наследственность да и нечеловеческие условия, в каких жила эта несчастная семья.

Надежда Некрасова к смерти сына и его похоронам отнеслась хладнокровно: ни слез, ни причитаний. Видно, душа ее давно окаменела...

С каждым днем становилось все холоднее, за ночь изба совсем выстывала, но отсутствие дров хозяйку не очень волновало. А изба на зиму совсем не утеплялась, завалинка давно осела, голодные, оцепевшие от лишений хозяева оставались ко всему равнодушными. Мы с Ирой, сколько могли, собирали хворост, сучья. Все это мгновенно сгорало в железной печурке, на которой мы теперь готовили варево, именуемое едой. Однако печурка быстро остывала и снова становилось холодно. Я продолжала спать на полу, но это становилось невыносимо: из подпола через огромные щели несло лютым холодом. В результате я очень сильно простудилась, начался фурункулез, огромные, глубоко сидящие нарывы быстро расплзлись по всему телу, а когда они созревали, из них выходил желтый гной, перемешанный с кровью. Любое движение причиняло боль. Пришлось перебраться на топчан. Двигаться я почти не могла, день и ночь проводила в одной позе: облокотившись локтями на колени, но долго выдержать это было невозможно. Мама пригласила врача. Пришла та же, уже знакомая эстонка. Помню, что у нее был сильный нервный тик: тряслись руки и голова. Врач объяснила, что помочь практически ничем не может, но дала марганцовку для промывки ранок.

Ко всем прочим несчастьям, мама обнаружила, что пропали некоторые наши вещи. Во время отсутствия Надежды, она решила заглянуть в ее сундук и... на дне его их нашла. Баба, выходит, была еще и воровата. Потом мама нечаянно уронила свое обручальное кольцо. Сквозь щель в полу оно упало в подпол. Это ее очень взволновало, она увидела в этом —

плохую примету. Васек полез искать, искал долго, но не нашел. Однако, зимой, когда открылся санный путь, он ходил на станцию «Тайга» и там его пытался продать. Мы об этом узнали много позднее.

Еще до того, как на меня навалился фурункулез, я не раз совершала одиночные прогулки по окрестностям. Задолго до происходящего, еще в Риге, меня заинтересовали география и история. Я увлекалась рассказами о Сибири, Севере, открытии Северного и Южного полюсов. Отец очень способствовал моему увлечению, приносил замечательные книги о путешествиях и путешественниках, брал меня в увлекательные, порой трудные для меня, прогулки в окрестностях озера Бабите.

Папа как будто предчувствовал нашу судьбу и как умел закалял меня: я до октября купалась в реке Лиелупе, прекрасно плавала, бегала на лыжах. Он купил мне охотничью лодку, палатку, рюкзак. А в школе мой классный руководитель, зная про мои увлечения, подарил мне по окончании пятого класса (май 1941 года) книгу В. К. Арсеньева «По горам Сихотэ-Алиня». До ареста я успела ее прочесть.

Так что мои походы по окрестностям Ершовки были не случайны.

Сходила я на ближайшую речку Ершовку, которая впадала в Васюган. Она оказалась очень живописной. В устье дно и берега ее покрывал желто-серый песок, мерцающий на солнце, и чудились мне в нем золотишки: а вдруг! О золотых россыпях в сибирских реках я была начитана. Пройдя вверх по течению, скоро я оказалась в тайге и болоте. Здесь берега Ершовки поросли кустарником, вода была уже не серебристой, а почти черной, дно илистое. Передо мною вставали дикие пугающие дебри. Пришлось вернуться.

А жизнь становилась все сложнее и страшнее. Появились вши. Впервые я их увидела в Ирининой голове. Мы попробовали их вычесать, но паразиты не переставали размножаться и скоро распространились на всех, оккупировав носильные и спальные вещи. В деревне у кромки берега стояла банька. Она всегда пустовала, но мама упросила мальчиков истопить ее. Мы собрались в баню, все, кроме бабушки. На тележке повезли вещи, чтобы их прожарить. Это была первая в моей жизни баня. Мыла не было, но и без него ощущение осталось прекрасное. Однако, от вшей мы, увы, не избавились. У нас все меньше оставалось сил, чтобы побороть полчища этих гадких тварей...

Подходило время начала занятий в школе. Пришла учительница, аписала в тетрадь все данные обо мне и сестре и объявила, что посещение школы обязательно. Я попыталась возразить: мол, нет пальто, обуви, да вот еще и чирьи по всему телу... Она ничего не ответила — ее дело предупредить...

А голод и холод делали своё. Хлеб, который получали в колхозе, мы уже не ели, как все люди, а делали из него жидкое варево: оно нам казалось сытнее. Но, к сожалению, всего лишь казалось...

Миновал сентябрь, затем октябрь, близился день Седьмого ноября, и хотя в школу мы с сестрой так и не пошли, нас пригласили на «праздник», пообещав «угощение». Выпал первый снежок, мягкий, сырой. В сопровождении мамы мы отправились в школу. Там детям выдали по тарелке пшенной каши и еще что-то. Каша мне показалась очень вкусной. А рядом стояла мама, с которой я хотела поделиться, но, увы, она отказалась: «Это только для детей, мне нельзя...».

Тарелка школьной каши, конечно же, никак не освободила от постоянного чувства голода. Снова потянулись унылые дни... В школу мы так и не пошли, да и каши в будни там не давали. Вскоре я совсем слегла. Каждое утро отмечала, что пальцы становились все тоньше, на месте бедер появились впадины. Фурункулы не давали возможности поднять руку или сделать хотя бы один шаг. Я не плакала, даже на это не оставалось сил: просто как будто отупела от боли и голода. По телу безнаказанно ползали вши, на которых я уже перестала реагировать. Часто стала забываться, и в забытьи передо мной возникали чудесные картины — накрытые волшебными скатертями большие столы, на которых была расставлена обильная и невероятно вкусная еда, ну прямо как пир из «Сказки о царе Салтане», и я все это ела, ела, ела — всё подряд: и ароматные окорока, и жареных гусей и что-то еще, еще и еще... И вдруг просыпалась. Вокруг все те же унылые стены, а подо мной внушительная лужа. Организм поедал сам себя. И опять каждое утро отмечала, что стала еще тоньше, вот и ребра уже торчат... И всё болит... И ходить уже совсем не могу...

На нарах я лежала рядом с бабушкой: она в самом углу, тесно прижатая к стене, я — рядом. Ближе к краю нар валетом располагались сестра и мама.

Бабушка давно почти ни на что не реагировала и почти ничего не ела. После 6—7-го ноября она уже ничего не говорила, только тихо стонала и бредила. В ночь на одиннадцатое ноября я проснулась от ощущения прикосновения к чему-то холодному. Это была уже остывшая, окоченевшая рука, и я вдруг поняла, что бабушки больше нет. Однако никаких чувств у меня в тот момент не возникло, какое-то жуткое безразличие овладело мною. Я разбудила маму, сказала ей: «Бабушка умерла...», но и маму это существенно не тронуло: мы все давно уже были морально подготовлены к мысли о том, что часы бабушки сочтены.

Утром хозяйский мальчик Вася пошел в правление колхоза и сообщил о кончине нашей бабушки. Уже через несколько часов к нашей избе подъехала колхозная подвода со сколоченным из досок гробом. Не помню, кто поднял и перенес через меня мертвое тело. У

меня же сил встать с топчана уже не было. Хоронили бабушку наши ссыльные на кладбище у опушки леса, могилу обложили хвойными ветками, зелеными и душистыми.

А я продолжала болеть. И не думаю, что выкарабкалась бы, но однажды в один из ноябрьских дней, уже после бабушкиных похорон, зашел к нам знакомый охотник-старовер, про которого я уже упоминала. Жил он с матерью и двумя братьями, мужиками рослыми и работающими, неподалеку от нас, за пределами колхозного поселка, на берегу Ершовки. В колхоз они не вступили, а промышляли то, что мог дать им урман: грибы, ягоды, целебные травы, кедровые орехи, рыбу и главное — дичь. Изгоям-единоличникам иметь охотничьи ружья не полагалось, но эти молодцы приспособились добывать зверя силками, капканами и всякими другими средствами, с какими издревле выходил на охоту человек.

Так вот, в тот памятный для меня день охотник-старообрядец заглянул к нам и, увидев меня лежащую на нарах почти без признаков жизни, произнес, обращаясь к маме: «Хозяйка, дети не должны умирать, попробую помочь...». И ушел. На следующий день он принес еще теплого, только что пойманного зайца. «Ну вот, — сказал он, — сейчас будет тебе угощенье». Положил зайца на стол и охотничьим ножом ловко вспорол ему живот, после чего вылил теплую кровь в зеленую эмалированную кружку. Затем подошел ко мне: «Пей!.. Пей, говорю!» Я пыталась сопротивляться, но затем, преодолевая отвращение, поднесла кружку с теплой алой жидкостью к губам и стала пить. И странное дело — жидкость показалась вкусной, а по всему телу сразу разлилось необъяснимое тепло. Когда я опустошила кружку, тем же охотничьим ножом он вырезал из зайца печень. Нашелся кусочек черного хлеба (нам на поминки по бабушке выдали целую буханку), на него охотник возложил заячью печень и круто ее посолил: «Теперь ешь!». Я уже не сопротивлялась и съела всё. Это стало моим таежным причастием, спасшим меня от казавшегося уже неминуемым конца. Во мне как будто что-то пробудилось. А разделанного зайца он нам тогда тоже оставил, за что мама расплатилась с ним очередной простыней.

Мамины силы таяли с каждым днем, она с трудом поднималась, но каждое сумрачное утро, когда бригадир, постучав в наше оконце вызывал ее на работу: «Эй, Никифорова! Что заспалась, пойдешь сегодня туда-то!..», покорно вставала, надевала свое зеленое демисезонное пальто, резиновые полуботики и, не попив, не поев, уходила, уже понимая, что обречена. Однажды (это был уже конец октября) всех ссыльных отправили на болото собирать клюкву, и мама целый день с мокрыми по колено ногами собирала ягоды в ледяной воде. Что она там тогда собрала, не знаю. До дому, вся мокрая и замерзшая, с горсткой ягод для нас с сестрой, еле дошла. Ночью ее душил страшный кашель, а утром выйти на работу она уже не смогла. На этом и закончились ее колхозные трудовые будни. Пытаясь спасти себя и нас, мама за бесценок обменяла почти новое демисезонное пальто, за которое мы получили горшочек сливочного масла, немного картофеля и два ведра темно-зеленой капусты.

Неожиданно к нам наведалься школьная директриса. Она узнала, что у мамы есть котиковая шуба, и решила, что эта вещь теперь больше подойдет ей. Но расплатиться женщина могла только деньгами, а нам нужна была еда. В конце концов мама согласилась отдать шубу за пятьсот рублей, из которых директриса дала маме 150, мол, остальное — потом, и шубу забрала. Долг тот нам так никогда и не вернули. Уже впоследствии я узнала, что когда мы, ссыльные, погибали от голода, местная «аристократия» — комендант, председатель колхоза, учителя и мельник, который гнал самогон для собутыльников, в число которых входил и муж директрисы, и понятия не имели о недоедании.

В один из таких тяжелых осенних дней нас вдруг навестила Нина Николаевна Казацкая. Весь путь от Риги до Ершовки мы были рядом и сблизились. Но знакомы мы были и раньше — еще в Риге мама навещала Нину Николаевну в ее мануфактурном магазине, где я, пока дамы были заняты беседой, любовалась красивыми тканями. О чем они говорили в тот серый васюганский день, я не знала, догадалась уже позднее.

В эти же дни мама подыскала в самой Ершовке более симпатичную, нежели Некрасовы, семью, и мы перебрались в другую избу. Сборы для переселения легли на мои плечи, к тому времени я от болезни оправилась. Уже выпал устойчивый снежок, стало морозно, а одеться было не во что. У меня было только демисезонное пальто, Ира — в легких ботиночках. Я приспособилась ходить в маминых ботиках. Маму пришлось перевозить на саночках, поддерживая с двух сторон, чтобы не упала. Она была совсем слаба, подняться уже почти не могла и все говорила мне: «Боже, Боже, что с вами будет, когда меня не станет!..». Мне тогда казалось это невероятным.

Итак, мы перебрались на другую «фатеру», к бабке Анне Батьковой. Дом ее находился почти в центре Ершовки. Это была большая изба-пятистенка, одну половину которой занимала многочисленная семья колхозного бригадира, а в другой жили сами Батьковы: бабка Анна и четверо ее взрослых детей: сын Антон, дочери Таня и Нина и сын Николай, самый младший, ему тогда было лет шестнадцать. Взрослые дети дома почти не бывали. Семен все время жил в тайге — то на лесоповале, то на заготовке пихты, из которой выжимали знаменитое пихтовое масло. Татьяна, очень работящая, задорная, веселая, никогда не унывающая, была колхозной звеньевой и ее часто отправляли работать на участки, расположенные далеко от Ершовки. Младшая дочь Нина жила в Новом Васюгане и стала домработницей у бывшего ершовского коменданта, которого перевели туда с повышением. Сын Коля служил продавцом в Огнев Яре. Сама Батьчиха по ночам сторожила колхозный скотный двор и приходила домой только к утру. Даже никаких животных в доме не было, кроме белой курочки, которая устроилась в избе под печкой. Свою единственную корову из-за трудностей с добыванием кормов бабка Анна еще осенью свела в колхоз. Половина избы, в которой жили Батьковы, оказалась еще меньше, чем у Некрасовых, но она светилась оштукатуренными и побеленными стенами и отличалась чистотой. Четверть площади избы занимала печь,

которую, впрочем, топили редко, потому что было достаточно тепла, исходившего от примыкавшей к ней добротной плиты с чугунным верхом. Обстановка была небогатая, как и у всех, но казалась веселее. Два окошка, украшенные горшками с геранями, смотрели на реку. Все Батьковы оказались людьми приветливыми, и мы без сожаления покинули вороватую Некрасову. Мама осознавала, что дни ее сочтены, и я думаю, что наше переселение к Батьковым не было случайностью: она понимала, что эти люди в отчаянный момент зла нам не сделают. Так оно и оказалось.

Антон споро соорудил для нас топчан, опять около входной двери. Сами хозяева как-то умещались на одной деревянной кровати, где на простых, почти неоструганных досках лежали поношенные овчинные полушубки, две-три подушки в пестрых ситцевых наволочках и лоскутное одеяло. Между окнами стоял стол без скатерти, в углу — тумбочка под посуду, ведро с водой, скамейка... Вот и вся обстановка.

Сразу после переезда мама слегла и больше уже не поднялась. На третий или четвертый день она, узнав что сосед Наливайко повезет свою больную жену в Новый Васюган, собралась ехать вместе с ними. Сидя с поджатыми к груди ногами, она тихим голосом говорила, что ей надо положить в дорогу. Мы с сестрой молча делали все, что она просила — так хотелось, чтобы случилось чудо!

Но судьба распорядилась иначе. Около четырех часов ночи у мамы началась агония, она потеряла сознание, что-то еще пыталась сказать. Так продолжалось два-три часа. Потом она как будто вздрогнула и стихла. Хозяйка Батчиха, которая очень кстати в эту ночь была свободна от работы, помогла мне не сойти с ума от ужаса и отчаяния. Она что-то делала, говорила... Пришли соседки, помогли ей обмыть покойницу. Я же словно окаменела. Бабка Анна послала меня к председателю колхоза Жукову сообщить о маминной кончине. Как я оделась в старое мамино плюшевое пальто (своего не было), как напялила на себя мамины фетровые боты — не помню.

Вышла из избы, холод стоял пронзительный, темно... Меня охватило отчаяние, но идти было надо, и я побрела к правлению. Наконец, я у цели, вот входная дверь. Робко открываю, вижу: посредине комнаты за столом сидит сам председатель колхоза Жуков, молодой, широкоплечий парень приятной наружности, а вдоль стен на скамьях устроились колхозники.

Я подошла к столу и пролепетала: «Мама умерла». Председатель не сразу понял, пришлось повторить и было видно, что известие его ошарашило: «Как, не может быть!..» Я молчала, сил произнести еще хотя бы одно слово у меня не осталось. Жуков пришел в себя, что-то говорил мне, потом отдал сидящим на скамьях мужикам какое-то распоряжение... Я уже направилась к двери, когда он остановил меня и подал записку, сказав: «Вот, пойдешь мимо магазина,

получи на поминки буханку хлеба». Я его молча поблагодарила и вышла. Уже светало, из-за синих туч поднималось багровое студеное солнце.

В избе хозяйка и ее соседки уже обмыли и прибрали маму. Упокоенная она лежала на нарах, больше положить ее было некуда. Не помню, где и как мы провели день и ночь. Из меня не вылилось ни единой слезинки, я будто оцепенела. По-настоящему я зарыдала только через месяц, ощутив невыразимое одиночество и сверххранную ответственность за себя и сестру, которая была моложе меня на полтора года.

А в тот день в дом входили соседи, пришла и Нина Николаевна Казацкая, кто-то еще из ссыльных... И Нина Николаевна вдруг обратилась ко мне с разговором, думаю — преждевременным. А может быть, она не хотела дать мне опомниться — не знаю. Слов ее точно я не помню, но смысл заключался в том, что якобы наша мама в предчувствии скорой кончины, просила Нину Николаевну взять над нами опеку и сразу после ее похорон забрать нас в дом, где жили Казацкие. Мне стало нехорошо, трудно было представить себе Нину Николаевну в роли попечительницы. И главное — я этого не хотела. Мама на эту тему никогда с нами не говорила... Впрочем, может быть, была еще какая-то, подспудная, причина и дело было совсем в другом...

Нина Николаевна с сыном сами находились в бедственном положении. В Риге их взяли на даче, теплых вещей у них с собой не было. Да и никаких других — тоже. Не исключаю, что у них были кое-какие драгоценности, но они здесь не имели соответствующей цены. А у нас были бесценные тогда простыни, одеяла, кое-что из маминых носильных вещей, и вполне возможно, что этими причинами и была обусловлена опека над нами. Наводит на размышления и то обстоятельство, что после нашего отказа перебраться к ней, Нина Николаевна с нами больше не общалась.

Через сутки приехал возчик с гробом, сколоченным из грубых досок. В момент, когда маму уже увозили на кладбище, в доме вдруг появился комендант-чекист и заявил, что в силу того что мы несовершеннолетние, он должен произвести ревизию и перепись наших вещей. На просьбу сделать это после похорон он ничего не ответил и заставил меня находиться с ним рядом, когда он осматривал и переписывал наше добро. В первую очередь он искал драгоценности, и в его глубоком кармане утонули и мамины гагатовые серьги, и медальон с жемчугом, и швейцарские золотые часы — подарок отца, и еще что-то. Естественно, никакой расписки за все это он не выдал.

По окончании этой «операции» я, не разбирая дороги и спотыкаясь на каждом шагу, помчалась на кладбище. Успела. Гроб только что сняли с телеги и поставили возле свежевырытой могилы, рядом с холмиком, под которым покоилась наша бабушка.

Все ждали меня. Наконец, после чьей-то очень короткой речи гроб опустили в могилу, мы бросили в нее по горстке чистого васюганского песка, мужики заработали лопатами и вот уже рядом с бабушкиным холмиком вырос второй — мамин. Люди укрыли его хвойными ветками. И — конец. Мы с сестрой теперь сироты. Между первой и второй смертью в нашей семье прошло ровно две недели. Бабушка скончалась 11 ноября 1941 года, а мама — 25 ноября.

БАРЖА НА ОБИ. Одни

Началась наша самостоятельная жизнь.

Вскоре после маминой кончины нас вновь посетила школьная учительница. Ее требования были строги: в случае, если мы будем посещать школу, получим рабочий паек, и наоборот — в случае отсутствия на уроках без уважительной причины — пайка не будет. Пришлось подчиниться, и школа спасла меня от неизвестно каких последствий, но восстановить пропущенное за три месяца было уже трудно, и я вынуждена была пойти вновь в пятый, а Ирина — в третий класс. Главное же было то, что мы ходили в школу, а это уже обязанности.

Не помню, были ли у нас учебники, как обстояло дело с тетрадями, а вот чернила из свекольного сока хорошо запомнились.

В классах стоял немилосердный холод, так как директриса скупилась на дрова. Одеты же мы были смешно: я стала носить мамино старое плюшевое пальто, Ира бегала в ботиночках. Вместо шапки я носила белый шерстяной платок, оставшийся от бабушки. Хуже было с обувью: остались только мамины фетровые ботинки на каблучках, но они мне были велики. Однако я приспособилась и «прощеголяла» в них всю ту зиму. И считаю, что нам с сестрой еще как-то повезло с одеждой, потому что у многих из наших ссыльных вообще не было ничего, кроме летних плащей, платочков, кофточек и сандалий.

Местные жители имели стеганые ватники, как правило уже сильно поношенные, валенки же были тоже далеко не у всех. Наша хозяйка ходила в старых мужских ботинках, заправив в них сшитые из овчины носки, это ее спасало от холода. Кое-кому из наших ссыльных тоже выдали ватники и стеганые ватные чулки, но досталась эта роскошь, к сожалению, единицам. Наш хороший знакомый Николай Казацкий всю зиму проходил в плаще, поверх летнего костюма. Был ли на нем свитер — не помню. Шляпу он повязывал шарфом. На ноги поверх сандалий наматывал какие-то тряпки. К жизни в Васюганье Коля приспособиться так и не смог, впал в глубокую депрессию и угас быстрее других.

После всего пережитого нам с сестрой нужно было как-то определиться — что нам делать дальше, как жить. От пережитого горя и вдруг возникшей ответственности я впала в депрессию, которая через месяц разразилась истерикой. Наверное, это было началом

выздоровления. От голода мы несколько оправились, хотя есть хотелось по-прежнему всегда, везде и очень сильно.

Старожилы-спецпереселенцы 30-х годов и наши ссыльные после похорон мамы не скупилась на советы, как нам жить дальше. Особенно беспокоилась о нас Нина Николаевна Казацкая. Она опять стала настаивать, что готова взять нас под свою опеку, уверяла, что так хотела наша мама, и Нина Николаевна дала ей обещание не оставлять нас. Но я продолжала думать, что тут преобладали ее личные, корыстные интересы. Она почти требовала, чтобы мы перешли жить к ней. Пятистенка, в которой проживали Казацкие, стояла в самом конце поселка. Половину дома занимала семья хозяев, которая состояла из семи человек. Самый младший лежал в подвешенной к потолку люльке и непрерывно плакал. У печи на подстилке лежал теленок, все было мрачно, грязно, воздух тяжелый. Казацкие жили во второй горнице и к ним можно было пройти только через все это. Но главным в наших сомнениях было другое. Мне казалось, что в словах Нины Николаевны не было ни искренности, ни душевности, ни сострадания. Ее интересовали наши вещи, которых у нас пока еще хватало для обмена на продукты. Да и особого желания уходить от Батьковой ни я, ни сестра не имели: тут было бедно, но чисто, тепло. Да и сами Батьковы относились к нам доброжелательно.

Настоять на своем Нина Николаевна так и не смогла и скоро отступилась и просто забыла о нас.

В школу вместе со мной ходили Фани Кремер из Риги и Женя Мяги из Нарвы. У Жени к тому времени тоже умерла мама, болевшая туберкулезом еще до ссылки. Из Нарвы были еще девочки-близнецы по фамилии Бух — Галя и Таня, но в школу они не ходили.

А мы продолжали менять свои носильные вещи на продукты. Чаще всего это была мука или овес, продукт особенно ценный: если на старинной ручной домашней мельнице его размолоть, а потом просеять, то получалась овсяная мука, из которой мы пекли прямо на чугунной плите и, конечно же, без жира замечательные оладьи. А отруби шли на овсяной кисель. Бывало и так, что и оладьи делали с отрубями, но после этого всегда болел желудок.

Когда наладился санный путь, обменивать вещи на продукты стало легче: за счет людей, которые проезжали через Ершовку, «расширился рынок». Иногда нам удавалось добыть даже мясо. А вот овощей, картофеля, капусты в зиму 1941—1942 гг. почти не было.

Стало побольше жильцов и в нашем доме. Хозяйка Анна Батькова, думаю, что из чувства жалости и сострадания, пустила в избу одну совсем нищую семью — мать с двумя детьми: одиннадцатилетним Колей и шестилетним Васей. Кто были эти люди, не знаю, но бедны они были отчаянно. Днем все трое почти всегда отсутствовали, а по ночам спали все вместе на крохотном пространстве почти никогда не топленной (изба обогревалась плитой) печи. У

мальчиков от постоянного голода были совершенно тупые лица с огромными глазами. Они очень мало и редко разговаривали. Где они бывали днем, я не знаю, но старший подворовывал, где мог. Одежды на них почти не было, лишь застиранные до серости рубашки и штанишки, обуви — никакой, всю зиму проходили почти босиком, обмороженные ноги у них стали красными, подошвы в трещинах. Однажды видела: младший, Васек, сидит на дороге и выковыривая из конского помета овес, сует его в рот.

В середине зимы комендант собрал всех бездомных из нашего и соседнего колхоза и выселил их куда-то в совсем забытый Богом обезлюдивший колхоз. Отправили туда и эту семью. Мальчики ушли почти босиком, дошли ли они до места, им назначенного, кто знает...

А зима была долгой. Я прослышала, что в ближнем от нас селении Медведка можно купить продукты. Чья это была выдумка, не знаю, но я дерзнула и одна отправилась в поход. Мне показали дорогу, сказали, что это совсем близко — всего 5—7 километров. Дорога шла по тайге, но просека оказалась довольно широкой с хорошей колеей. Иду, вокруг никого, только ясно-голубое небо, ярко светящее солнце, морозец. Лес, тишина... Одной было жутковато, но близость к чистой красоте природы действовала успокаивающе. Где-то через полтора-два часа я уже была на окраине Медведки. Бросилось в глаза, что селение побольше нашего, много улиц, избы тоже показались поопрятнее.

Так что же дальше, куда идти, ведь я никого здесь не знаю?.. Да и замерзла и подустала... Прошла по улице, постучалась в одну из изб. Дверь открыла немолодая женщина,пустила в дом, я сразу почувствовала тепло избы и рассказала о своей заботе. Хозяйка печально усмехнулась и объяснила, что я напрасно сюда пришла, Медведка тоже голодает после весенне-летнего наводнения, и никто мне ничего из еды не продаст и не обменяет, а ссыльных, в основном эстонцев, и у них предостаточно. Пришлось мне уйти ни с чем. Надо было торопиться: солнце начинало уходить за лес, а ночью в тайге одной — у-у-у!

Это было мое первое самостоятельное путешествие через тайгу. Поэтому так хорошо оно мне запомнилось.

Во второй половине зимы Шура Милгравис и ее подруга полька Фрида сказали мне, что на днях они переезжают в другое селение, Моисеевку. Там нет ссыльных, и им пообещали работу счетоводами. Нам было жалко расставаться с этими женщинами. Шуре и Фриде тогда было по 32—33 года, весь путь от Риги до Ершовки мы проделали вместе. Но я уже понимала и то, что для них этот переезд — последняя возможность избежать неминуемого угасания в этой дыре. Что стало в дальнейшем с Фридой, мне неизвестно, а Шура вернулась в Ригу в 1956 году, отбив в Васюганье пятнадцать лет. Единственная из взрослых нашего вагона, попавших на поселение в Ершовку, которая выжила. Все остальные навсегда остались в

Васюганской земле. Сохранились несколько ее писем из Моисеевки к родителям, о которых я расскажу подробнее чуть позже.

Мы с сестрой Ириной продолжали жить у Батьковой и ходить в школу. Ближе к весне дочь Батьковой Татьяна заявила, что «угол» арендован нам по предварительной договоренности с нашей мамой об оплате, но так как мы денег не имеем, то должны рассчитываться своими вещами. Вероятно, это было правдой, ибо с какой стати им было о нас беспокоиться. За первый период проживания Татьяна взяла с нас фланелевое одеяло, потом мамино уже не новое демисезонное пальто, платье и еще несколько вещей. Впоследствии я узнала, что все ссыльные, действительно, оплачивали кто чем мог свои «углы».

Время тянулось довольно однообразно, утром Ирина убегала в легких ботиночках в школу, ко второй смене отправлялась в школу и я. Вечером по очереди мы бегали в магазин за пайкой хлеба и делили ее на самодельных весах. Хорошо, что магазин был теперь от нас близко, и мы не успевали по пути к нему замерзнуть.

Но голод продолжал беспокоить, одолевала тоска по близким. После школы я заходила к знакомым ссыльным. Уже в январе 1942 года голодное истощение коснулось почти всех, порой доводя до животного исступления. Коля Казацкий однажды, не выдержав голода и, видимо, потеряв рассудок, вдруг украл кусок хлеба с прилавка магазина. Все стоявшие в очереди, увидев это, закричали на него. Коля, выскочил из магазина и побежал в сторону своего жилища, но споткнулся, запутавшись в своих портянках, повязанных поверх летних сандалий, и упал. Озверевшая толпа набросилась на него, избила, а хлеб отобрала.

Местные жители, понимая, что вновь привезенные ссыльные скоро начнут погибать от голода, постепенно стали вытеснять их из своих изб. Некоторых из оказавшихся бездомными комендант поселил в вечно пустующую избу-читальню, в которой не было ни печки, ни дров, и никакой мебели, кроме одного стола и нескольких скамеек. Пустовала еще изба Беловой на противоположной стороне поселка, ее хозяйку как не работающую в колхозе, выселили еще в начале зимы в другой колхоз. В эту опустевшую избу переселили всех живших у разных хозяев в домах за оврагом, в конце деревни. Когда мне об этом сообщили, я после школы направилась навестить Казацких, которым, по слухам, было очень плохо.

Мне никогда не забыть кошмара, который пришлось увидеть тогда, в конце весны 1942 года. Дверь избы оказалась открытой настежь. В абсолютно лишенной какой бы то ни было мебели серой избе, от самых входных дверей до противоположной стены лежали в ряд, вытянувшись на спине Казацкие Нина Николаевна и ее сын Коля, мама Бух с дочками Таней и Галей, Штольцер и еще какие-то люди, которых я не узнала. Все были страшно истощены, оборваны, на лицах только скулы торчат, глаза полузакрыты. Они почти не двигались, не говорили, лишь издавали какие-то звуки — не то стоны, не то вздохи, а то и просто выли. На мой приход никто

из них никак не прореагировал. Мне стало страшно. Я выскочила из избы. Чем я могла помочь этим обреченным, чем? Я и сама к концу зимы опять отчаянно исхудала, и меня шатало от голода и слабости.

Прошло несколько дней. Я возвращалась из школы, шла к верхнему, полуразрушенному прошлогодним наводнением мосту через овраг. Уже собиралась по дощечкам перебраться на противоположную сторону, как вдруг увидела, что следом за мной едет телега. Рядом с ней брел возчик, а за ним женщина, в которой я не сразу узнала Нину Николаевну. Она вздымала вверх руки, спотыкалась, падала, снова поднималась и громко причитала, почти кричала. Опомнившись, я разглядела в телеге что-то, замотанное в какое-то тряпье. Это был Коля Казацкий, навсегда покинувший этот мир.

Бедный, бедный Коля!.. Трудно было себе представить, что это тот самый жизнерадостный и находчивый молодой человек, талантливый и уже замеченный специалистами и публикой рижский художник. Я долго хранила его последнее произведение, мой портрет, написанный им в Ершовке на обратной стороне клочка старых обоев обычным углем из печки. Портрет этот каким-то образом пропал в детском доме, о чем я до сих пор очень жалею.

Страшная участь не миновала и семью Левенсон. Она погибала в соседней с нами избе. Когда я их навестила, добродушный и пытливый Лева уже умер, а немощная сестра его сидела на кровати, поджав колени и что-то тихо пыталась сказать (или прошептать). Понять ее было уже невозможно. На следующий день и ее не стало. Бедная мать от горя потеряла рассудок и скончалась, пережив детей всего на неделю.

Потрясла меня судьба семьи Брюниных из Нарвы. У них ничего с собой не было, так что менять что-то на пропитание они не могли и страшно голодали. Восемнадцатилетних девушек-двойняшек отправили в урман на заготовку пихты. Возможно, колхозники надеялись, что повышенный хлебный паек, выдаваемый там, их спасет, но было уже слишком поздно — девочки уже были истощены до крайности. Антон Батьков вывез их обеих из тайги, и через два дня они тихо скончались. Их мать и брат еще пытались бороться за жизнь, ловили лягушек, каких-то насекомых и прямо на месте их поглощали. Потом умер и мальчик. Мать, вся в черном рванье, с изуродованным горем лицом и безумными глазами, опираясь на клюку, ходила по избам, стучала в окна, выла, рвала на себе волосы, пыталась что-то сказать. Я хорошо помню ужас, который охватил меня, когда однажды она заглянула и в наше окно. Через неделю прямо на дороге она упала и затихла навсегда.

К концу мая не стало еще многих.

За зиму истощала и я. И возможно, что меня постигла бы та же участь, если бы Таня Батькова не заставила нас с Ириной выйти на работу. И вот мы идем на прополку колхозных полей.

Впереди, как всегда, бодрым шагом шла Таня, за нею — женщины-колхозницы. По пути ели молодые стебли хвощей. Уставали страшно, но зато после работы нас ждал сваренный на костре обед — крапива, заправленная ржаной мукой. Наверное, эта крапива нас и спасла.

Прошло еще какое-то время. В июне вверх по Васюгану, к Майску, пошли катера и баржи.

Неожиданно нас вызвал к себе комендант и объявил, что меня и сестру, как несовершеннолетних, направляют в детский дом. Собраться надо уже сегодня, потому что завтра приплывет с верховьев баржа, которая нас заберет. Мы это известие приняли спокойно, без волнений и протеста.

Местные жители, оказывается, уже знали о том, что всех сирот отправят в детские дома, но услышав, что это случится так скоро, всполошились. Известие о нашем отъезде мгновенно облетело всю Ершовку. Местных, конечно же, интересовало наше барахло. От предложений обменять то или другое не было отбоя, при этом они стали предлагать откуда-то вдруг взявшиеся картофель, шанежки и т. п. Даже не верилось, что все это можно будет получить и накушаться. Предлагая нам продукты, местные уверяли, что в детском доме все вещи у нас все равно отберут и переоденут в детдомовское. Так оно и случилось.

В последний раз я сходила на заброшенное кладбище, нашла сильно осевшие за зиму могилки бабушки и мамы, обложила их свежей хвоей и над ними пыталась обдумать все, что произошло с нами за минувший год, но мозг отказывался воспринимать прошедшее. Все во мне словно окаменело.

(Через много-много лет, в 1991 году, в Риге, на родовом участке Покровского кладбища я установила памятник бабушке и родителям, могил которых не нашла ни в Усольяге, ни в Ершовке. Да и самой Ершовки уже давно нет...)

Вернувшись, кое-как увязала узлы с вещами и попрощалась с остающимися спутниками по вагону: Ниной Николаевной, Штольцер, обоими Кремер и мальчиком Яшей, которому доверили должность продавца в магазине. Простилась и с хозяевами дома, приютившего нас. Спустилась к реке и стала ждать баржу, которая увезет нас — снова в неизвестность.

БАРЖА НА ОБИ. Айполовский детский дом (июнь 1942 — август 1944 гг.)

Небольшая баржа, ведомая буксиром и нагруженная что называется «под завязку», причалила к Ершовке. На нее погрузили наши узлы, значительно отощавшие за зиму, а также нас с Ириной, Женю Мяги и Галю Бух. На барже уже были пассажиры: осиротевшие дети из ссыльных эстонских семей, живших на поселении в Майске.

Кое-как разместившись на ящиках и тюках, сложенных на палубе, мы поплыли, на этот раз уже вниз по течению Васюгана. По еще не опавшей весенней воде баржа двигалась споро. День был теплый, солнечный, вокруг зеленела тайга, но о таежных красотах как-то не думалось, больше беспокоили мысли о нашем предполагаемом будущем. Уже почти ночью на остановке в Огнев Яре, где тоже жили на поселении ссыльные из Риги, к нам подсадили потерявшую мать и брата мою ровесницу Эрику Менгельсон, Эдиту и Сильвию Симанис и еще кого-то, чьих имен я не помню. Все они, как и мы, направлялись в детдом.

На палубе баржи мы провели сутки, когда подошли к знакомой по прошлому году остановке Айполово. Матросы объявили, что следующая пристань — Дальний Яр, где нам предстоит выгрузка и что стоянка будет очень недолгой. Между Айполово и Дальним Яром река делала крутую излучину, которая удлиняла путь в несколько раз, в то время как по проселочной дороге между поселками было меньше одного километра. К вечеру мы достигли Дальнего Яра. На берегу баржу поджидали ребята и несколько взрослых. От группы взрослых отделился интеллигентного вида мужчина среднего роста, со слегка вьющимися волосами, в очках. Он представился директором детского дома, сказал, что все вещи отвезут на склад, ручную же кладь (ее должно быть немного) мы оставим в клубе, а сами пойдем мыться в баню, после чего нас ожидает ужин и распределение по группам-классам. Подошли и другие воспитатели, тоже представились, на телеге подъехал заведующий складом, сложил на нее наши узлы, и объяснил, что нам не стоит беспокоиться, все вещи будут храниться до того дня, когда мы будем покидать детдом. В действительности же все оказалось, конечно, не так: к тому времени, когда нас «трудоустроили» и мы покинули детдом, половины наших вещей мы не увидели, их просто разворовали.

Окрестности Дальнего Яра отличались от Ершовских, но было в них и что-то общее. По левому берегу так же зеленела тайга, ниже по течению, у излучины, виднелся крутой косогор, сложенный светло-желтым суглинком, у берега выстроились несколько добротных домов, один из них — двухэтажный.

Приезжих детей построили парами и повели в сторону клуба, к детскому дому, который состоял из нескольких построек. До клуба мы шли минут десять по сухой песчаной проселочной дороге, миновали несколько бревенчатых домов, окруженных картофельными полями. В клубе мы оставили всё, что несли с собой, и направились обратно к реке. Банно-прачечный комплекс расположился у самого берега. Встретила нас неприветливая кастелянша Зинаида Ивановна, которая провела нас в предбанник, где мы разделись. Потом вошли в просторную баню с окнами, горячей железной печкой, бочками с водой, кадушками и вениками. Банщица, радушная женщина, объяснила что и как и велела мыться. Выдали нам даже хозяйственное мыло. Так я не мылась уже более года! У Батьковой в Ершовке иногда обмывались в корыте, а тут — такое раздолье! Но после этого удовольствия меня ждало и разочарование, когда несимпатичная Зинаида, забрав мою одежду, выдала взамен ее другую,

чистую, но совершенно заношенную: стиранную-перестиранную юбку и кофту неопределенного цвета, мало мне подходившую по росту. На мое возражение, она грубо ответила, что теперь мой удел — подчиняться и быть довольной тем, что дают. Так и осталась я в этом уродливом наряде.

После ужина мы вернулись в клуб, он был открыт, на полу валялся мой рюкзачок, совершенно пустой, от всего остального тоже почти ничего не осталось. Кто-то, пока мы мылись, учинил здесь настоящий разгром. Расстроенная, я отправилась в указанное мне помещение, где предстояло жить. После Ершовки здесь было даже совсем неплохо. В коридоре меня встретила «няня» (почему-то в детдоме всех уборщиц, сторожих, поваров называли нянями) и воскликнула: «Новенькая, в какой класс?». Я ответила, она открыла дверь в одну из комнат и показала мою койку: «Вот твое место, располагайся!», — и ушла. Комната небольшая, угловая, три окна, на подоконниках герань, три железные кровати, одна из которых теперь стала моей, вешалка, две тумбочки, стул — вот и вся обстановка.

Дом, в котором мы поселились, не был похож на избу. Он представлял собой прямоугольное бревенчатое здание, внутри него по всей длине шел коридор шириной метра два, заканчивавшийся окном, поэтому днем в нем было относительно светло. По обе стороны коридора располагались комнаты общежития, а между ними чуть выступали из стен обычные печи. В конце коридора был длинный умывальник, который летом выносили во двор. В тридцати метрах от здания располагался туалет, отдельный для мальчиков и для девочек. На моей, уже застеленной койке лежала одна простыня, ватная подушка и байковое одеяло. По сравнению с тем, в каких условиях мы жили весь прошедший год, все было вполне приемлемо.

Вскоре подошли две девочки, с которыми мне предстояло жить и общаться два года. Первая — Валя, худенькая, востроносенькая, остриженная наголо (месяца два назад она чем-то переболела). В своем сером платье она была похожа на мышку. Вторую девочку звали Тамара, моя тезка. Крупная, с черными, чуть вьющимися волосами и довольно грубыми чертами лица, которые как бы подчеркивались ее чуть хрипловатым голосом. Обе, как выяснилось, тоже должны пойти в шестой класс, и пока нас, шестиклассниц, было всего трое.

Мою сестру Иру определили к четвероклассникам, и видеться нам теперь приходилось довольно редко. Кроме того, в детдоме почему-то возбранялось общаться с детьми из других групп, и если я хотела увидеть сестру, мне надо было заручиться разрешением воспитательницы. Впрочем мы научились обходить эти запреты и встречались тайком.

Знакомство с Валею и Тамарой прошло без каких-либо эмоций. Девочки между собой дружили, я же с ними просто общалась, как с соседками по комнате, группе и классу. Воспитатели относились к нам неплохо, но они очень часто менялись, поэтому не очень

запомнились. Функции у них были простые: объявить подъем, всех построить и отвести на завтрак, обед или ужин и проследить, чтобы все были на местах. В общежитии жили девочки и мальчики шестых и седьмых классов, то есть старшеклассники. Дети из младших классов, начиная с первого, располагались в других помещениях, разбросанных по просторному двору детдома. Дошколята жили совсем отдельно, у них была своя воспитательница, и мы с ними не общались, да это и не одобрялось. К вечеру здание, в котором меня поселили заполнилось подростками. В комнату для мальчиков поселили Женю Мяги, а вот моих однолеток Эрику Мендельсон и Эдит Симанис определили в младшие классы, так как они не знали русского языка. Думаю, им там приходилось очень несладко, потому что младших селили в огромные помещения, чуть ли не по 25-30 человек, да и «контингент» был иной.

Первую ночь на новом месте я проспала крепким сном: масса новых впечатлений, сутки дороги и тревожный ночлег на открытой палубе баржи отняли немало сил.

Утром, около половины восьмого, меня разбудили требовательный голос воспитательницы и звуки гонга со двора. Спросонья я не сразу сообразила, где нахожусь. На душе стало вдруг тоскливо от всего, и от строгой дисциплины, к которой я не очень привыкла, в особенности.

Нас снова построили парами и повели на завтрак в столовую, которая находилась недалеко от реки в так называемом административном корпусе. Рядом располагались детдомовский склад (куда свезли наши вещи) и двухэтажное здание, где разместились директор, бухгалтерия и прочий административный персонал. Тут же находились швейная и столярная мастерские. Рядом был большой четырехкомнатный дом, в котором первоначально жили семьи завуча и заведующей швейной мастерской, а позднее поселился новый директор.

После завтрака девочек пятого и шестого классов, в том числе и меня, повели в швейную мастерскую, где нам надо было чинить одежду воспитанников, ее грудями приносили из прачечной, просматривали и по необходимости ставили латки. Одежда была страшненькая, но ведь — война!..

Заведовала швейной мастерской Марья Ивановна, властная, малообразованная и плохо воспитанная женщина, жена местного администратора. Ее помощницей оказалась Домна Артамоновна, совсем другой человек — мягкая, неуверенная в себе. Она, как я впоследствии узнала, была из ссыльных: муж был расстрелян, а ей определили «вечное поселение».

Меня посадили за швейную машинку. Работа была примитивная — сажать латки на одежду воспитанников, — но у меня не ладилась: не было у меня способностей ни к шитью, ни к рукоделию. Да и желания особого тоже... Но Домна Артамоновна, как могла, объяснила и показала что и как надо делать, и вдруг что-то начало получаться.

Все воспитанники детдома после завтрака и «тихого часа» ходили на какие-нибудь работы: окучивать картофель, чистить на кухне к обеду и ужину овощи, поливать детдомовский огород и т. д. Слоняться без дела не давали. К осени работы прибавилось: мы и лен дергали, и сено в копны складывали, и картофель копали...

За лето я познакомилась с окрестностями. Дальний Яр, как и Ершовка, Огнев Яр, Медведка и другие васюганские селения был построен в тридцатые годы пригнанными сюда из южной части Сибири и Алтайского края раскулаченными крестьянами, судьбу которых тоже определяли голод, холод, болезни и очень высокая смертность. Но, по сравнению с Ершовкой, зажатой между болотами, Дальний Яр был построен на месте выкорчеванного соснового леса, который местами уже вновь поднимался. Менее чем в километре от поселка возвышались так называемые увалы — холмы, на которых когда-то росли могучие леса, почти все вырубленные. Нянечки нам рассказывали, как они рубили и очищали от веток деревья, а потом на себе тащили бревна к стройплощадкам. Именно так были построены все дома детского дома.

На вырубках и полянках, среди пней, багульника и зарослей кустарника, созрела земляника, и за ней ходили все детдомовские ребята, в том числе и я успела кружку ягод набрать. А какая красота была вокруг, сухо и комаров почти нет. Можно встретить шустрюю белочку, очень смешного зверька — бурундука, у которого на спине пять черных полосок. Нас детей он не боялся, подходил совсем близко, видно, ему было любопытно, что мы тут делаем. А какие запахи! Багульник, вереск и что-то еще таинственное и волшебное...

Как-то на увалах случился пожар, это было страшное зрелище, но набежали тучи, принесли дождь, и пожар потух.

За малиной ходили на косогор около реки. Часть его была распахана под какие-то сельхозкультуры, но на опушке леса росла сочная лесная ягода.

Чернику, а ее было очень много, надо было собирать в болотистой тайге, где одолевали тучи комаров и мошки. Туда я ходила всего лишь один раз.

Почти рядом с Дальним Яром был поселок Айполово — старинное остяцкое селение. Жили там и русские крестьяне. В Айполово мы ходили в школу, через все тот же сосновый лесок.

Как я уже рассказывала, нас поднимали в половине восьмого и после утренней уборки все шли на завтрак, который состоял из кружки чая — сладковатого напитка, чем-нибудь покрашенного, и двухсот граммов черного хлеба. Всеми особенно ценилась его горбушка. Конечно, это было далеко не обильно, но зато — ежедневно. В час дня собирались на обед, который всегда состоял из двух блюд. На первое — какой-нибудь жидкий суп с овощами,

иногда с вермишелью, мясо в нем тоже бывало, но... около двух килограммов на 180 ртов. На второе подавали по поварешке мучной затирухи, или тушеную морковь, капусту, зимой всегда подмороженную. Хлеба в обед и ужин выделялось уже всего по сто граммов на человека. Полной сытости такой обед не давал, и когда мы выходили из-за стола, казалось, что кушать еще больше хочется, и мы сразу же начинали ждать ужин. На ужин нам выставлялось опять какое-нибудь второе и сто граммов хлеба, редко — по стакану молока, иногда по шесть-семь оладушек, что казалось совсем большим праздником. Ощущение голода ощущалось всегда, но от полного истощения мы были, к счастью, ограждены.

За два года моего пребывания в детдоме от голода не погиб ни один из воспитанников. Умерли трое детей местных остяков, но их подкосил туберкулез, который издавна стал злым спутником коренного населения этого края.

Было заведено у детского дома и подсобное хозяйство, продукты с которого частично попадали и в нашу столовую. Я не знаю, сколько в нем было коров, но помню краснощекую, всегда улыбающуюся доярку — высланную немку. Она в чистом белом халате и такой же косынке шумно входила в кухню, заноса ведра с молоком, но почему-то это случалось не ежедневно. Молоком забеливали чай, на нем варили каши и иногда давали по стакану в чистом виде.

При детдоме были свои огороды и картофельные поля, урожай с которых осенью убирали сами дети —привольное время, когда жгли костры, грелись у них и пекли картошку — это никак не возбранялось. Зимой из ближайшего колхоза привозили-ли кормовую морковь и, как правило, уже подмороженную капусту.

Большим лакомством считался овсяной кисель. Овес выписывали для лошадей, но администрация умудрялась выделять какую-то его часть и для детского питания. На советские праздники — октябрьские или Первомайские, а также к Новому году — из сэкономленных на повседневных пайках продуктов для детей пекли пироги и шанежки. Повара, как добрые волшебники, доставали из огромной русской печи великое множество разной сдобы — с капустой, картофелем, просто булочки — с повидлом или без него. Пекли все это роскошество из пшеничной и ржаной муки, и столько, что два-три дня все дети были по-настоящему сыты. До следующего праздника.

Детдомовские будни продолжались и я ко многому привыкла: и к тому, что летом очень докучали оводы и комары, что у меня не было никакой обуви, и приходилось ходить босиком до самой осени. Очень удручало отсутствие книг. В заброшенном клубном шкафу мне как-то посчастливилось найти прекрасно изданную, с фотографиями и иллюстрациями, книгу о папанинцах и их работе на станции «Северный полюс». Находка эта была для меня очень дорогой, я ведь с девяти-десяти лет интересовалась Севером. Я положила книгу в свою

тумбочку, но однажды, войдя в комнату вижу: тумбочка раскрыта, книга на полу, и девочка по фамилии Акользина из нее вырезает картинки. От такого вандализма я пришла в ужас, а Акользина посмеивается и радуется: сделаю красивый плакат. А книгу уже больше невозможно было читать.

Много еще случалось таких неприятных и непривычных мелочей, но приходилось мириться.

В конце лета девочек пятого и шестого классов, в том числе и меня, отправили на уборку льна. Поселили в полевой избе, без каких-либо удобств, на нарах. По утрам воспитательница поднимала всех и мы выходили дергать лен. Работа была непривычной и оказалась трудной. Я изрезала в кровь все пальцы, а девочки смеются — мол, привыкай! К счастью, командировка эта длилась всего неделю, и мы вернулись в детдом.

Близилась осень, вниз по реке уходили последние баржи, катера и курсирующий здесь белый колесный пароходик. На одном из последних рейсов увезли призванных на фронт директора и заведующего складом. Последний с фронта вернулся, а вот директору не повезло: он попал в эшелон, который немцы разбомбили в прифронтной полосе. Мы его очень жалели: хороший и порядочный был человек

Тогда же увезли «на трудоустройство» несколько детдомовцев, достигших 16—17 лет. Среди них оказалась и Таня Дорошенко, помощница и любимица поварихи няни Фени. После отплытия того парохода в детдоме вдруг стало удивительно тихо, как будто все вымерло. Я в ожидании ужина оказалась возле кухни. Неожиданно на ее крыльце показалась няня Феня, главный повар детдома, высокая, худая, с большими ногами, вся какая-то нескладная, но очень требовательная, строгая, разборчивая, порой шумная и крикливая, но в то же время — добрая, любимица всех детей. Ее и побаивались, и обожали. Заслужить у нее похвалу и ласку означало многое. Говорила она с сильным украинским акцентом и в ее речи было много украинских слов. Я услышала громкий голос няни Фени: «А что ты тут делаешь, у меня ужин опаздывает, всех помощников на пароходе увезли, так хоть ты иди помоги!». Не ослышалась ли я — работать на кухне было мечтой каждого детдомовца. Я не заставила себя ждать, пошла следом за няней Феней, быстро надела чистый белый халат и стала выполнять ее указания. Моя работа пришлась поварихе по душе: девочка я была расторопная, аккуратная и сообразительная. Няня Феня усадила меня за кухонный стол, налила стакан молока, дала кусочек масла на мой хлебный паек и полную миску того, что было на ужин. Ох, как я наелась тогда, как все было вкусно! Больше года, не пробовала масло!

Няня Феня обо многом меня расспросила, сказала, что все понимает, что и ее выслали сюда в 33-м, а на прощание попросила меня придти утром. Я такого теплого к себе отношения не испытывала давно. Конечно, утром пришла, а няня Феня договорилась с администрацией, чтобы меня назначили постоянной помощницей. Я тоже была довольна, так как понимала, что

работая на кухне всегда буду относительно сыта. Но работа оказалась не из легких. Надо было из колодца натаскать воду, помогать при готовке пищи, мыть котлы. Очень важно было точно нарезать и взвесить каждую пайку хлеба, а их было около ста семидесяти. Однако довольно скоро я приспособилась и выполняла свою работу довольно споро. Это, конечно, не латки садить на старую одежду. А жить стало сытнее. Правда, среди моих сверстников нашлись и завистники, но что делать! Жизнь везде жизнь.

После отъезда директора замещать его в детдоме стала завуч Матрена Графовна, видная, похожая на армянку смуглая женщина средних лет. Была она очень высокомерна, и не только с воспитанниками, но и с подчиненными ей воспитателями. Жила она в половине пятистенного дома у самой реки, ее соседкой была заведующая швейной мастерской, которая вместе с семьей последним в эту навигацию пароходом покинула Дальний Яр. Мне надменная Матрена запомнилась тем, что на складе взяла себе из наших с сестрой вещей серебристую лисицу нашей мамы, и, не стесняясь, стала в ней щеголять. Я не смолчала, но лисица на склад не вернулась, однако полагаю, что это стало одной из причин того, что Графовну скоро уволил новый директор, появившийся в детдоме в ноябре 1942 года.

Незаметно накатила осень, и, как всегда, первого сентября начались занятия в школе. Я попала во вторую смену. Шестиклассников из детдома оказалось всего восемь — три девочки и пять мальчиков. Остальные ученики были из поселков. Эрика Менгельсон, хотя и была старше меня на год, из-за слабого знания русского языка пошла лишь в четвертый класс.

Школа представляла собой новое бревенчатое здание, построенное в виде буквы Г. Вокруг него — небольшой двор, окруженный лесом. Здесь школу отапливали нормально, мерзнуть не приходилось. Учителя были разные. Историю преподавала директор школы Берестовская, ее уроки проходили бесцветно, а вот занятия по литературе и русскому языку вел Александр Иванович Жуков. Это был Учитель с большой буквы, уроки которого запомнились на всю жизнь. К сожалению, его очень скоро мобилизовали в трудармию¹. Что это такое, знал тогда каждый. Александра Ивановича сменила учительница Панова, которая ничем не запомнилась. В списке учебных предметов у нас отсутствовали иностранный язык, черчение, рисование, пение и гимнастика, зато было военное дело, где занятия проводил малообразованный военрук, инвалид войны. Впрочем, управляться с гранатой он меня научил. Интереснее обстояло дело с алгеброй, геометрией, физикой, географией, естествознанием и впоследствии с химией. В августе 1942 года в поселке появилась необычная для здешней глухомани пара. Он был лет тридцати пяти—сорока, высокий, в городском коричневом костюме, она — значительно моложе, в синем костюме. Видели их всегда только вместе. Поползли слухи: кто такие? откуда? Затем я, по тем же слухам, узнала, что будущие наши учителя бежали из горящего Харькова, когда в него уже входили немцы,

оба они были из Харьковского университета, где он преподавал, а она была студенткой-дипломницей. Почему их занесло в Васюганье, где беженцев не было, лишь одни ссыльные, было тайной и осталось тайной. Милая интеллигентная пара стала учителями. Как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло. И он, и она преподавали доступно и интересно. С учебниками было трудно, но шестиклассники-детдомовцы обходились, так как жили в одном здании и могли обмениваться ими. Я в учебу втянулась быстро, вошла, как говорится, в колею.

Зимой рано темнеет, электричества в школе не было, поэтому последние уроки второй смены проходили в темноте, но иногда приносили коптилку — пузырек с керосином, в который был опущен фитиль. В общежитии вечерами мы садились у открытой печки и, ловя свет от пламени, готовили заданные уроки, если не переносили их приготовление на утро. Итак, новая школа, шестой класс, новые учителя и вообще — всё новое для меня. Благодаря удивительному учителю очень хорошо пошли алгебра и геометрия...

Кухню, однако, не бросала: няня Феня просила, чтобы я приходила ей на помощь. Теперь, если надо было работать с утра, приходилось вставать раньше шести и трудиться до обеда, когда же наша смена приходилась на вечер, я бежала на кухню уже после школы.

Кухня и столовая все военные годы были самым привлекательным местом для детдомовцев. В лето-зиму 1942 года там даже существовал определенный порядок, который с приходом нового директора изменился. На кухню в определенной очередности назначались дежурные и несколько воспитанников для того, чтобы напилить и наколоть дрова, почистить картофель.

Возглавляла кухонное хозяйство все та же няня Феня. Она сильно страдала от язвы желудка и впоследствии легла на операцию, после которой на работу в детдом уже не вернулась. Ее «ушли», но об этом ниже.

Помощницей няни Фени, вернее — вторым поваром, работала няня Маруся, которая жила в том же общежитии, где поселили нас. В малюсенькой комнате площадью 5—6 квадратных метров жили трое: Марусина сестра, которая убирала общежитие, сама няня Маруся и ее сын Алик трех-четырёх лет от роду. Мы с няней Марусей нашли общий язык, она тоже меня предпочитала другим помощникам, ее устраивала и моя готовность работать в удобные для нее смены.

Работая в кухне, я многому научилась: правильно и быстро готовить, вести хозяйство. Приучили меня и к чистоте.

Как тогда водилось, 7—8 ноября был праздник и в честь него в заброшенном клубе навели порядок и собрали воспитанников на доклад и концерт, где я тогда впервые услышала песни «Синенький скромный платочек» и «Крутится, вертится шар голубой». Это был мой первый

советский праздник, потом их было много. Он мне хорошо запомнился, потому что за хорошую учебу мне вручили подарок — батист на блузку.

Пришла зима и с нею морозы, а одета я была по-прежнему в мамино плюшевое пальто, бабушкин вязаный платок. Но вот удача: выдали, наконец, валенки! И хотя я в них утонула, они были не то 43-го, не то 44-го размера, но ноги теперь были в тепле. Не помню по какой причине нас, троих шестиклассников, вдруг объединили с большой группой пятиклассников и заставили перейти в другое помещение, громадное и холодное, где разместилось не менее тридцати воспитанников. Про уют пришлось забыть, здесь не было даже стола, чтобы готовить уроки. Шум, гам, ссоры девочек, постоянный холод и страшный туалет, один на три здания, в которых жили дети. Все это отозвалось во мне тяжелой болезнью. Она пришла постепенно: пожелтели ногти, глазные яблоки, кожа... Потом совершенно пропал аппетит. Началась лихорадка, меня трясло, я окончательно слегла.

Врача в детдоме не было, только фельдшерица. Почему-то она не положила меня в свой изолятор (одна комната на четыре койки), а оставила трястись от лихорадки и погибать в этой громадной, шумной и холодной комнате. От еды я отказалась совсем. Сочувствующие мне девочки собрали матрацы и пытались как-то утеплить меня, но тщетно: дело принимало скверный оборот. Фельдшерица принесла какую-то соль и заставила ее пить. Обеспокоились и повара — через девочек посылали мне морковь, уверяя, что надо ее есть, хотя бы и через силу. Болела я долго, но и на этот раз мой ангел-хранитель не дремал, начала понемногу поправляться. Так я и не узнала, что это было — желтуха или попали вместе с васюганской водой в меня какие-то паразиты... Но еще много лет печень не давала про себя забыть, стоило только съесть что-то жирное, молочное или просто обильно поесть.

За время болезни я немного поотстала в учебе, но быстро освоилась

училась снова хорошо. Через какое-то время смогла и помогать на кухне, где мне уже доверяли и кладовую, и склад продуктов. Поварихи объяснили: «Сильную всегда найдем, а вот честную — труднее!».

Но в ту же зиму меня поджидала еще одна беда.

Контингент детдомовцев был очень пестрым. В основном это были дети репрессированных в разные годы сталинских пятилеток кулаков и других «неблагонадежных элементов». Но были и дети уголовных преступников. Они во многом задавали тон и их побаивались. Это они заставляли малышей выносить из столовой хлебную пайку и отдавать ее им. Воспитатели бороться с этим злом не умели. Иногда за малышей вступались мальчишки старших групп, которые действовали силой — просто колотили хулиганов. Но это помогало ненадолго. К

сожалению, такие типы не поддаются никакому воспитательному воздействию. Особенно неприятен был Акользин, его сестра-воровка мало в чем ему уступала.

Однажды, когда я дежурила на кухне, няня Феня, мучаясь от приступов язвы, где-то уединилась.

У нас существовал порядок: если после раздачи основных порций суп в котле еще оставался, его выносили в столовую и разливали поварешкой добавку. Среди детдомовцев это обычно вызывало ажиотаж: «Мне, мне!», — кричали со всех сторон. Задача была непростая, так как наиболее шустрые старались получить дополнительно не одну порцию, а побольше, оставляя таким образом другие столы без вожделенных добавок.

Так случилось и на сей раз. Я вышла в столовую с добавкой. За первым столом сидели самые хулиганистые мальчишки. Стала разливать и вижу: прячут уже полученную порцию под стол и требуют еще, в другую миску. Я понимаю, что если стану попустительствовать, то на последние столы мне супа не хватит. И решила поступать принципиально: не дала Акользину ни вторую, ни третью добавку. И этот юный злодей решил мне отомстить.

Обед закончился, в кухне было еще много работы, так как кроме меня там никого не оказалось. Взялась за самую трудную и неприятную свою обязанность — мыть котлы, вмазанные в печь, и не заметила, как вошел Акользин. Он тихо подкрался и ударил меня с такой силой, что я отлетела не несколько метров и ударилась правой рукой о стену. Боль в запястье была такая, что в глазах потемнело. Акользин же, довольный, ушел: отомстил. Не помню, как я добралась до общежития. Фельдшерица нашла, что у меня сильное растяжение мышцы, но ничем не помогла. А я тогда всю ночь не спала, а потом рука больше месяца болела и ныла, ни писать, ни что-либо делать я не могла.

А няне Фене было все хуже, и когда ее мучила язва, она забивалась в кладовку, ложилась там и стонала от боли. В таких случаях вся работа доставалась мне.

Однажды, именно в такое мое дежурство в кухню пришла старший воспитатель Вера Павловна и сообщила, что завтра комиссия будет проверять количество продуктов, закладываемых в котел, и чтобы я ничего не готовила до их прихода. На второе предполагалось готовить знаменитую затируху: из муки, замешанной на воде, делают мелкие комочки, которые бросаются в кипяток. Получалось что-то вроде сваренной лапши. Во время

войны это было большое лакомство.

Наступило завтра, я опять одна готовлю обед, а он обязательно должен быть точно в тринадцать ноль-ноль. Смотрю на часы — уже двенадцать. Если я и сейчас не начну, то никак не успею к назначенному времени.

А комиссии все нет. И я решила, что сегодня ее уже и не будет. Не подумала, в каком государстве я живу и что время военное. Подождав еще чуть-чуть, взялась за муку, засыпала ее в корыто и стала обрызгивать водой и втирать ее в муку. Сколько вылила в то корыто воды, не заметила.

Вдруг дверь в кухню открывается и входит комиссия из пяти-шести воспитателей во главе с Верой Павловной. На грозный окрик «Я же предупредила — ничего не трогать!», — я ответила, что время не позволяет больше ждать. Тогда Вера Павловна потребовала собрать все содержимое из корыта в какую-то более удобную посуду, взяла весы-безмен и стала взвешивать, при этом потребовала показать, сколько было влито воды. К сожалению, я не помнила, сколько точно ее влила, делала это на глаз. Тогда Вера Павловна заявила, что не хватает примерно полтора-два килограмма муки. Начался унижительный допрос. Я встала на защиту няни Фени, рассказав, как она больна. Но комиссия все же составила акт о том, что обнаружена недостача. Не знаю, что там было дальше, но дело получило ход. Думаю, что все это было грубой провокацией.

Скоро няня Феня вынуждена была уехать домой в Новый Васюган и лечь в больницу. Там ей сделали операцию. На работу в наш детский дом она не вернулась. В конце лета она появилась, вызвала меня во двор и, вынув из сумки несколько десятков завернутых в тряпицу новых ложек, какими мы пользовались в детдоме, попросила положить их незаметно в посудную. Объяснила, что дети часто крадут ложки (такое, действительно, случалось: со склада получали миски, ложки, другую посуду, но проходило совсем немного времени и их как не бывало. Няни ссылались на детей, мол, они растаскивают. Но я никогда в общежитии посуду не видела, странно все это было как-то), а она сдает дела и неизбежна проверка. Отказать ей я не могла.

Няня Феня уехала, но столовая работать не перестала. Через какое-то время, с появлением нового директора, там многое изменилось. На кухне появились новые повара, в том числе и сестра самого директора.

Как-то, уже весной, меня пригласили в контору детдома. Я почему-то заволновалась. Предчувствие меня не подвело: в отдельном кабинете сидел мужчина (что это следовательно я догадалась потом), который стал меня допрашивать по пунктам акта, составленного воспитателями за недостачу муки в тот злополучный день. Я сообразила, что мне надо

отрицать пропажу муки и попытаться объяснить, что виновата лишь в том, что не могла определить точное количество залитой в муку воды. Следователь же склонял меня к обратному. Допрос был долгим, но я понимала, что малейшее слово, неправильно мною сказанное, погубит няню Феню, и стойко держалась своей версии.

Можно было бы на этом и закончить, но ходили слухи, что в Новом Васюгане у няни Фени были большие неприятности.

В июле 1944 года группу старших детдомовцев, в том числе и меня, отправили в Новый Васюган для получения удостоверения личности. Паспорт даже детям спецпереселенцев не полагался, чтобы не сбежали из мест ссылки. Мы шли пешком по темной тропинке, дважды на лодке пересекали реку и к вечеру оказались в районном центре, голодные (паек съели в дороге) и смертельно усталые. На ночь нас определили в школе, в пустом классе.

Я надеялась, что в Новом Васюгане смогу увидеть Нину Николаевну Казацкую и няню Феню, и решила их разыскать. Но надо было поторапливаться, потому что уже на следующий день, сразу после полудня, нам предстоял обратный путь — все те же двадцать километров.

Поселок был невелик, и я скоро уже знала адреса своих старых знакомых.

Сначала отправилась к Нине Николаевне, быстро нашла дом, в котором она жила и увидела ее, идущую с работы. За прошедшие два года она страшно изменилась и превратилась в сгорбленную старуху, одетую в стеганку, из всех дыр которой торчали куски грязно-желтой ваты. Меня она узнала, мы вошли в горницу, в которой она занимала угол. Здесь проживало несколько человек ссыльных, но в этот момент никого из них дома не оказалось. Я поразились ветхости и убогости жилья. На чем люди спали, на чем ели, сидели? Ни кроватей, ни топчанов, ни табуреток, ни скамеек, ни стола — ничего, только в углах кучки какого-то невообразимого тряпья. Я присела на край чего-то в углу Нины Николаевны, она устроилась напротив, тоже на что-то чудовищно ветхое. Разговор не клеился. Нина Николаевна рассказала, что в Новом Васюгане она уже больше года, что нашелся ее муж, он жив, но где и что с ним — не сказала. А ведь он был вместе с моим папой! Сообщила, что госпожа Штольцер умерла, и в Ершовке из рижан никого не осталось. Потом откуда-то достала миску с едой и стала есть, не обращая больше на меня внимания. Поняв, что наша встреча ей неприятна и неинтересна, я простилась и ушла. На улице еле отдышалась после всего увиденного и услышанного.

Впоследствии я узнала, что Нина Николаевна не дождалась своего супруга, скончалась, а он каким-то чудом выжил в Усольяге, получил ссылку и поехал в Новый Васюган к жене, но уже не застал ее в живых и в 1948 году оказался в Риге. Что с ним было дальше, к сожалению, не знаю.

А я в тот же вечер, придя в себя после встречи с явно потерявшей рассудок Ниной Николаевной, направилась к няне Фене, где меня ждало ещё одно горькое разочарование.

Я ожидала, что мы встретимся как старые друзья, но няня Феня, увидев меня на пороге, очень сухо поздоровалась, спросила какими судьбами я здесь появилась и даже не пригласила к столу, где дымились только что испеченные оладьи, от запаха которых сразу же засосало под ложечкой. Я от такого прохладного приема почувствовала себя очень неловко, сказала, что уже поздно и как бы мне не заблудиться в незнакомом месте, извинилась и тут же собралась уйти. Няня Феня меня не задерживала и поторопилась закрыть за мною дверь.

Оказавшись на улице, я долго стояла, облокотившись о какой-то забор, и с горечью думала: почему это все так получилось? К месту нашего ночлега я подошла уже в сумерках, все мои однокашники уже спали.

После долгих размышлений, проанализировав все слухи, которые ходили по Айполовскому детдому, я поняла, что сухость и нелюбезность няни Фени была связана с тем роковым допросом, который учинил мне следователь больше года тому назад. Ее, конечно же, тоже допрашивали, возможно, она и в тюрьме побывала, пока собирали улики, и наверняка следователь ссылаясь на меня и говорил, что я выступила против нее. Конечно, в таком случае после всего пережитого, не зная правды, она не могла отнестись ко мне иначе.

Я уже упоминала о том, что поздней осенью, а может быть и в начале зимы 1943 года в детдоме появился новый директор. Он привез с собой многочисленное семейство: супругу, троих детей и сестру. Это был типичный чиновник-чекист сталинской эпохи. Выше среднего роста, широкоплечий, но не полный, со слегка вьющимися русыми волосами, довольно правильными чертами лица, взглядом жестким и неприятным. Был он немногословен, выговаривал слова четко, отрывисто, словно команды отдавал. Сразу же по его прибытии в детдоме появилось много изменений. В первую очередь они коснулись кухни. Уволены были оба повара, к которым мы все привыкли и даже успели полюбить: няня Феня уехала в Новый Васюган, а няне Марусе, про которую я уже тоже рассказывала, пришлось пилить и возить дрова для детдома, а крепким здоровьем она не отличалась.

Вместо двух было назначено три повара — старший и два ведущих. Причем старшим назначили жену мобилизованного в трудармию учителя словесности Жукова, а одной из ведущих оказалась сестра директора Зинаида, по характеру весьма добродушная баба.

По указанию директора столовую перестроили: огромное холодное и неудобное помещение уменьшили вдвое, в результате чего оно стало уютнее, теплее и опрятнее. Вместо длинных столов и скамеек поставили новые квадратные столики со стульями. Перед входом теперь была раздевалка, где можно было оставить верхнюю одежду. Эти новшества всем пришлось

по душе. Но вот питания, к сожалению, больше не стало, скорее — наоборот. Потом пошли другие изменения: открыли новую, в другом здании, швейную мастерскую, которую возглавила ссыльная эстонка, большая мастерица. Два раза в неделю по два-три часа мы все ходили к ней на обучение, и теперь уже не латки сажать, а постигать премудрости кройки и шитья. Учила эта женщина очень хорошо, но, увы, интереса к своей профессии, она во мне возбудить так и не смогла. Более того, я всеми способами старалась эти занятия пропускать.

Однажды, увидев моё, с мамино плеча, плюшевое пальто, мастерица взялась его перешить. И я неожиданно получила не новое, но вполне красивое пальто, которое к тому же было утеплено. Моей благодарности не было границ. Этот эпизод заметно поднял мое настроение.

Летом 1943 года в Айполово на пароходе «Тара» (так называется приток Иртыша) привезли воспитанников расформированного где-то детского дома. Их было около ста человек. Вместе с ними прибыло несколько воспитателей. Среди новеньких оказалось немало воришек и хулиганов, что серьезно взволновало не только сотрудников нашего детдома, но и его воспитанников, так как и своих неисправимых в Айполово нам хватало. Их было немного, но мы хоть знали их всех...

Новеньких разместили по возрастным группам и классам. У будущих семиклассников прибавилось две девочки — Валя Полякова, скромная, тихая, старавшаяся ничем не выделяться, и рослая, худая и рыжая Жанна Незнамова, в противоположность Вале, — разбитная, ехидная, завистливая и злая.

После трудоустройства и отъезда прошлогодних семиклассниц — Нюры Дорошенко, Клары Ворошиловой, Жени Поповой, Инны Гладильщиковой и других, нас, новых семиклассников, перевели в барак, где я жила летом и осенью 1942 года, но в другую комнату, побольше, так как теперь нас стало пятеро.

В нашей группе появилась новая воспитательница, прибывшая вместе с новыми воспитанниками, — симпатичная, всегда улыбающаяся Пана Андреевна, совсем недавно окончившая педучилище. Где бы мы ни были, она всегда заряжала нас бодрым настроением, ее сразу полюбили и девочки, и мальчики за неувядающий оптимизм. С нею у нас все спорилось.

Летом меня, как примерную ученицу и воспитанницу, назначили помощником воспитателя в младшие группы. Это считалось большой честью и налагало серьезную ответственность. Дали мне группу из шести-семи девочек, все маленькие, худенькие и беспомощные. Они так нуждались в ласке, что при моем появлении сразу же тесно прижимались ко мне и просили поцеловать. Одну поцелуешь, другие тут же, как птенцы: «А меня!.. А меня!..». Было их всех очень жалко, но я терялась: как их воспитывать, никто меня не научил, все должна была

делать сама, а было-то мне всего пятнадцать лет, и маму потеряла всего два неполных года назад. Были бы книги, но их-то как раз, к огромному сожалению, так не доставало. Я напрягала память, вспоминала прочитанное еще в Риге и рассказывала своим девчускам про дальние страны, чем сразу завоевала их расположение. Они садились в кружок и слушали меня, затаив дыхание.

Однажды случилось: оказалась у берега свободная лодка. Не долго думая, я посадила в нее всех своих девочек. Мы перебрались на другой берег, день был по-сибирски жаркий. Над нами летали огромные оводы, все время приходилось от них отмахиваться, и чтобы хоть немного отдохнуть от этой вынужденной гимнастики, я разрешила всем девочкам искупаться. Дети вошли в воду по пояс, не глубже, а я решила немного поплавать. Вдруг слышу: «Ася тонет! Ася тонет!» В мгновение ока я очутилась около Аси, которая бессильно раскинув тоненькие ручки, то поднималась, то опускалась в воде. Схватив ее на руки, вынесла на берег и осторожно положила на траву. Девочка скоро пришла в себя и не совсем понимала, что с нею произошло. Ведь там, где Ася стояла, было неглубоко, но, видимо, от слабости из-за бесконечного голодания и резкой смены температур — от жары на берегу к прохладной речной воде, ей вдруг стало дурно. Этот эпизод послужил для меня серьезным уроком.

Ближе к осени меня, как и всех воспитанников, под руководством Паны Андреевны послали на полевые работы в подсобное хозяйство детского дома. Мы вязали снопы, потом убрали сено, которое тут же укладывали на волокуши, представлявшие собой огромный веник из разлапистых сучьев с листьями, привязанный к лошадиной упряжи. Так вот, на этот «веник» мы наваливали сено, и лошадь тащила его как сани. Удобный вид транспорта — одна волокуша сносится, вяжут тут же другую. Лето стояло удивительно жаркое, мучили оводы, все время хотелось пить, руки были расчесаны до крови. Но и это я выдержала.

Опять незаметно подкралась осень, вновь — школа, седьмой класс, последний. По окончании его нас всех, семиклассников, отправят «на трудоустройство».

Выпускной класс требовал настойчивых занятий, тем более что учитель математики и физики спуску нам не давал. Но я любила его уроки.

Помимо школы я продолжала выполнять свои обязанности на кухне, где были большие изменения — новые повара, новые требования. Отчасти стало легче, потому что на кухню стали больше привлекать воспитанников-дежурных. Но все равно я очень уставала.

И эта зима не обошла меня болезнью: иногда у меня вдруг резко поднималась температура до 39.С и даже выше. Она, правда, скоро опускалась, но при этом наступал такой упадок сил,

что я не могла подняться. Фельдшерица не умела понять причин моей хвори и, в сущности, оставила всё на самотек.

Однажды директор, делая обход помещений общежития, застал меня, больную, в постели, и заявил, что я симулянтка. При этом он прекрасно знал, что я лучшая ученица в своем классе. Таков он был человек — не верил никому. Иногда я задумывалась: а себе-то он верит?

Где-то в середине зимы в детдоме объявилась медицинская комиссия, основной задачей которой, как мне показалось, было уточнение возраста воспитанников. Когда подошла моя очередь, я назвала день, месяц и год своего рождения, но медики решили мне «не поверить»: день и месяц оставили, а вот годик один прибавили. Я пыталась возмутиться, но в ответ услышала: «Нам лучше знать год вашего рождения, не обманывайте». Видимо такова была установка, чтобы побыстрее нас «трудоустроить».

Большой бедой этого края была трахома. И вот для ее выявления и профилактики нагрянула к нам еще одна медкомиссия. Она обследовала всех и вдруг выявила эту заразу чуть ли не у каждого третьего. Меня тоже пригласили к врачу, объявили, что что-то нашли, и назначили очень тяжелое лечение: раствором медного купороса и азотнокислого серебра смазывали внутренние части век. После такой «процедуры» резь и боль в глазах начиналась страшная, веки воспалялись, но я терпеливо переносила эту экзекуцию, поверив убедительным уверениям эскулапов о том, что если не буду лечиться, то мне грозят тяжелые последствия. И я стоически вытерпела весь курс предписанного лечения. А в итоге получила хронический конъюнктивит.

Большую группу детдомовцев признали уже больными трахомой и назначили им лечение в специальном детском доме. С началом навигации их всех увезли. Но каково же было наше удивление, когда спустя полтора-два месяца все эти ребята вернулись: оказалось, что никакого заболевания у них нет, диагноз оказался ошибочным. Но кому тогда было дело до степени страдания этих детей, и без того обиженных судьбой?

Однажды совершенно неожиданно меня вызвала к себе директор школы. Я была озадачена — к чему бы это? С учебой у меня вроде все было ладно, да и с дисциплиной тоже... Вся в тревожном ожидании, переступила я порог директорского кабинета. Директор Берестовская плотно прикрыла за мной дверь, села за свой письменный стол и неторопливо достала из его выдвижного ящика небольшой сверток. Когда она его развернула и протянула мне, я ахнула от изумления и ощущения откуда-то взявшегося чуда, да-да, именно чуда — я увидела мамины золотые швейцарские часики, и агатовый черный медальон. Директриса выдержала паузу и произнесла: «Ты узнаешь эти вещи?». Я, заикаясь от неожиданности, ответила: «Да... Это мамины часы и медальон... Их забрал у нас комендант во время маминых похорон...» — «А еще что-нибудь тогда там было?» — «Да, еще пятилатовая монета, агатовые серьги и

часики моей сестры...». Директриса снова завернула наши драгоценности и протянула сверток мне: «Забирай, очень пригодится». Не помню, где я хранила так неожиданно вернувшиеся ко мне мамины драгоценности, но впоследствии, действительно, они меня сильно выручили. Снова ангел-хранитель помахал мне своим крылом.

Несколько позднее этого эпизода из разговора с Женей Мяги, с которым мы тогда, несмотря на насмешливые взгляды сверстников, были очень дружны, я узнала, что он написал куда-то заявление, так как ершовский комендант проделал и с ним такую же манипуляцию. Дело получило ход, коменданту, как мы узнали, крепко досталось по службе, а ценности нам вернули. К глубокому сожалению, не все.

Незадолго до окончания учебного года случилась беда: арестовали и увезли учителя математики и физики, будто бы за дезертирство. Учитель он был превосходный, но заканчивать учебный год с нами пришлось его подруге-жене, которая, к сожалению, не была математиком... От ареста ее спасло, по-видимому, то обстоятельство, что ее брак с нашим любимым учителем не был зарегистрирован. Дальнейшая судьба этих хороших людей мне неизвестна, но вспоминаю я их всегда тепло и с сочувствием.

Ранней весной, в половодье, когда васюганские воды до края заполнили все овраги, в наш детский дом прибыла семья отставного офицера НКВД: он сам, его жена и дочь, Ольга Ивановна, которая тут же стала воспитательницей нашей группы, напарницей Паны Андреевны. Семья прибыла из Майска, находившегося выше Нового Васюгана, видимо отец Ольги Ивановны был там комендантом спецпереселенцев и за что-то отправлен в отставку. Я полагаю, что без содействия нашего директора, тоже работника НКВД, он бы в Айполово не оказался. Для сановной семьи немедленно освободили домик, где находилась больничка — там была комната, маленькая приемная и прихожая с плитой. Сомневаюсь, что жить им там было уютно. А вот куда делась больничка, не вспомню.

Ольга Ивановна была некрасивой, неуклюжей, полнеющей молодой женщиной, на вид около двадцати двух лет. Интересно то, что везде она подчеркивала, что она 1927 года рождения, то есть того же года, какой врачи определили мне. Ходили слухи, была у Ольги младшая сестра, которая заболела и умерла. Ольга взяла себе ее паспорт, а свой сдала в ЗАГС вместо документа покойницы. Возможно, именно этот случай и послужил причиной отставки ее отца и его срочного отбытия из Майска.

Все из того же Майска поступило в наш детский дом 25—30 эстонских ребятишек. По-русски они почти не говорили, истощены были до крайности. Директор, боясь ответственности, вызвал из райцентра медицинскую комиссию для их обследования. Комиссия постановила выделить несчастным детям дополнительное питание и стационар. Для стационара понадобилось помещение. Проблему решили быстро: освободили наш любимый барак, в

который уже раз переселив нас в другие. Меня это не очень тронуло, так как я понимала, что мне жить в этом детдоме оставалось совсем немного.

Надо отдать должное суровому директору — эстонских детей он спас.

2 июня 1944 года я получила свидетельство об окончании неполной средней школы, в котором оценки, увы, были умышленно занижены.

Еще весной сорок четвертого года по указанию директора всем старшекласницам в швейной мастерской детдома сшили полувоенную форму — зеленые гимнастерки, синие юбки и выдали кирзовые сапожки. В такой униформе я выглядела достаточно нарядно. А суровый директор выводил нас на площадку перед детдомом и учил ходить строем. Мне эти экзерциции нравились, так как я с детства была не равнодушна к военным. Но когда обучение закончилось, форму заставили сдать на склад, и больше я ее не видела. Не отдали ее мне и на трудоустройство, где она бы мне очень даже пригодилась.

Вообще лето 1944 года выдалось для меня весьма тревожным и сумбурным.

Сразу по окончании учебного года директор собрал всех, кроме самых младших, воспитанников и сообщил, что через три дня мы отправляемся в летний лагерь, где будем совмещать работу с отдыхом. Все восприняли это сообщение без ропота и жалоб и стали собираться в дорогу.

В своем повествовании я упустила одно существенное обстоятельство: в детском доме не было ни пионерской, ни комсомольской организации и мы не носили красных галстуков и комсомольских значков, ибо в массе своей были детьми репрессированных родителей. Избавиться от этого клейма до 1956 года смогли очень немногие, и почти все по достижении шестнадцатилетнего возраста получали статус спецпереселенца.

Наступил день, когда большая группа старших детдомовцев, в том числе и я, во главе с директором, по таежной тропе, гуськом отправились в лагерь. Дорога предстояла долгая, не менее десяти километров по лесу. Тропа то поднималась на пригорки, то опускалась в мокрые низины. Под ногами часто хлюпала вода. Лес здесь был густой, солнце едва пробивалось сквозь ветви деревьев и зарослей. Вот показался ручей, через который было перекинута дерево, по которому нам предстояло перейти. Первым перешел директор и подавал каждому воспитаннику руку, помогая выбраться на берег. Мне идти по шаткому дереву, высоко перекинтому над ручьем, было страшно, я всегда боялась высоты. И вот в самый последний момент, когда я уже протягивала руку директору, споткнулась и оказалась по пояс в воде. Директор меня подхватил, помог выбраться и пожурил за неловкость, а я была очень смущена этим казусом. Миновав злополучный ручей, мы оказались на большой

солнечной поляне, посреди которой возвышался навес, крытый соломой. Место это называлось Кульстан и было центром подсобного хозяйства детдома.

Нас уже поджидали ранее прибывшие сюда ребята. Они под навесом сколотили столы и скамьи, заготовили шалаши, в которых нам предстояло спать. Мне, как «повару со стажем» и еще кому-то предложили заняться приготовлением ужина. Мы быстро разожгли костры и приладили над ними котлы, в которых скоро забурлило нехитрое варево. Не помню, что ели в эти памятные дни, но еда была вполне терпимой и голодными мы не были.

После таежного перехода я уснула добрым здоровым сном. Утром директор собрал самых старших, и во главе с ним мы отправились на барже в луга, где лежало уже скошенное и подсохшее сено. Его предстояло собрать и погрузить на баржу. Солнце ярко светило, природа в этих местах оказалась чудесной. Спокойное течение реки, доброжелательная обстановка в окружении одноклассников Жени Мяги, Коли Нечаева, Миши Зинченко, Ильина и других поднимала настроение. Приближалось мое шестнадцатилетие, и окружение хороших мальчиков начинало волновать, хотелось быть интереснее, красивее, да и в работе лицо потерять было бы нелепо...

Очень скоро, тем же летом всех наших мальчиков 1927 года рождения призвали на военную службу и отправили на фронт.

А тогда в лагере мы провели около десяти замечательных дней. Сельских работ было много: и сено, и посадка картофеля и всякое другое, но мы будто и не уставали вовсе. Вечерами подолгу сидели у костра, распевали новые военные песни...

Предчувствие перемен, связанных с трудоустройством, до которого оставалось не более двух месяцев, и грядущими за ним событиями уже очень волновали меня. Но опять случилось непредвиденное.

Группу старшеклассников во главе с воспитательницами Ольгой Ивановной и Паной Андреевной снова послали на Кульстан, теперь уже окучивать подросший картофель. Меня опять назначили поварихой при костре. На сей раз до Кульстана мы шли без сопровождения, по уже знакомой лесной тропе. Расположились по шалашам. Ночь прошла спокойно. Утром группа ребят во главе с Паной Андреевной отправились окучивать картофель. Поле находилось всего в десяти минутах ходьбы от нашей базы. В лагере остались только мы с Ольгой Ивановной. Я занялась приготовлением обеда и костром, который развели несколько в стороне от наших шалашей. День стоял жаркий, и ветерок дул в направлении соломенной крыши навеса. Ольга Ивановна что-то делала в своем шалаше. Затем она вылезла из него, подошла к костру и завела со мной разговор, но я, занятая своими мыслями о будущем трудоустройстве, слушала ее вполуха. Неожиданно воспитательница толкнула меня в бок и

закричала: «Смотри!...», а потом торопливо добавила: «Я выкуривала комаров, но затем все притушила, когда выходила оттуда!..» Я оглянулась: над шалашом поднимались языки пламени, они мгновенно перекинулись на навес и от него ветер понес охапки горящей соломы в сторону наших шалашей. Все произошло за считанные секунды. Я инстинктивно кинулась к своему шалашу, выбросила из него что-то, кажется — шаровары, хотела было захватить и одеяло, но услышала треск прямо над головой. Вокруг бушевало пламя. Меня парализовал страх, чувство никогда до этого, ни потом в такой мере не испытанное. Ноги и руки не слушались, я не могла выползти из-под пылающей соломы. Но сознание сработало: «Сейчас сгорю!», и каким-то нечеловеческим усилием, все-таки вывалилась из шалаша, который тут же рухнул. Почти одновременно обрушился и навес. Я отползла подальше от огня и какое-то время неподвижно, не имея сил пошевелиться, лежала на траве и с ужасом наблюдала, как догорают все шалаша и масло в тазу, спасти которое тоже уже было невозможно. Сгорело всё. Но самое ужасное — огнем были уничтожены все продукты, запас на десять дней.

Прибежали с картофельного поля ребята. Среди них был Сидельников, которому при его четырнадцати годах дальше четвертого класса шагнуть никак не удавалось. Но любую крестьянскую работу он выполнял прекрасно, и тем часто бывал незаменим. Он, в чем прибежал, бросился в Васюган и, мокрый, стал затапывать пламя. Остальные стояли вокруг и с отчаянием смотрели на происходившее. Когда пожар закончился и можно было собрать то немного, что не успело сгореть, Ольга Ивановна подошла ко мне, попросила отойти в сторонку и с отчаянием в голосе стала умолять никому не рассказывать, что она выжигала комаров в шалаше, иначе ее посадят. Мне стало не по себе. Я никогда не была доносчицей.

Так тогда никто и не узнал, как Ольга Ивановна сожгла лагерь.

После пожара мы попытались оценить урон, нанесенный огнем. Сгорело почти всё. Осталось лишь несколько одеял, где-то в траве нашлись мои шаровары. Но, что самое печальное, сгорели продукты. Буханки черного хлеба покрылись черной угольной коркой, а внутри так пропахли дымом, что есть их практически было невозможно. Сгорело и все остальное. Воспитатели были в большой растерянности. Они понимали меру своей ответственности, в независимости от того, почему случился пожар.

Ночь, прохладную таежную ночь, мы провели на земле, подстелив какие-то ветки и укрывшись оставшимися одеялами — одно одеяло на четверых. Спали плохо: было холодно, не повернуться. Не видя другого выхода, воспитатели не решились вернуться в детдом всем вместе и отправили только старших мальчиков с поручением рассказать директору о случившемся и просить помощи. Уже не вспомню, как они ушли — на лодках или пешком. Отсутствовали они более трех дней. Мы ждали их с нетерпением, так как уже начинали голодать по-настоящему. К вечеру третьего дня они прибыли на лодках, рассказали о своих злоключениях и привезли немного продуктов, очень мало, так что опять приходилось терпеть.

За эти три дня Сидельников накопил травы и мы построили новые шалаши, но трава на шалашах была еще сырая, да и комары мучили нещадно.

Так неблагополучно закончилась вторая наша командировка на Кульстан.

По возвращении встреча нас ожидала далеко не самая ласковая. К тому же помещения, где мы жили до этого времени оказались занятыми стационаром для ослабленных детей, и нам пришлось скитаться по другим общежитиям. Можно было сказать, что из детдома нас уже списали.

Разговоров куда кого будут направлять было много, но само распределение проходило в строжайшем секрете от нас. Когда встал вопрос о трудоустройстве, зашел разговор, что одного из нас можно распределить не то на пионерскую, не то на административную работу в город Александровск на Оби. Речь при обсуждении кандидатур на эту выгодную должность, видимо, зашла и обо мне. И тут я нечаянно услышала реплику ненавидевшей меня воспитательницы, яркой коммунистки, активистки и старой девы, которая лезла во все дела: «Она девочка хорошая, но еще не советская, ее надо воспитывать!..» Дело было в том, что эта воспитательница чуть ли не на второй день по нашему прибытию в детдом явилась на дежурство в моих розовых носочках, которые я оставила со всеми своими вещами на складе. Я тогда объявила всем, что Зоя Александровна ходит в моих носках. С тех пор мы люто возненавидели друг друга.

В конце концов откомандировали меня, Валю Полякову и Эрику Менгельсон в Колпашевскую зооветеринарную школу. Что это такое, никто из нас не имел никакого понятия, — пришла в детский дом разнарядка, а наши мнения и интересы никого не волновали. Куда отправили остальных выпускников я так и не узнала.

Как это в то время водилось, о распределении мне сообщили за сутки до отбытия. Надо было успеть собраться: пароход ждать не станет.

Я подумала о том, что какие-то из рижских вещей, оставленных два года назад на складе, возможно, сохранились. Получив разрешение, с однокашниками Ильиным и Нечаевым, которые в то время заведовали складом, мы поднялись на чердак. Там лежала груда узлов, в которых, по всей видимости, рылись уже неоднократно. Я нашла, как оказалось потом, бесценное: родительское стеганое ватное одеяло и подушку. Увы, ни простыней, ни полотенец, на наволочек уже не было. Зато нашлись несколько маминых платьев, которые потом оченьгодились, туфли на каблучках, моя старенькая юбка и что-то еще. Все наиболее ценное и новое было украдено. И злополучную серебристую лисицу Матрена на склад так и не отдала... Но как бы то ни было, что-то я все же себе вернула.

Одели нас всех в серые, хорошо поношенные фланелевые платица, на ногах — старые ботинки. У меня был деревянный чемодан, который отдала мне няня Маруся взамен легкого картонного, рижского. С таким вот неприглядным «имуществом» отправилась я в «трудоустройство». Единственной по-настоящему ценной вещью у меня оказались мамины швейцарские часики, чудом ко мне вернувшиеся и потом хорошо выручившие меня в Колпашеве.

На дорогу нам выдали по двести рублей и рейсовые карточки, по которым мы могли в айполовском магазине получить хлеб. Больше нам ничего не полагалось. Из детдомовской кухни никаких продуктов нам не выдали, и на пароходе мы почти сразу начали голодать.

Пароход, все та же старенькая колесная «Тара», подошел к пристани Дальний Яр, матросы опустили трап и мы, теперь уже пассажиры, оказались со своими монатками на палубе.

Раздался пронзительный гудок, трап подняли, и пароход, медленно развернувшись, отошел от берега.

Я навсегда покидала болотистый Васюганский край, детдом, в котором прожила два года, а из группы провожающих махала мне сестренка Ира. За два года искусственно создаваемого отчуждения мы сильно отвыкли друг от друга, а дальнейшая судьба, к сожалению, нас еще больше разъединила.

Размышляя над тем, почему в детском доме не поощряли тесные контакты сестер и братьев, я пришла к выводу, что причина этого была в том, что каждый воспитатель отвечал за определенную возрастную группу численностью до трех десятков человек, за которыми нужен был глаз да глаз. А тут вдруг кого-то на месте нет — где он? Группу не бросишь — куда, в какую группу воспитанник убежал — неизвестно... Вот и держали воспитатели своих воспитанников плотно при себе, особенно малышей. А когда малыши подрастали, то братья или сестры становились уже не такими близкими друг другу.

Довольно скоро поселок скрылся за поворотом реки. Я со щемящим чувством тоски продолжала стоять на палубе и глядеть на воду. В какую неизвестность теперь я плыву? Наступил очередной перелом, начиналась новая, полная неизведанного, самостоятельная жизнь. А мне ведь тогда и шестнадцати еще не исполнилось...

Спустя несколько лет, а именно в 1950 году, мне пришлось вспомнить годы пребывания в детском доме. Я стала студенткой Ленинградского горного института. Учеба в те времена была платной, о чем я, поступая, не знала. Платить же мне было нечем. Но тут мне попала на глаза справка о том, что определенные категории студентов освобождается от платы за учебу в вузах. В одном из ее параграфов говорилось, что к ним относятся и воспитанники

детских домов. Однако документа, подтверждающего, что и я прошла через это, у меня не было. Тогда я рискнула написать в Айполово, не очень надеясь на положительный ответ — ведь столько лет прошло. Но телеграмма, подтверждающая, что я «...воспитывалась в Айполовском детском доме в период 1942—1944 гг.», пришла очень скоро, и дала мне право на получение столь важной для меня льготы. Следом пришло письмо от уже незнакомого мне директора, который тепло поздравил меня с поступлением в ВУЗ и сообщил, что в детдоме еще работает кто-то из тех людей, кто меня хорошо помнит и что я очень своевременно обратилась к ним со своей просьбой, так как айполовский детский дом находится в стадии расформирования и вот-вот прекратит свое существование.

К письму была приложена справка, подтверждающая написанное в телеграмме.

На этом закончилась моя детдомовская эпопея.

Конечно, тогда и представить было невозможно, что очень скоро, лет через пять-десять придут в Васюганье новые люди, поползут сквозь чащу и болота урмана вездеходы и трактора, оставляя после себя глубокие рваные следы, тянущиеся на сотни километров, вонзятся в недра глубокие скважины и вырвется из них черная кровь земли. Задрожит, заплачет вековая тайга, со скрипом и стоном повалятся деревья, оставляя после себя воронки, быстро заполняющиеся водой, а человек, на фоне могучей тайги такой слабый и беспомощный, при пиле и топоре окажется страшным разрушителем и уничтожит во имя своего благополучия то, что сотнями тысяч лет создавала Природа.

¹Трудармия (Трудовая армия) — военизированные части, состоявшие из граждан, исполняющих трудовую повинность в годы гражданской и Отечественной войны. В трудармию направляли «подозрительных» или представителей некоторых национальностей, к которым «не было доверия», напр. немцев, крымских татар.

БАРЖА НА ОБИ. Колпашево. Отрочество

Дальний Яр скрылся за поворотом. Вниз по течению пароход быстро набирал скорость.

На пароходе нас оказалось четверо: Эрика Мендельсон, Валя Полякова, я и Женя Зубарева, девочка из местных, окончившая семилетку вместе с нами. Мы продолжали с палубы смотреть на уплывающие знакомые пейзажи, когда к нам тихо подошла молодая женщина. Она сказала членом команды парохода и предложила нам четверым разместиться в отдельной каюте, намекнув при этом, вполне резонно, с кем нам придется находиться в общем помещении третьего класса. Мы осмотрели каюту. Она была очень мала, меньше трех метров, с одним окошком и узкими деревянными нарами, рассчитанными на одного человека.

Конечно, не люкс, но, посоветовавшись, мы согласились. И все же в каюте оказалось так тесно, что днем мы в ней едва размещались, а ночью мучились: спать приходилось двоим валетом на нарах, двоим — на не очень чистом полу. Так мы плыли несколько дней. Наша благодетельница оказалась уборщицей, но вела себя как большой начальник. На второй день она взяла с нас деньги якобы за стоимость каюты. От недосыпания и сильного недоедания (у нас было всего по полкило черного кирпичного хлеба на день) все время хотелось спать. На третий или четвертый день пути в дверь постучала взволнованная уборщица, сунула нам в руки старые, уже использованные билеты и сказала, что будет контроль, и необходимо немедленно покинуть каюту и разместиться на палубе. Наша благодетельница нас просто обманула и могли быть большие неприятности. Однако контролеры пожалели четырех еще не приспособленных к жизни девочек, пожурили нас и до Каргасока мы доплыли без новых приключений.

Каргасок, Нарым, Парабель — традиционные места ссылки известных и неизвестных революционеров, а после их победы в 1917 году — высылки эсеров, интеллигенции, «врагов народа» и раскулаченных крестьян. Стоит Каргасок на болоте. По обеим сторонам немощенных улиц, представляющих собой сплошное черно-бурое месиво, в котором легко можно было увязнуть по колено, шли дощатые тротуары, ходить по которым было далеко не безопасно, потому что доски местами сгнили. Вечером и ночью городок совсем не освещался.

За три года Каргасок не изменился. С берега все так же, как три года назад, смотрели мрачные темно-серые домишки. Пристанью служил старый плот, к нему и причалила «Тара». Нам предстояло выходить и ждать парохода, курсирующего по Оби, путь наш лежал в город Колпашево.

Здесь выяснилось, что вместе с нами в Зооветеринарную школу направляется еще одна девушка, звали ее Лида Иванова, и добиралась она до Каргасока на том же пароходе, только села она на него раньше нас, в Майске. На вид Лиде было около двадцати двух лет, чернявая, худенькая и, по всей видимости, пробивная. На пристани выяснилось, что нужный нам пароход только что отошел и держит курс на север, в Александровск, и вернется не ранее, чем через три—четыре дня. Итак, еще одна неприятность: кушать-то что будем, мы и так съели уже больше нормы, и наш хлеб заканчивался. Свои вещи мы сдали в камеру хранения на пристани, там же получили документ, по которому нас должны были принять на ночлег в каком-то каргасокском общежитии, которое нам пришлось долго искать, потому что находилось оно на окраине города, где бревенчатые двухэтажные дома шли пока еще по одной стороне улицы. Вдоль домов протянулся деревянный тротуар. Другая, еще незастроенная сторона улицы представляла собой огромное вздыбленное торфяное болото.

И вот, наконец, мы стоим перед указанным в направлении домом. Нас встретила неприветливая, неряшливо одетая женщина, посмотрела на наше направление и повела

внутри общежития. Поднялись на второй этаж. Женщина открыла большую комнату, в которой стояло множество совершенно пустых железных коек, даже без матрасов, и сказав: «Вот тут и живите!», ушла. На наши вопросы она отвечать не стала, только произнесла: «Не нравится, ночуйте на пристани!»

Идти за одеялами на пристань, брать их из камеры хранения, а потом сторожить их здесь? Да и когда прибудет пароход? Это может случиться и ночью. Так мы и промучились трое суток. Откуда только брались силы? Днем все разбредались кто куда. Я слонялась по неприглядным пустынным каргасокским улицам или сидела на пристани, вглядываясь в желтоватые воды широкой Оби. В один из дней я неожиданно встретила на улице бывшую нашу детдомовку Таню Дорошенко, сестру Нюры, «трудоустроенную» еще летом 1942 года. Она в свое время работала помощницей няни Фени, то есть была моей предшественницей на кухне. От неожиданности встречи мы обе несколько опешили, потом разговорились. Таня работала в «Рыбкоопе» на обработке рыбы и... была сыта. Жила в общежитии и больше ни о чем уже не мечтала, ее вполне устраивал Каргасок. А я думала о том, как мало иногда нужно человеку. Меня бы Каргасок не удовлетворил, в моей голове были уже совсем другие мечты и планы.

Однажды, отдыхая на пристани увидела я подошедший с юга пароход. С группой пассажиров с него сошли две женщины — одна пожилая, невысокого роста, полная, другая — помоложе, высокая, возможно, дочь пожилой. Переговаривались они между собой по-латышски. Мне очень захотелось поговорить с ними, эти женщины для меня были как весточка из родных мест. Но дамы оказались суровыми и неразговорчивыми. Из очень короткой беседы я поняла, что они были высланы из Латвии уже в 1944 году. Мне это показалось странным: был август, немцы еще были в Латвии, Рига еще не была освобождена. Что-то здесь было не так... Впрочем, кто они мне?

Наконец, с севера пришел долгожданный колесный пароход, все тот же, на котором многих из нас везли в 1941 году. Снова посадка. Устроились в общей каюте. Нары, верхние, нижние, сплошные, просматривающиеся со всех сторон. Люди ложатся на них головами друг к другу, укладывая вещи в изголовье. Хорошо, что плыть пришлось всего около суток. В первой половине следующего дня пароход причалил к дебаркадеру города Колпашево, запомнившегося по крутому желтоватому обрыву, изрытому гнездами тысяч береговых ласточек. Над этим обрывом и расположился город, весь деревянный, но дома здесь были уже с голубыми наличниками и ставнями. Окрестности города обжиты, изобилуют селами и деревнями. От дежурного по пристани я узнала, что зооветеринарное училище расположено в другом конце города, идти до него минут сорок. Дежурный предложил нам оставить вещи в камере хранения, но выносливая и крепкая Лида подхватила свое добро на плечи и двинулась вперед. Мы, тоже с вещами, потопали за ней. Шли около часа, наконец показался учебный городок — так называли эту часть города, потому что помимо зооветеринарного, здесь расположились педагогическое училище, учительский институт и так называемая

«Школа колхозных кадров». Подошли к нашему училищу, большому двухэтажному бревенчатому, еще новому, зданию. Рядом расположились несколько строений. За оградами во дворах видны скромные огородики. Лиду встречала завхоз училища — они были знакомы по Майску. Звали завхоза Анна Петровна. Без лишних разговоров она отвела нас в общежитие и устроила в большой комнате, где стояло около двадцати коек. Не помню почему, но мне кровати не хватило, и я пристроилась к Лиде. Чувствовала я себя одиноко и очень неудобно. Наши детдомовцы почему-то не хотели держаться вместе, каждый старался быть сам по себе. Завхоз выдала одеяла, рассказала, где столовая, в которой могут дать (правда, за деньги) хотя бы суп, и объяснила, где находится баня.

С дороги я устала и изголодалась, но надо было еще представиться директору училища. К нему мы и направилась в первую очередь. Директор Владимир Петрович Логущенко, очень высокий, худой, светлый шатен, лысоватый, в пенсне, был одет в черную гимнастерку и такие же брюки. Потом мы узнали, что это была его повседневная «униформа». Принял Владимир Петрович нас холодно-любезно, изучил документы и сообщил, что мне и Эрике предстоит учиться на ветеринарных курсах, а Валентине — на зоотехнических. Срок обучения — полный год. Потом следует распределение, обычно в колхозы. Ежемесячно мы будем получать стипендию — 150 рублей — и продуктовые карточки на полкилограмма хлеба. Кроме того, нас прикрепят к местной столовой, где по продуктовым карточкам нам выдадут второе — каши, макароны. Учеба начинается сразу же, как только соберутся все учащиеся. Особо директор подчеркнул, что дисциплина здесь строгая: военное время и т. д.

Здание училища было разделено на две половины, одну из которых занимали учебные помещения, а вторую — общежитие для учащихся. Все помещения оказались очень большими, жили по пятнадцать—двадцать человек в комнате. Потолки высокие, печи огромные, натопить их оказалось делом непростым, поэтому и в комнатах общежития, и в учебных классах зимой бывало нестерпимо холодно, заниматься приходилось в верхней одежде, не снимали ее до самого отхода ко сну. Обучение шло по трем специальностям: зоотехника, ветеринария и счетоводство. Все учащиеся, кроме нас троих, были откомандированы колхозами, для которых училище и готовило кадры. В группах зоотехников и ветеринаров учились, в основном, девушки — молодые колхозницы в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Общее их образование ограничивалось пятью—семью классами.

Мы в этом плане оказались здесь элитой. Среди будущих колхозных счетоводов преобладали бывшие фронтовики-инвалиды. Впервые я видела, что может война сделать с человеком: у многих не было руки или ноги, бывали и другие увечья.

К вечеру здание заполнилось молодежью, стало шумно, все вокруг суетились и куда-то торопились. Надо заметить, что в общежитии не было никаких коммунальных удобств: ни

электричества, ни водопровода, ни канализации. Воду носили из колодца или колонки, туалет — во дворе. Нередко вечерами единственным освещением служили горевшие в печи дрова, примитивные коптилки были редкостью. Еда, если она была, — обычная для того времени и мест: картофель. С ранней весны до глубокой осени мы варили его на костре прямо во дворе. Кухни как таковой, тоже не помню. Баня — только общая, городская. Не удивительно, что в подобных условиях очень трудно было избавиться от вшей.

Вечером, когда мы, наконец, улеглись, и я, вконец уставшая от впечатлений, хотела лишь одного — скорее уснуть, дверь в нашу комнату отворилась и в нее ввалилась большая группа фронтовиков, громко всех оповестив, что пришли знакомиться. Не помню реакцию остальных девушек, но по мне пробежал холодок, я ощутила спазм в горле, вся напряглась, сжалась в комочек и плотно прижалась к стене, готовая к сопротивлению.

Между тем мужчины, некоторые из которых были на костылях, спокойно расселись по женским койкам, приготовившись «знакомиться». Один из них оказался на моей кровати. Я от страха еще больше сжалась, а парень чуть приподнял мое одеяло, притронулся ко мне и громко, на всю комнату произнес, как скомандовал: «Вот эту девочку чтобы никто не вздумал даже тронуть — она ребенок». За все время пребывания в Колпашево, различных походов в колхозы на уборочные и другие сельхозмероприятия меня никто никогда не задевал. Но и интереса ко мне тоже не проявлял: все мы, «детдомовские» оказались «не свои».

В военное время на дорогу выдавались рейсовые продуктовые карточки, фамилия владельца на них, кажется, не указывалась, и по ним кому угодно можно было получить хлеб в любом магазине. Обычные же карточки обязательно приписывались к конкретному магазину, и продавец строго проверял всех по своему списку. Кража таких карточек была бессмысленна.

Вскоре у меня случилась настоящая беда: кто-то в магазине выкрал мои рейсовые хлебные карточки, по которым надлежало получать хлеб еще целых две недели. Как выживала я это время, что ела, не помню, видимо что-то из оставшихся вещей продала, но состояние было ужасное: я почти падала от слабости, но никого кругом — каждый сам по себе.

Познакомилась ближе с городом. В тридцатые годы здесь от-бывал свой срок известный русский поэт Николай Клюев. Городок был сплошь деревянный, бревенчатый, вдоль немощеных улиц, как в Каргасоке, — дощатые тротуары. Были здесь большой рынок, кинотеатр и несколько учебных заведений, о которых я уже упоминала. Почти все жители имели свои огороды, прямо в городе или на его окраинах. Сажали, в основном, картофель, капусту, морковь, свеклу. Многие держали корову, ее выгоняли по утрам к пастуху, а вечером каждая из них возвращалась в свой дом сама по себе. На рынке продавали и покупали все. В павильоне продавалось свежее и на любой вкус мясо, на прилавках — сливочное масло из деревянных бочек, из «Рыбкоопа» выносили круглые пшеничные булочки и буханки хлеба за

100-130 рублей и многое-многое другое. Там же можно было купить пирожок и чашечку капусты. Зимой шла бойкая торговля замороженным молоком. Народ суетился у прилавков и что-то покупал, но мне вся эта роскошь была недоступна. И тогда я, гонимая голодом, понесла продавать то, что еще сохранилось из родительских вещей. На вырученные деньги покупала кое-какую еду, это меня и спасало.

Колпашево находятся примерно в 250 километрах от Томска. Главной транспортной артерией здесь всегда была Обь, по ней регулярно курсировали старинные колесные пароходы, тудяги-буксиры тянули за собой огромные баржи. Через реку, ширина которой здесь достигает километра была налажена переправа, и местные жители на пароме перебирались на другой берег, где росла удивительная, сладкая, размером с вишню черная смородина; дальше — в тайге — собирали бруснику, клюкву, малину, грибы. Но и это было не для меня: я не знала ни этих ягодных мест, ни кого-нибудь из местных жителей. А самое главное — не могла соответствующим образом одеться. Да и навыка тайга требует.

Конец лета, начало осени выдались чудесными: тепло, сухо, солнечно. В сравнении со страшной Ершовкой, сложностями жизни в Айполово, здесь, казалось, будет вполне приемлемо. Но так только казалось: появились другие трудности, и только недоедание осталось то же.

Как бы то ни было, я постепенно привыкала к тому, что меня окружало, приспособливалась к коренным сибирякам, к их взглядам, привычкам, обычаям и традициям. Здесь почти не было недавно высланных, большинство из людей, окружавших меня теперь, были потомками тех первопроходцев, которые осваивали Сибирь еще в XVIII и XIX веках. Было среди них и много старообрядцев.

Начался учебный год. В классе собралась довольно большая группа уже взрослых учащихся. Пришел директор Логущенко, поздравил, как водится, с началом учебного года и рассказал о том, чему и как нас будут учить, представил нам некоторых преподавателей. Среди них оказался удивительный человек — ветеринарный врач из высланных немцев Поволжья, саратовец Карл Иванович, которого назначили нашим классным руководителем — воспитателем. Он преподавал фармакологию, терапию, хирургию — по существу все главные предметы по ветеринарии. Занятия он проводил очень интересно, заставлял нас вести конспекты, так как «студенты» были очень разного уровня образования и развития.

В первые месяцы учебы, помимо сугубо специальных предметов, с нами проводили занятия и по общим дисциплинам в объеме требований пятого класса — русскому языку, арифметике. Учительница математики любила меня приглашать к доске и предлагала решать и объяснять классу примеры и задачи, с чем я успешно справлялась. Учеба у меня шла, как всегда, на «отлично».

Еще перед началом учебного года, сразу по прибытии в Колпашево, я решила попробовать поступить в педагогическое училище, которое находилось по соседству с нашей зооветеринарной школой. Это стало пределом моих мечтаний. Когда начались приемные экзамены, я успела написать сочинение. И сразу же после экзамена меня вызвал к себе Логущенко и в очень строгой форме потребовал, чтобы я не смела предпринимать еще какие-либо попытки поступить в педучилище: я командирована в его учебное заведение, и если я нарушу приказ, он обязан будет сообщить куда надо, и я загремлю под суд. Такие были времена и такая «свобода». Пришлось подчиниться. Я вышла из кабинета директора испуганная и обескураженная: почему — нельзя? Почему там — отказ, здесь — запрет? Но в педучилище больше не пошла. И, кто знает, — может быть, судьба тогда правильно распорядилась... Я продолжала учиться ветеринарии, получала только отличные оценки, чем вызывала к себе немалую зависть со стороны сокурсников, начали появляться злые наветы: как это так, — рассуждали завистники, — и конспект читать не читала, учить не учила, — и опять на экзамене «отлично». Им было невдомек, что это просто память меня не подводила.

Наконец я получила обычные хлебные карточки, по которым полагалось полкило хлеба, и кроме этого на месяц — полтора килограмма крупы, шестьсот граммов сахара и даже — масло. Но, кроме хлеба, нам на них ничего не давали. Ранней осенью подошла ко мне одна из учащихся нашей школы, Таня, и предложила вместе с ней пойти копать картофель в соседний дом, ей там пообещали за день работы ведро картошки — целое богатство!

На следующий день началась наша «картофельная эпопея». Хозяйка Суворова, подстать фамилии, оказалась суровой и властной женщиной, но после работы накормила нас и предложила придти на следующий день. В дальнейшем, присмотревшись ко мне, она предложила жить зимой у нее и в свободное от учебы время помогать по хозяйству. Я согласилась, так как в холодном общежитии было еще труднее. С нехитрыми обязанностями я легко справлялась, занятиям это не мешало. У Суворовой была большая семья: девятнадцатилетняя дочь Валя, с которой мы вскоре подружились, взрослая дочь, жившая со своей семьей отдельно, два сына на фронте и муж в трудармии. Была хозяйка очень проворна, дом ее был — полная чаша, но экономна была до скупости. Итак, зиму я пережила у Суворовой. Возвращаться в общежитие, где ночью вода в стакане замерзала, охоты не было. Здесь я была хотя бы в тепле.

А зима свирепствовала, морозы доходили до минус тридцати и даже ниже. Училище окончательно осталось без дров и почти не отапливалось. На занятиях мы сидели одетые во все, что у кого было, дыханием согревали руки, а потом согретыми руками — замерзшие свекольные чернила. Иногда казалось, что на улице теплее, чем в классе. Очень страдали от холода Эрика и Валя, так как и они были очень плохо одеты.

Хлебные карточки нам отоваривали нерегулярно, иногда по два-три дня выстаивали в очереди за своим пайком. Иногда случалось вообще уйти ни с чем. Когда же, наконец, повозка с хлебом подходила к магазину и начиналась ее разгрузка, начиналась ужасная давка, и далеко не всем везло в этот день. Бывшие фронтовики, а теперь инвалиды войны, получали паек вне очереди и этим вносили дополнительный беспорядок. Нередко случалось и такое: после двух-трех суток вынужденной голодовки я вдруг получала сразу полтора килограмма еще теплого, непропеченного хлеба. Конечно же, я не выдерживала и сразу съедала половину, доставляя проблемы своему не очень тренированному желудку. В столовой по тем же карточкам мы получали тарелку похлебки непонятного наполнения и немного каши. Удивительно, но продавщица иногда вместо денег принимала почтовые марки, и так как денег у меня не бывало, то я приспособилась со старых конвертов отклеивать марки, слюной стирать с них печать и предъявлять их к оплате за свой паек. Я не исключаю, что продавщица сама выкупала эту пайку и давала нам хлеб бесплатно, по-бабьи жалея голодных подростков, ибо не заметить наше жульничество было трудно.

А катастрофа с деньгами становилась перманентной. Обещанную стипендию (150 рублей) мы не получили ни в сентябре, ни в октябре, ни в последующие месяцы. Заработать зимой тоже было негде. И я решилась попробовать продать чудом вернувшиеся ко мне мамыны швейцарские часики. В Колпашево такое было возможно: на рынке в каморке сидел часовщик, и я обратилась к нему со своим богатством. Увидев его, он сразу же изменился в лице и стал удивительно любезен. Взял часы сразу, не обращая внимания на то, что они не шли, и через два дня вручил мне более двух тысяч рублей — для меня это была неслыханная сумма. Позднее мне объяснили, что такие часы стоили в пять раз дороже, но что мне тогда до этого, если на том же Колпашевском рынке масло стоило 140—160 рублей за килограмм.

Эти две тысячи помогли мне выкарабкаться из сложнейшей финансовой ситуации и получить передышку в борьбе за жизнь и существование. К сожалению, очень короткую передышку. Деньги таяли: что-то ушло на картофельные пирожки, которые хозяйка Суворова пекла и приносила в училище к большой перемене, я брала у нее два-три пирожка, сытости от них было почти никакой, но всё же... Что-то у меня украли. В общем, деньги таяли, ибо беречь и хранить их я еще не научилась.

Учеба шла своим чередом. Я сдавала зачеты, потом — экзамены. Жизнь продолжалась, но в сравнении с детским домом стала она сложнее и голоднее. Зимой нашу учебную группу направили на две недели в тайгу на заготовку дров. Я ходила все в том же, уже сильно поношенном, мамином плюшевом пальто, для работы в лесу слишком длинном, бабушкином платке, ситцевых шароварах и, что самое неприятное, без валенок, в вдребезги стоптанных ботинках. Суворова, дававшая мне свои старые валенки в школу, взять их с собой в тайгу не разрешила, мол, окончательно сношу. На рынке валенки купить, хотя бы и ношенные, мне было не по карману. Пришлось отправиться на лесозаготовки во всем своем «выходном». До места добирались более двух часов. На вырубке нас ждал бревенчатый серый барак, в котором были настелены сплошные нары из досок, ничем не покрытые. Посредине комнаты стоял прямоугольный длинный стол, по бокам его — скамьи. В общем, обстановка не лучше, чем в концлагере. У старожилов-сибиряков такой «комфорт» не вызывал ни внешнего, ни внутреннего возмущения. Я же не представляла себе, как можно тут жить и работать. Однако пришлось. И стволы валить, и сучья рубить. Моя напарница Женя Зубарева, девушка из Дальнего Яра, справлялась со всеми операциями бойко, а у меня дело никак не спорилось, из-за чего я очень переживала. Приходил к нам на делянку староста группы, фронтовик с поврежденной рукой. Сам он из-за увечья работать не мог, но понукать нами и браниться — это у него получалось отменно. Меня он считал последней лентяйкой. К счастью, обе недели, проведенные нами в лесу были относительно теплыми, но ноги все-таки я себе подморозила, и они долго еще потом болели. Кормили нас два раза в сутки каким-то месивом, правда особого голода я уже не испытывала — привыкла. Вернулись мы из тайги в сопровождении полюбивших нас вшей, избавиться от которых было в тех условиях практически невозможно: они были везде и у всех.

После лесозаготовок дирекция потребовала, чтобы каждый учащийся на чем-нибудь («на чем? да хоть на себе!») раз в неделю привозил с лесной делянки дрова. Легких санок не нашлось, были только сани, в которые впрягают лошадей, и мы впрягались вместо них по шесть-восемь человек и тащили сырые тяжелые дрова к своему жилью и учебному помещению. Дрова эти в печи горели плохо, больше шипели, тепла от них было немного, видно, всё оно уходило в это шипение...

Я продолжала жить у Суворовой, хотя там тоже оказалось не сладко. В свой относительно небольшой дом (около 50 м²), разделенный на комнату, прихожую, кухню, столовую и спальню, она впустила квартирантов. Кроме меня в доме жили два фронтовика из нашего училища, будущие счетоводы, а позднее она сдала углы двум председателям колхозов и дочери одного из них, поступившей в Колпашево на какие-то курсы. Всю эту ораву Сувориха умело использовала. Председатели, имеющие в своем распоряжении лошадей, навезли ей сена для коровы, «студенты» обеспечивали ее какой-то колхозной продукцией, платили за жилье деньгами и тоже выполняли кое-какую работу по хозяйству, хотя и были инвалидами. В

общем — настоящая кулак-баба. Даже свою родную дочь она заставила работать, не дав ей окончить последний класс школы.

Дождавшись весны, я вернулась в общежитие, там, конечно, были свои трудности, неурядицы (в огромной комнате — бесконечный шум, какие-то ссоры, споры), но в нем я была независима.

К весне в училище появилось много практических занятий, мы часто отправлялись на ветеринарный участок, где Карл Иванович привлекал каждого из нас к самостоятельной работе, вёл прием, подробно объясняя каждое свое действие. Был он с нами предельно строг и требователен, любил повысить голос, но все его любили, так как учил он хорошо. Иногда, правда, мог при всех круто высказаться по поводу того, как несправедливо с ним обошлись власти, но ему всегда это сходило с рук — может быть, такого специалиста не хотели трогать? Или рядом просто не оказалось доносчиков? Все может быть...

Стипендию за всю зиму нам так и не заплатили. Ни разу. И напрасно мы ее ждали: проходил месяц, другой, третий, но ничего, кроме обещаний, мы так и не получили. Учащимся из окрестных колхозов иногда присылали посылки и деньги, а некоторые из них и сами в зимние каникулы ходили домой: для девушек-сибирячек не представляло особого труда отмахать пешком за день километров сорок; даже если надо было пройти по тайге двести — и то не боялись.

А мы, бывшие детдомовки — Валя, Эрика и я — оказались в катастрофическом положении. Директор детдома обещал, что мы будем в период учебы получать материальную помощь, но почти до самой весны мы так ее и не увидели. И тогда мы решили напомнить ему о себе. Через какое-то время пришла одна посылка на троих, в которой оказалось каждой по фланелевому платью и по паре так необходимых нам ботинок. Но нам очень нужны были и деньги. Мне не раз приходилось на хлебные талоны по карточке, выкупать в столовой пирожки, потом нести их на рынок, продавать и на выручку в последующие три-четыре дня выкупать хлеб.

К весне у меня вновь, как когда-то в Ершовке, высыпали фурункулы. Видимо от недоедания и простуды. Один фурункул, самый большой и опасный, вылез на шее, очень близко от лица. Пришлось идти на операцию к хирургу. От истощения я опять похудела до крайности, остались одни глаза, но все же до такого состояния, как в Ершовке дело не дошло.

В конце 1944 года, узнав, что фашисты изгнаны из Риги, я собралась туда написать. Но кому? Решила, что если еще кто обо мне помнит, то это тетя Лида, папина сестра, она меня любила. Написала «на деревню дедушке», но довольно скоро пришел ответ. Я не могла поверить, что держу в руках письмо из Риги, от любимой тети, что кто-то еще помнит обо мне. Следом

пришел небольшой денежный перевод, который оказался очень кстати. А тетя Лида, не теряя времени, приступила к хлопотам о нашем возвращении. Героическая, удивительно смелая, она сделала все, чтобы мы вернулись на родину в 1946 году.

И вот пришел День Победы. В Колпашево он был холодным, шел снег-крупка, на городской площади народ собрался на митинг, все были радостно возбуждены. Занятия в училище по случаю праздника отменили, все разбрелись кто куда. После митинга я заглянула в столовую, где по продуктовой карточке мне дали несколько порций рисовой каши — наелась, можно сказать, досыта. Тем День Победы мне и запомнился.

Наступило лето, подошли выпускные экзамены, перед которыми мы проходили практику на ветеринарном участке. Примерно в середине июня всех учащихся нашего отделения направили на практику в колхоз, кастрировать баранов и бычков. Около тридцати пяти километров по тайге шли пешком: где по дороге, а где и по тропе. Прошли несколько деревень — эти места уже были хорошо обжиты.

Дорога показалась очень долгой и утомительной, и с собой опять ничего, кроме куска хлеба, а как в семнадцать лет кушать хочется, трудно рассказать.

Самое интересное оказалось там, где предстояло прожить три дня.

Древнее старообрядческое поселение. Как известно, гонимые во времена царей Алексея Михайловича и Петра Алексеевича за твердую приверженность старой, дониконовской, православной вере, бежали из Московии на окраины Руси, в Польшу, Курляндию, Сибирь русские люди, которых стали называть староверами. Здесь, в глухомани тайги, у маленькой речки, проплыть по которой можно только на лодке-обласке или на плоту, возникло огромное село. В центре его, на площади возвышался большой храм, сложенный из красного кирпича, с большим куполом. При советской власти, к сожалению, церковь была сильно разрушена, купол разбит, а в самом храме было устроено что-то непотребное.

От площади радиально расходились улицы, вдоль которых выстроились в ряд удивительные дома, скрытые от посторонних глаз глухим деревянным зубчатым забором высотой около трех метров. «Зачем так высоко?» — спрашивали мы у местных жителей, на что они нам с усмешкой отвечали: «Да вот от медведя!..» Ворота во дворы тоже были огромные, крепкие и наглухо закрытые. Войти в такой дом без хозяина было невозможно.

Сам дом — как правило, двухэтажный, бревенчатый, наверх вела нарядная лестница, крытая навесом. Такие дома строили на Руси еще в XIV—XV веках. Хозяева жили на втором этаже, там же хранились сухие продукты: зерно, мука. Под жилыми помещениями, на первом этаже находился хлев для скота — мне объяснили, что так скоту зимой теплее, да и от медведя

безопаснее. Во дворе под навесом размещались хозяйственные постройки, складывались дрова. Во всем виделась жесткая хозяйственность и стабильность.

Женщин почти не было видно, а мужики — большие, широкоплечие, с длинными, почти до плеч, волосами, все бородатые — хмуро и не очень доброжелательно рассматривали нас из приоткрытых ворот. Рубахи на них были русского покроя — косоворотки, брюки заправлены в смазные сапоги.

Я не сразу поняла, где я нахожусь, настолько необычно и даже ирреально все это выглядело. Позднее Карл Иванович нам объяснил, что это древнее старообрядческое поселение, что никто нам здесь ни молока, ни чего-то другого не продаст, не принесет кружки воды и не впустит в дом. Добавил, что староверы ненавидят большевиков, советскую власть, комсомол, а нас приняли за ретивых комсомольцев.

На ночь мы разместились в сельсовете, прямо на полу или на скамьях в кабинете. Так, на голых досках, подложив под голову взятую с собой кофточку, прокемарила я все три ночи. Кто-то из наших все же попытался купить молока или хоть что-нибудь из съестного, но в ответ услышал угрюмое «нет».

В первое утро неподалеку от входа в обезображенный храм Карл Иванович расположил нас для проведения кастрации бычков и барашков, которых по распоряжению колхозных властей подвозили сюда. Не знаю, насколько преднамеренно это было сделано, но представляю, в какое смятение мы ввели этим старообрядцев. Тут же развели костер, в каком-то котелке сварили отрезанные бараньи яички и съели их. До сих пор я испытываю чувство колючей неловкости при воспоминании всего этого действия.

Через день, сделав соответствующие записи в своих тетрадях, провожаемые недобрыми взглядами, мы отправились назад, в Колпашево. Путь домой показался короче.

Так в первый и в последний раз в жизни я воочию увидела средневековую Русь, в ее живых образах, быте и строениях. К сожалению, я тогда была еще слишком молода, чтобы серьезно осознать это.

В лето сорок пятого пришлось еще дважды пожить полевой жизнью. На левом берегу Оби мы убирали сено для персонала училища и ветеринарного участка (тогда все держали коров). Позднее ездили в колхоз на уборочную.

Левый берег Оби — это дивные по природной красоте места. Переправили нас на барже, на которой потом перевозили собранное нами сено. Вдоль берега росли громадные кусты

черемухи, ветки которой ломились от поспевающей ягоды, старые ивы склонились над самой водой и словно сливались со своим отражением. Под навесом из больших деревьев уютно примостились кусты черной смородины с уже подоспевшей ягодой, крупной, как вишня, и удивительно сладкой и ароматной. А чуть дальше от берега — простирались заливные луга с вкрапленными в них небольшими озерками, щедро украшенными речными лилиями.

Жили, как принято в Сибири на полевых работах, в шалашах, крытых сеном, было в них мягко, тепло и душисто.

Как-то ближе к вечеру я решила искупаться в одной из стариц, вода была теплая и мягкая, наплавалась я вдоволь, но потом получила хороший нагоняй: обнаружив мое отсутствие, все бросились на мои поиски, а когда услышали от меня, что я к тому же еще залезла в старицу, нагоняй добавили: оказывается, купаться здесь было небезопасно.

Фактически учебу свою к лету 1945 года мы уже закончили, но распределять нас по местам работы администрация школы не торопилась — видимо, хотели использовать молодые рабочие руки на уборке урожая.

А я все чего-то ждала. Денег так и не было. Я уже отнесла на рынок и в комиссионный магазин все, что можно было продать. Давно ушли по ничтожной цене мамыны драгоценности, которые мне вернули в Айполовской школе, и я снова перебивалась, продавая пирожки, купленные за хлебные карточки в столовой. Одежда моя уже вся износилась. Я понимала, что долго так продолжаться не может, но... Оставались только надежды на чудо.

Тетя Лида еще дважды прислала немного денег и сообщала, что написала заявление в высшие инстанции с просьбой вернуть нас с Ириной, как сирот, к ней в Ригу. Это, конечно, был смелый и благородный поступок, учитывая реалии того сурового времени — вне всякого сомнения, заступаясь за нас, она рисковала и своим положением. Мне же тетя Лида подарила самое главное: пусть тогда еще очень робкую, но все же надежду вернуться на родину.

А пока здесь, в Колпашеве, мы убирали урожай лета 1945 года. Уже в конце осени нас отправили в один из отдаленных колхозов. Везли нас, две группы, туда на барже, которую тащил буксир — сначала по Оби, а потом вверх по реке Чая. Работать меня определили на зерносушилку: надо было регулярно помешивать зерно, чтобы оно не перегревалось. Сначала трудными для меня были ночные смены, но постепенно втянулась, привыкла и уставать стала меньше. Жили мы в бараке, кормили нас неплохо, из колхозной кухни. Все это продолжалось две недели. Обратный путь в Колпашево обошелся не без приключений. На сей раз баржи не было. По проселочной дороге мы пошли до ближайшего, расположенного на берегу Оби, села Тискино, где была пристань. Дошли только ночью. Накрапывал дождик. На

пристани выяснилось, что ближайший пароход будет не ранее чем через трое суток. Усталые, очень расстроенные, мы долго стояли у пристани. Я в своей поношенной, еще рижской, кофточке совсем замерзла, очень хотелось спать. Кто-то собрался попробовать постучаться в избы и попроситься на ночлег, но Карл Иванович предупредил, что инициатива эта бесполезна, нас не пустят — село старообрядческое. Так оно и оказалось: в добротных избах все окна оказались крепко закрытыми тяжелыми ставнями, а на воротах — надежные засовы. Стука нашего никто не услышал.

Становилось все холоднее, дождь лил уже непрерывно. Нашли брошенную лачугу, полы и оконные рамы в которой были сняты. С крыши текло. Кое-как, тесно прижавшись друг к другу, пролежали всю ночь. Но и днем тишинские староверы на постой нас не пустили. Оказавшаяся здесь бывшая ученица ветучилища Людмила пригласила к себе одного Карла Ивановича, своего бывшего учителя, но он не согласился оставить нас. А ведь были во всех этих добротных домах и сеновалы, и чердаки, но таков уж обычай у этих суровых людей — не пускать в дом чужого. А тут еще и комсомольцы — слуги дьявола...

А Людмила все же наварила горячего бульона и накормила всех, пуская нас в свой дом по двое.

А небо продолжало хмуриться, дождь то накрапывал, то припускал всерьез, река посерела и покрылась рябью. Я в своей ветхой кофточке замерзла до оковенения. Удивительно, что не заболела.

Ждать парохода пришлось около двух суток. Все под тем же серым плачущим стынущим небом, у мрачной Оби, катящей к берегу белые барашки волн. Подступала осень Сибири.

Наконец, появился пароход, который довольно скоро доставил нас в Колпашево. В училище оказалось пусто и холодно. Окончившие курс счетоводы уже разъехались, начали разъезжаться по своим колхозам и вновь испеченные зоотехники — ветеринарные фельдшеры. В общежитии остались всего несколько человек. Ожидали последний пароход с севера. Меня распределили лаборантом в ветеринарно-бактериологическую лабораторию села Кривошеино — это огромное старинное село стоит в месте впадения реки Томь в Обь, в нескольких часах езды от Томска..

Опять сложности: денег, то есть стипендию, опять не выплатили. Ждать ее? Но вот-вот уйдет последний пароход. Если не уехать им, придется потом от Колпашево до Кривошеино добираться зимником на лошадах. Я была в отчаянии, плакала. Карл Иванович сердился, настаивал, чтобы я нашла выход из положения... Но где взять необходимые на дорогу 25 рублей? Остаться же тоже никак нельзя, да и негде, а там, в Кривошеино, ждет работа и заработок. Продать было уже нечего, тети Лидины переводы растаяли. И вдруг я вспомнила,

что в доме у Суворики я оставила ношенные-переносные валенки! Она мне их вернула, я продала их на рынке за сорок рублей, этих денег хватило купить билет на пароход.

Собрав свой нехитрый багаж, мы с тремя девушками, ехавшими в том же направлении, двинулись к пристани. И вот подошел последний пароход на юг, в Томск. Прощай, Колпашево, где я заметно повзрослела и многое поняла в этой непростой жизни. Мне уже семнадцать. Стоял поздний октябрь. Было холодно и неуютно.

И вот снова гудок, и пароход отвалил от пристани, взяв курс на мое будущее. Каково оно? Что дальше будет со мной? Длинный пароходный гудок мне ничего тогда не ответил...

Я уезжала все дальше от тех мест, где навсегда осталась мама...

БАРЖА НА ОБИ. Кривошеино. 1945—1946 годы

Пароход шел бодро, делая в пути короткие остановки по просьбе пассажиров. Быстро стемнело, накрапывал дождь. Из Колпашевской зооветеринарной школы нас было четверо. Две девушки сошли где-то еще в начале пути. Третья сокурсница спустилась по трапу в Молчаново и, громко рыдая от страха, скрылась во тьме. Наконец, доплыла и я. Матросы выбросили трап, помогли спуститься, снесли на берег мои вещи, и пароход, громко прогудев на прощание, отчалил.

Я осталась одна на незнакомом берегу. Холодно, темно, все небо в тучах, накрапывает дождь. Надо куда-то идти, не оставаться же здесь до утра. Освоившись с темнотой, я разглядела крутой берег, но не очень высокий — метров четыре-пять. Наверху проглядываются контуры изб. Наконец, справа от себя увидела дорогу, ведущую в село, по ней спускался человек. Я обратилась к нему, объяснив, что направлена на работу из Колпашевского зооветеринарного училища. Выслушав меня, он сказал, что ветеринарный участок находится далеко и ночью мне до него не добраться. Поэтому мне лучше пройти в сельсовет, где можно переночевать. Затем незнакомец вывел меня на дорогу, помог поднести багаж, и, указав на сельсовет, распрощался и скрылся в ночи. Я осталась одна, вокруг — ни души, ни огонька, все спят. Через полчаса я оказалась у избы с вывеской «Сельсовет» и постучалась. Дверь открыла заспанная сторожиха: «Что надо?». Я объяснила, и она без лишних ворчаний пустила меня в контору, в тепло.

Просторное помещение в несколько окон, печь, в центре — письменный стол, вдоль стен — широкие скамьи. Указав на одну из них, сторожиха предложила мне расположиться на ней, сама же легла около печи.

Как была, одетая, подложив под голову узел с подушкой и одеялом, я тут же уснула и спала крепко. Проснулась, когда в сельсовете уже заседали какие-то люди. На спящую девочку внимания никто не обратил. Я быстро поднялась, объяснила кто я, откуда и куда направлена. Председатель показал дорогу на ветеринарный участок, но идти туда пришлось пешком — не менее километра. С деревянным чемоданом и тюком это оказалось делом достаточно утомительным. Ветеринарный участок располагался на окраине села, прямо за ним начиналась тайга, в этих местах сильно поредевшая. Вошла в просторный двор, посреди которого увидела несколько домов барачного типа и конюшню. В самом просторном помещении размещались манеж, бактериологическая лаборатория, аптека, комната, в которой готовили дистиллированную воду и контора с бухгалтерией.

Не без робости я вошла в контору и встретила там бухгалтера, который показался мне очень суровым в своей военной гимнастерке. Просмотрев мои документы, он сказал, что меня ждали, так как отправляли заявку в училище, потом разыскал заведующего ветеринарным участком и дальнейшая беседа была у меня уже с ним. Это был рыжий-рыжий, весь в веснушках, мужчина средних лет. Без долгих разговоров, он показал мне лабораторию, сказав, что заведующая будет завтра, и пообещал выдать мне аванс, так как я пожаловалась, что денег у меня нет.

Потом меня определили на жительство в соседний барак, новый, бревенчатый, одноэтажный, четырехквартирный, вернее — четырехкомнатный, где каждая комната имела отдельный выход во двор. Мне отвели половину довольно просторной комнаты с печкой-плитой в центре. Кроме меня, здесь жила еще зоотехник — женщина средних лет, часто работавшая в командировках. Однако она поселила к себе родню: своего брата, вернувшегося с фронта, его жену и трехлетнюю дочь. Они здесь жили постоянно, за печкой соорудили из широкого стола кровать, а мне был оставлен диван во второй половине комнаты, поближе к входной двери. Между окон примостился маленький стол, табуретки — вот и вся обстановка. Ни о каком уюте здесь говорить не приходилось, все было подчинено условиям суровой реальности — лишь «спальные места» и плита для обогрева и приготовления пищи.

На следующий день я познакомилась с коллективом, в котором предстояло работать и разделять быт в наступающую зиму. Каждый здесь был на своем месте, делал свое дело, ссор и недоразумений между людьми не было. О заведующем я уже упоминала, он чувствовал себя здесь хозяином, далеко не всегда бывал на рабочем месте, жил в том же доме, где поселили меня, но в более просторной квартире. Однако главным лицом на участке чувствовала себя ветеринарный фельдшер Валентина, женщина решительная и властная, все прислушивались к ее мнению по любому вопросу. Манеж обслуживали три санитарки и уборщица Анастасия. Часть сотрудников жила на территории участка, другие — в селе.

Село Кривошеино, очень большое и хорошо обжитое, раскинулось вдоль берегов Оби и впадающей здесь в нее Томи. Места вокруг очень красивые — заливные луга, леса, ягодные кустарники. Кроме русских здесь жили татары, возможно, потомки Орды, а также высланные из Поволжья немцы, которые, собственно, были поселены не в самом селе, а где-то неподалеку, за проволокой, их гоняли на лесоповал и строительные работы, положение этих бедолаг было незавидным, за исключением нескольких из них, сумевших удачно пристроиться при начальстве.

Утром следующего дня я вышла на работу, познакомилась со своей непосредственной начальницей — заведующей бактериологической лабораторией. Получила аванс и продуктовые карточки. Меня, как «служащую», прикрепили к магазину, где полностью отоваривались продуктовые карточки, то есть, наконец, не только увидеть, но и поесть можно было 600 граммов масла, 600 граммов сахара и полтора килограмма крупы в месяц! Но далеко не все жители Кривошеина отоваривались в этом магазине, рядом с ним находился другой, «для населения», там о продуктах и думать не приходилось, а за хлебом толкались в очереди по двое-трое суток. А иногда вместо хлеба получали гороховую муку. Был и третий магазин, на задворках того, где предстояло отовариваться мне, — для «высокого» разряда чиновников и их семей.

По воскресным дням в селе открывался рынок. Здесь я покупала овощи, замороженное молоко — оно было дешевле натурального. В сибирских деревнях зимой замораживают молоко в мисках, затем дно миски чуть подогревается и молочный брикет вынимают и складывают в мешки или любую другую тару и везут продавать. Вкус этого молока несколько иной, чем у свежего, но вполне приемлемый.

Чувство постоянного голода отступило, но сытость, к сожалению, пришла не сразу — слишком долгими и тяжелыми были голодные годы...

Больше всего работы на ветеринарном участке оказалось у санитарок, уборщицы и бухгалтера, а мы, ветеринары, томились от скуки в ожидании своих пациентов: к девяти утра сходились у теплой печки в канцелярии и ждали, когда привезут больных коровушек или лошадок. Лаборатория вообще почти бездействовала, там просто делать оказалось нечего. Такова уж была «организация труда».

Пришла зима, она оказалась снежной и холодной. Высовывать нос на улицу не очень хотелось: одета я все еще была слишком легкомысленно.

Удивительно, но на участке не было ни книг, ни газет. Полагаю, что в самом селе библиотека была, но я до нее так и не добралась: далеко и холодно.

А я начала ждать... Мечтала о том, как уеду домой, увижу родной город и близких людей. Тетя Лида писала мне, что хлопчет о том, чтобы мы с сестрой вернулись, однако в подробности меня не посвящала. Переводы от нее тоже больше не поступали, тетя знала, что я теперь кое-что сама зарабатываю.

В это унылое время я познакомилась с главным ветеринарным врачом Мамлеевым, казанским татаринном, он пригласил меня к себе, познакомил с семьей — женой и десятилетним сыном. Но очень скоро я поняла, что Мамлеев хотел использовать меня в домашней работе, которая была не из легких: воду из реки носить, за коровой ухаживать... У его жены, москвички, было какое-то заболевание сердца, и конечно, ей все это было не по силам, но и я прислуживать больше не хотела.

Видя, что толковой работы в лаборатории нет и не предвидится, я взялась вести прием животных в манеже, научилась делать уколы и несложные операции, вскрытия павших животных. Селяне стали приглашать меня на дом, жизнь несколько оживилась. Ближе к весне на участок прибыли новые работники, на месте нашего заведующего появился новый, выше рангом — ветеринарный техник. Бывший фронтовик, он привез с собой семью — жену и четырехлетнюю дочку. Ходил он в еще достаточно крепкой военной форме, без погон. Я никак не могла понять, что заставило его забраться в эту глушь.

Вскоре прибыл еще один ветеринарный техник — по направлению из ветеринарного училища Томска.

Весной производили общий осмотр скота, делали вакцинацию, дел прибавилось. Меня уже посылали в короткие командировки в ближние колхозы, я почувствовала свою нужность, но... с волнением продолжала ждать вестей из Риги.

Ждала все время, но когда пришла долгожданная телеграмма, в которой было короткое: «Выезжай срочно Томск отправляемся скоро Ригу. Ира», так разволновалась, что не знала, что делать, и с чего начать сборы в дорогу.

В телеграмме не было указано, куда конкретно я должна была прибыть. Я засобиравшись, показала телеграмму заведующему и попросила расчет. Он не возражал. Не был против и Мамлеев, сказав: «Конечно, надо уезжать!». Отправилась в милицию выписываться, и тут возникла заминка. Паспортистка, посмотрев в мою справку «Удостоверение личности», сказала: «Выписать я вас могу, но в Риге вас не пропишут и придется вернуться...» Я в это поверить не захотела и продолжала настаивать на своем. Из Кривошеино меня выписали, но паспортистка оказалась права: и сложности, и переживания ожидали меня в Риге, да такие, каких я и представить тогда, в Сибири, себе не могла, но... был у меня верный ангел-хранитель, который и на сей раз пронес меня над бедой.

Собрала я свой фанерный чемодан, продала на рынке подушку и одеяло, узнала когда будет пароход на Томск и айда домой, в Ригу. Провожала меня лишь студентка из Томска Нина, простилась и скрылась за обрывом. А я опять одна-одиошенька стояла у самой воды (пристани здесь не было, трап с парохода сбрасывали прямо на берег) в ожидании. Ждать пришлось долго. Наконец, в ярких лучах заходящего солнца показался парходик, я поднялась по трапу, кто-то помог поднять багаж, я оглянулась, взглядом попрощалась с селом и направилась в каюту.

Она оказалась просторным помещением, пронизанное через иллюминаторы солнечным светом. Двухъярусные нары были почти все свободны, я заняла одни из них, задремала, но уже через несколько часов свистящий гудок оповестил нас о приближении к городу. Было шесть часов утра. Наступала новая жизнь. Я вышла на дебаркадер: раннее утро, тепло, солнечно, сдала вещи в камеру хранения и, почувствовав какую-то легкость, пошла вверх по улице.

Томск — старинный сибирский город, всегда славился своими высшими учебными заведениями, особенно — университетом, уникальной деревянной архитектурой, резными наличниками и ставнями.

Мною овладело бурное возбуждение. После эшелона, баржи, Ершовки, Айполово, Каргасока, Колпашево и Кривошеино — я в Томске, где есть железная дорога и еще многое-многое! Что меня ожидает, я не знала, но эмоциональный взрыв освободил во мне бездну энергии, и мне тогда все стало нипочем!

Первый вопрос, который выплыл в моем возбужденном сознании, был: а куда идти? Разум подсказывал, что следует отправиться на главпочтамт, откуда отправлена телеграмма. Так я и поступила. До почты оказалось не близко, она находилась в центре города. Пока шла, рассматривала прохожих. Девушки здесь были одеты уже по-городскому, у всех прически с завивкой. Добралась до почтамта, но он был закрыт, еще не было семи. Но вот появились служащие, открыли массивные двери. Я вошла в зал и показала девушке-оператору

телеграмму от Иры, она посмотрела в журнал регистрации и нашла Ирин адрес: это оказался детский дом для глухонемых детей. Туда мне и следовало идти. Потом выяснилось, что именно там было выделено помещение, где собирали детей и взрослых, направляющихся в Ригу. И снова я иду по дощатому тротуару, теперь уже в другой конец города.

Встретила меня сестра Ира, с которой мы не виделись более двух лет, потом вбежала Эрика Менгельсон. Как они, одна из Айполово, другая из Колпашево, добирались до Томска, не знаю.

Уже потом я поняла, какую огромную, скрупулезную работу проделали две немолодые женщины из Министерства просвещения Латвийской ССР, чтобы собрать здесь, на окраине Томска около восьмидесяти детей-рижан, высланных в 1941 году, потерявших родных и оказавшихся в совершенно разных углах Сибири. Как только они нас разыскали, как сумели всех оповестить — уму непостижимо! А какая это была ответственность!

Разместили нас всех в большом помещении, типа зала, прямо на полу. Каждому был выделен матрас, одеяло. Про постельные принадлежности не помню, как и не помню, как и где мы питались все те десять дней, пока жили в Томске — возбуждение было огромно.

В тот же день представительница из Риги повела меня на регистрацию, но со мной у нее были затруднения, ибо, по тогдашним правилам, я уже не подходила к отправке по возрасту. Когда-то в детском доме медицинская комиссия прибавила мне год, и по бумагам я числилась 1927 года рождения, вместо 1928-го, и следовательно, опять же по бумагам, мне было уже девятнадцать лет. Кроме того, в моем «Удостоверении личности» была вписана статья, согласно которой мне навеки был присвоен «титул» спецпереселенец, и жить мне можно было не ближе ста километров ото всех больших городов, в том числе и Риги. К счастью, в Томске как-то удалось договориться и меня внесли в список выбывающих в Ригу, где уже были свои сложности и переживания с оформлением вида на жительство и пропиской.

Одна из рижских представительниц попросила, чтобы я ей помогала в получении и распределении продуктов и в других административных делах, которые предшествовали отъезду. Для отъезжающих был выделен большой специально оборудованный товарный вагон-пульман. Мы к тому времени все были достаточно закалены и привычны к любым житейским условиям, и вагон этот никого не смутил

В Томске совершенно неожиданно мы встретились с айполовскими детдомовцами, которые были «трудоустроены» на военный завод. Я их помнила подростками, учениками четвертого-шестого классов. Втроем, Эрика, Ирина и я отправились их навестить. Подошли к заводской проходной и попросили вызвать наших девочек. Вскоре из-за ограды показались знакомые лица: тут и вечная спорщица Нечаева, и «бандитка» Акользина... Все улыбаются, рады

встрече. А мне они тогда показались очень маленькими, так и не выросшими за эти годы, и очень инфантильными. А ведь было им уже лет по шестнадцать-семнадцать.

Ужаснулись мы условиям, в которые их «трудоустроили»: военный завод, работа в три смены, общежитие на территории завода и нет права выйти за ограду без специального разрешения — все как в заключении. К тому времени они жили в Томске уже более года и с ностальгией вспоминали добрый детский дом, где персонал о них заботился и по-своему любил. Долго разговаривать с нами бедным девочкам не разрешили, из проходной их уже звали обратно, мы попрощались, теперь уже навсегда.

Помню, Акользина мне тогда вдруг призналась; «Я, Тамара, залезла в твой чемодан и украла слоников, теперь признаюсь». Мне оставалось лишь пожалеть несчастную девочку.

Была еще одна встреча, совсем неожиданная: прямо на улице мы столкнулись с директором детдома и его семьей. Остановила его Ирина и напомнила, что я тоже воспитывалась в Айполово, но он успел меня забыть. Разговор получился коротким и достаточно прохладным, директору было не до нас: его направили на другое место работы и он перевозил туда семью.

Предотъездные хлопоты заняли десять дней, и, наконец, разместив багаж и продукты на грузовой машине, я вместе с группой отправилась к поезду. Вагон был загружен под завязку. Ехало около восьмидесяти, а может быть и больше, человек. Здесь были не только дети и подростки, но и две или три пожилые женщины, потом приняли еще парализованную девушку, лежавшую на носилках. Все стремились домой, никто не роптал на неудобства.

Наш вагон прицепили к товарному составу. Когда он тронулся и стал набирать скорость, все собрались у открытых дверей, смотрели на уходящие туда, в Сибирь, луга и поля и... плакали. Плакали каждый о своем, о своих потерях, о пережитом и даже о том, что покидали землю, которую успели полюбить...

Опять поезд, опять поворот судьбы, все надеялись, что теперь он уже — к давно желанной свободе. А вот насколько тернист будет путь к ней — покажут время и жизнь...

ЭПИЛОГ

Поезд набрал скорость, и уникальный, единственный на планете город-музей Томск, каждый дом которого украшен деревянным кружевом, растаял вдали. Со смешанным чувством радости, неуверенности и тревожного еще ожидания поднялась я на нары. Эшелон скоро вышел на главную — Транссибирскую магистраль и понесся на Запад. Остановок было не счесть — нас отцепляли от одного состава и прицепляли к другому бесконечное множество раз, и процедура эта стала уже привычной. Стоянки могли быть долгими, а бывало, что через

несколько минут неожиданно, без гудков и предупреждений поезд трогался. Все к этому привыкли, особых запретов для нас не было, и выросшие за пять сибирских лет дети все смелее стали выходить на остановках из теплушек, бегать на станции, к привокзальному рынку. Правда иногда приходилось догонять поезд, но всегда каким-то чудом это удавалось. Помню, на какой-то большой станции шумный, веселый рынок. Смуглые симпатичные и нарядные татарочки продают что-то пестрое, интересное, умело зазывая пассажиров с проходящих поездов. Я залюбовалась этим великолепием и влилась в суetyающуюся, галдящую веселую толпу. Денег у меня не было, но было любопытство, которое хотелось удовлетворить как можно полнее. Но вдруг я увидела, что наш состав тронулся и уже начинает набирать скорость, а до вагона нашего уже не близко. И откуда только взялась тогда у меня прыть! Я рванула так, как не бегала потом никогда. К счастью, оказалось, что поезд наш не уходил, а всего лишь маневрировал. Но тот свой спринтерский рывок я не забуду. В другой раз, уже в Подмоскowie, наши руководительницы отправили несколько мальчиков за хлебом. Вдруг, как всегда неожиданно, состав тронулся и пошел. Казалось, что дело запахло жареным, но мальчишки быстро сообразили вскочить в попутную пригородную электричку и догнали наш товарняк. Всё обошлось.

За Москвой мы впервые увидели страшные следы войны. Господи, как же это всё люди пережили? Вместо домов — прокопченные пожарами печи, люди живут в землянках. Вдоль железнодорожного полотна, восстановленного наспех — с обеих сторон громоздятся перевернутые, обгоревшие вагоны, паровозы, другая техника. Хорошо запомнившийся с 1941 года город Великие Луки — в развалинах. Весь! Какие-то женщины в платках, низко надвинутых на заполненные горем глаза разложили перед собой жалкий «товар»: «Купите!... Купите!...» Мы бы купили — ягоды, картофель! — но денег нет и у нас. Так и ехали по долгой дороге через горе людское, но — домой!

Наконец, 15 июля 1946 года показались пригороды родного города, знакомые с детства улицы, и — остановка. РИГА! Встретил нас приветливый интеллигентный мужчина в сопровождении нескольких женщин. Оказалось, что это директор и сотрудницы детского дома. «Опять детский дом!» — разочарованно подумала я, но нам скоро объяснили, что в город нас выпустить сразу же не могут, надо пройти медосмотр и карантин.

Дальше — грузовик, Задвинье, баня, новое чистое белье и сытная еда. Особых запретов никаких, кроме одного, но очень строгого: выходить за территорию детского дома и с кем-либо знакомиться. Только через несколько дней состоялись первые встречи с близкими. К нам с Ириной пришли тетя Лида, две наши кузины, моя крестная Наталья Трофимова и крестница нашей мамы Аля.

Разговоры, рассказы о близких...

Обе кузины в конце июня 1941 года оказались бездомными. Они жили рядом с Петеркирхой, и случилось так, что подожженная снарядом деревянная башня собора рухнула на их дом, который тоже вспыхнул и сгорел. В 1944 году они вместе с родителями оказались в лагере для «перемещенных лиц» и только что вернулись в Ригу.

В Риге на момент нашего возвращения жили три маминых брата: Иван, Михаил и Алексей. Еще два маминых брата погибли в войну. Дядя Ваня вскоре навестил нас, но чувствовалось, что он не очень рад встрече, говорил сухо и все время куда-то торопился. Дядя Ваня с женой занимал четырехкомнатную квартиру в Иманте и имел хорошее хозяйство. Я не сразу поняла, что он побаивается, что его попросят о материальной помощи. К дяде Мише мы с сестрой отправились сами. Раньше с ним жила наша бабушка Ксения, но нашего возвращения из Сибири она не дождалась, скончалась в марте. Она оставила для внуков ценные подарки (соболиные меха, натуральное русское кружево и что-то еще), но дядя Миша дальше прихожей нас не пригласил: «А, прибыли!..» — констатировал он. На том и простились. Примерно так же повел себя и третий мамин брат — Алексей Ильич. Он работал тогда кассиром на станции Булдури, и когда мы с сестрой пришли туда, он, выглянув из кассового окошка, поприветствовал нас, но не счел нужным даже поинтересоваться, как погибла его сестра. Больше этих родственников я не видела никогда.

А тетя Лида, не побоявшаяся возможных последствий хлопот о ссыльных родственниках, поселила нас с сестрой на своих четырнадцать квадратных метрах коммуналки. Ее соседи оказались тоже хорошими людьми и отнеслись к нам вполне дружелюбно.

Неожиданно нас навестила тетя Тина — так мы называли бабушкину сестру Клементину Иоганновну Цветикову. Помню, как в комнату вошла подтянутая, почтенная пожилая дама среднего роста, в костюме и шляпе. Сначала она обратилась с заметным акцентом к тете Лиде, своей племяннице: «Лидя, вот я пришла повидаться с прибывшими родственницами». Затем, удобно разместившись в кресле, повела разговор со мной: «Расскажи мне, что и как было, все, что помнишь, а главное — как, где, от чего скончалась Мария». Беседу она вела свободно и душевно, когда я замолкала, задавала вопросы, даже успокаивала, понимая что обо всем этом говорить непросто. Закончив разговор, встала, оглядела себя в зеркале, поправила костюм и прощаясь пригласила в гости к себе, что мы не замедлили сделать в самые ближайшие дни. К сожалению, тетя Тина в процессе национализации лишилась всего, снимала комнату у знакомых, где кроме книг и дивана ничего не было. А книги ей приходилось продавать, этим и держалась. Скончалась она в возрасте 86 лет, в то время я училась и меня в Риге не было. Но удивительна связь времен — когда я после долгих странствий вернулась в 1991 году в Ригу, и мы с кузеном Виктором пришли на Покровское кладбище, он повел меня по зарастающей тропинке, приговаривая: «Вот здесь где-то похоронена в 1959 году тетя Тина... Я здесь лет двадцать уже не был, никак не могу найти ее могилу...» Витя шел впереди,

я следом, и почему-то остановилась у вросшей в землю, забытой могилы. «Вот она», — говорю, и читаю едва видимую надпись. Что меня тогда остановило?

Казалось, что жизнь наша начала налаживаться: мы в родном городе, с тетей Лидой. Однако, впереди было самое сложное мероприятие — тете Лиде надо было меня прописать. Она объяснила, где находится милиция, и я совершенно спокойно туда направилась, сдала документы паспортистке, та, всмотревшись в них, вдруг разволновалась, начала спрашивать, как я вообще оказалась в Риге, потом побежала в другой кабинет, вернувшись твердо сказала, чтобы я в тот же день пришла с тетей Лидой. У меня внутри что-то оборвалось — я вспомнила предупреждение паспортистки в Кривошеино: «Вас в Риге не пропишут, все равно вернетесь...» Тетя Лида тоже заметно разволновалась, потом порылась в бумагах и что-то там нашла. «Пошли», — сказала она. Не знаю, что это был за документ, но, видимо, очень важный, потому что лицо паспортистки заметно изменилось, когда она его увидела. В общем, и это дело уладилось. И опять — спасибо тете Лиде, светлая ей память.

* * *

И все же, вернувшись в город детства, полагая, что долголетняя мечта исполнилась, я испытывала и некоторое разочарование. Город оказался другим, не тем, который хранила память. Артиллерийскими снарядами была разрушена набережная Двины, на которой я так любила стоять, наблюдая во время ледохода, как бьются и громоздятся друг на друга льдины, как они наваливаются на берег и на парапет набережной. Но, трамваи ходили и звенели под все теми же номерами, тянулись по улицам автобусы.

Старую Ригу трудно было узнать без шпиля Петеркирхи, без дома Черноголовых, ратуши и симпатичного рыцаря, мимо которого я каждый день пробегала в школу. Место, где был дом Трофимовых, тоже не узнать — все разрушено так, что иногда казалось, что и не было ни этого дома, ни многих других, что приснились они в каком-то хорошем сне и растворились вместе с ним.

По уже почти полностью очищенной от развалин Ратушной площади я направляюсь к улице Грешников, перехожу дорогу и не верю своим глазам — моя родная школа, находившаяся прямо против разрушенного Дома Черноголовых стоит цела и невредима (уж не потому ли, что тринадцатая?), только теперь в ее помещении расположилась детская художественная школа. Я поднимаюсь по лестнице, все на своих местах, но уже другое, не моё.

А рядом — развалины Дома Почты и знаменитой кондитерской Отто Шварца. Люди кажутся чужими — озабоченные серые лица, для них я тоже всего лишь случайная прохожая, вот промелькнула, и нет меня. Нет, это была не моя Рига. Это был не тот город, в который я так хотела вернуться.

На работу я устроилась в Министерство сельского хозяйства статистиком Ветеринарного управления. К десяти надо было быть на работе, днем перерыв, столовая с миской непонятного варева и вечер, который девать некуда. Интуиция подсказывала: надо учиться. Но где? Вдруг в газете вижу объявление: «Открывается вечерняя средняя школа», адрес. Похоже, что это для меня.

В вестибюле старинной гимназии на улице Валдемара за обычным столиком сидит мужчина в серой шинели, рядом толпится молодежь, у всех в руках какие-то листки. Оказалось, что это — заявление о поступлении в школу. Написала и я, встала в очередь, подаю бумагу человеку в шинели. «Хочу поступить в восьмой класс, но свидетельства об окончании семилетки у меня нет, оно там-то и там-то». Человеком в шинели оказался директор школы Дмитрий Иванович Блинов. Он успокоил меня: «Неважно, была война, у многих документы пропали или утеряны. Поступайте. Не сможете учиться в восьмом, перейдете на класс ниже, в этом нет ничего страшного. Мы принимаем всех».

Так я оказалась в вечерней школе. Желание учиться у молодежи тогда было велико — набралось три параллельных класса. Задачу нам всем Дмитрий Иванович поставил серьезную: «Образование у нас должно быть ничуть не хуже, чем в школе дневного обучения!», и мы старались. Теперь каждый вечер у меня был не просто занят, а перегружен, часто приходилось прихватывать часть ночи. Очень мешали проблемы со светом — Кегумская ГЭС, разрушенная войной, еще не была восстановлена. Приходилось пользоваться коптилкой — бутылочкой с чем-то горючим, в которую воткнут фитилек. Да и холодновато было в квартирах, топили плохо, батареи отопления еле-еле нагревались. Все продукты продавались по карточкам, чтобы отоварить их приходилось выстоять огромную очередь, в которой чего только не услышишь. Кто-то говорит полусшепотом, что вот-вот придут англичане и наведут порядок. Почему именно англичане — это мне непонятно и странно как-то...

Но все же главное было в том, что я хожу в школу. Стараюсь быть прилежной и вскоре оказываюсь вполне сносной ученицей, а позднее иногда и в пример кое-кому ставили. Вокруг — люди самые разные, но объединяет их всех одно — война. Были в нашем классе и фронтовики, иногда — инвалиды. Среди одноклассников нашлись и подруги, общение с которыми позволило отвлечься от «странностей» родственников, трудностей быта. Однако, о пережитой ссылке, гибели родителей я не распространялась. К счастью, меня об этом и не спрашивали. Жизненные передраги ушли куда-то в сторону, время уже не тянулось, оно несло, его никогда не хватало: восьмой, девятый классы пронеслись, как курьерский поезд, пришло время последнего и решающего — десятого. Стала задумываться — а дальше что? Конечно, учиться, но заочно уже не хотелось, устала. Однако рассчитывать мне по-прежнему приходилось только на себя. Обстоятельства с возрастом усложнялись, надо было принимать серьезное решение.

Но тут судьба в очередной раз подсказала, что делать. В класс кто-то принес газету, издаваемую в Ленинградском Горном институте, в которой подробно излагались специализация этого вуза, его славная история и условия приема. Обращалось внимание на льготы студентам-горнякам по сравнению с другими институтами. Но самое главное было — специальности, которыми можно было овладеть. И хотя я о геологии, минералогии, разведке полезных ископаемых имела весьма общие представления (в основном по знаменитым книжкам академика А. Е. Ферсмана «Воспоминания о камне», «Занимательная минералогия» и другим), но мечты о походах в горы, о занимательных путешествиях я лелеяла с детства.

Итак, решение принято! Отправлены в Ленинград документы. Никакие доводы, что этот вуз совсем не женский, что для учебы в нем требуются серьезные знания точных наук, не смогли переубедить меня. И вот она — совсем новая жизнь: я поднимаюсь по ступенькам главного входа в здание Горного института, построенного замечательным русским архитектором Ворониным. Я — студентка, будущий геолог. И всё еще впереди...

ДОКУМЕНТЫ О ПЕРЕЖИТОМ

Приближалось третье тысячелетие.

Казалось, ничто не предвещало серьезных перемен в судьбе народа огромной страны, когда почти так же неожиданно, как и возник, рухнул дьявольский, лицемерный режим, три четверти века державший неограниченную власть над людьми.

Постепенно стали приоткрываться секретные и совершенно секретные фонды многих архивов, и одно за другим открывались перед наследниками тщательно охраняемые тайные «Дела», заведенные на ЧЕЛОВЕКА.

Я не могла себе представить (и даже подумать об этом!), что когда-то буду держать в руках, листать и читать «Дело № 5440/484», заведенное на моего отца Никифорова Стахия Дмитриевича, и «Архивное дело на семью Никифорова Стахия Дмитриевича за № 16897».

Но наступил такой день: я сижу в Государственном архиве Латвийской Республики, и на столе передо мною — две пожелтевшие и изрядно обветшавшие от времени папки. Пытаясь подавить подступившую от волнения дрожь, открываю «Дело № 5440/484» и медленно вчитываюсь в каждое слово на первой странице. Это — постановление на арест, датированное 4 июня

1941 года. Второе «Дело» — под грифом «Совершенно секретно». Оно датировано 10 июня 1941 года. Читаю в нем: «С. Д. Никифоров арестован как белогвардеец и антисоветчик.

Семью выслать: Никифорову Анну Ильиничну, Никифорову Марию Ивановну, Никифорову Тамару, Никифорову Ирину...» Подпись: Гавар».

Задумываюсь — две даты: 4 июня и 10 июня... Да, припоминаю: за неделю до ареста к нам приходил милиционер, который тщательно переписал всех живших в доме. Это очень взволновало маму, но тогда она не понимала еще, что мы, как кролики, кем-то предназначены для пасти удава.

Следом в «Деле» идут анкетные данные, биография, место для фотографии арестованного и протокол допроса, который, судя по всему, велся в Соликамске, в Усольяге.

Любопытен датированный 1971 годом «Протокол осмотра Архивно-учетного дела» с целью обнаружения установочных данных на источников информации с псевдонимами «И—135» и «Вера». Я имею смелость полагать, что под этими кличками обозначены осведомители на моего отца Стахия Дмитриевича Никифорова.

Другим документом, имеющим явное историческое значение являются письма из Сибири Шуры Милгравис, любезно предоставленные мне ее родственницей. Я привожу их здесь без купюр и исправлений.

* * *

На этом дело № 5440/484, начатое, как следует из «Постановления на арест» 4 июня 1941 года, закончилось 25 февраля 1991 года, то есть через пятьдесят лет.

Документом о реабилитации достойного человека, моего отца Никифорова Стахия Дмитриевича, закончу свое повествование и я. И пусть рассказ о времени и близких мне людях, которые в нем жили, любили, боролись и умирали, ляжет венком памяти на их могилах, затерянных в пространствах необозримой страны – грешной, но все же великой страны наших предков.

Автобиография

Милгравис Александры Алексеевны,

прож. в г. Рига, ул. Золитудес 7, кв. 1

Я родилась в 1909 году 10 апреля (нового стиля) в селе Варез, Павловского района, Горьковской области.

Мои родители — отец Скворцов Алексей Семенович, и мать, Скворцова Надежда Кандидовна, долгие годы работали на фарфоро-фаянсовом посудном заводе (б. Кузнецова) в Риге. Отец был фабричным скульптором-модельщиком, мать — рисовальщицей посуды. Отец, имея кроме специального еще и музыкальное образование, весь свой досуг посвятил хорошему делу, привлекая и организуя фабричную молодежь к культурной работе. Усилиями отца был создан на заводе мужской хоровой коллектив, с успехом выступавший на вечерах рабочих завода.

На посудном заводе отец проработал непрерывно 53 года. Он участник рабочей демонстрации 1905 года.

За честный труд в 1942 году администрация завода выразила отцу благодарность.

Отец воспитал четырех детей, умер в 1948 году от рака пищевода.

Мать, несмотря на многодетность, проработала на заводе 28 лет. Умерла от разрыва сердца в 1954 году.

В 1928 году я окончила Рижскую Правительственную Русскую Среднюю школу и поступила на курсы бухгалтерии и машинописания. Закончив курсы, я с 1928 года работала на резиновой фабрике «Сарканайс Квадратс» (б. «Квадрат»). В 1934 году по состоянию здоровья я вынуждена была оставить работу и лечиться.

В 1937 году я вышла замуж за Милгравис Яна Яновича, офицера Латвийской армии в чине капитана. К моменту замужества Милгравис Я. Я. В рядах Латвийской армии уже не состоял, а работал зав. хозяйством Православного Синода в г. Риге.

В 1940 году мне предложили работу в депо Шкиротава Латвийской железной дороги в качестве бухгалтера расчетного стола, где я проработала с 1940 по 1941 год.

Проживали мы по адресу: Рига, ул. Малая Пилс, 11, кв. 2.

В 1941 году меня в отсутствие мужа выслали из пределов Латвийской ССР. На вопрос, в чем состоит мое преступление, мне ответили, что я подвергаюсь высылке как член семьи. О судьбе мужа я в 1945 году узнала только то, что он, возвратившись домой и узнав о случившемся, немедленно явился в милицию.

17 июня 1941 года его также выслали из Риги.

С 1941 года я проживала в п. Моисеевка Васюганского района Томской области и работала бухгалтером колхоза «Красный Север» (ныне колхоз имени Калинина, пос. Волково).

В ссылке находилась до 1955 года. 17 июля 1955 года меня сняли с учета спецпоселения, что дало мне возможность получить паспорт и вернуться на родину в Ригу 29 июня 1956 года.

О судьбе моего мужа до 1955 года я ничего не знала, только в 1955 году мне стало известно, что он умер 21 апреля 1942 года в лагере в Кировской области, на что мне выдано свидетельство о его смерти.

В борьбе за существование я работаю всю свою жизнь.

Ни в каких партиях или организациях не состояла, к суду не привлекалась.

Местонахождение и стаж моей работы следующий:

Рига. Резиновая фабрика «С. Квадрат». 03.07.1928 — 07.09.1934.

Рига. Магазин «L. Vilchelmo». 15. 02.1935 — 15. 02. 1936.

Рига. Аптекарский магазин провизора Петрова. 01.10.1938 — 15.06.1939.

Латв. ж/д депо «Шкиротава». 04.01.1940 — 14.06.1941.

Колхоз «Красный Север» (Томская обл., Васюганский р-н). 08.1941 — 06. 1955 (по совместительству — зав. маг. Васюганского сельпо с 04.10.1948 по 06.03.1956 г.)

Рижская детская железная дорога, где я работаю завхозом-кассиром с 05.10.1956 и по настоящее время.

За работу в период ссылки имею поощрения и благодарности.

Все вышеизложенное в части трудового стажа и поощрений как родителей, так и моих подтверждается документально.

Александра Милгравис.

21 ноября 1956 года.

ПИСЬМА ШУРЫ МИЛГРАВИС

Письмо первое

16 июля 1947 года

Дорогие мои, бесценные родители мамочка и папочка!

Шлю вам свой глубокий дочерний привет и благодарность за практичную посылку, которую вчера получила. Радости моей нет конца, набежало колхозников куча, все хвалили да охали. Когда детям дала по изюминке, то они сперва клали в рот недоверчиво, а раскушав, в голос завопили: «Няня, ещё!» Взрослые называют изюм «урюп», почему это — не знаю. Теперь я целый «капиталист», все есть — и посуда, и одежда. Ножницы острые, уже лажу ими конверты.

Мамочка! Мелочи разные — большое дело у нас. Нет ничего ненужного, и крючки, и кнопки — настоящее богатство. Можно всякие обмены делать, вроде: я вам дам крючок, а вы мне сбейте кирпич на плиту. Мужики ухватились за подпилочек и обещают по-соседски не отказывать зимой в дровах, а это большое дело. До зимы-то не хотелось бы здесь дожить, всё думаю к вам вернуться, мои дорогие родные, а если Бог судит иначе, то зимой тепла обещают — и то хорошо. За дровами в тайгу ездить надо, пилить да возить. Нелегко это.

Дорогие мои мама и папа! Получила справку из нашего сельсовета, то есть органа советской власти на селе, так именуется сельсовет. Высылаю ее вам вместе с заявлением в Верховный Совет Латвийской ССР. Папочка, переговоры с Зариным И. В. (ты писал, что он нами как-то заинтересовался), может, он больше связи имеет. Может быть, лучше адресовать на МВД? Если да, то пусть Лиза перепишет и подпишет «Милгравис». У меня почему-то родилась надежда на счастье. Справку из сельсовета тоже не сразу-то получишь, все cedят нас чужих,

но, видимо, меня не так чтобы хаяли. Ты умный, папочка, и обдумаешь куда лучше обратиться. Пришла мысль: не писать адресата, — это вы сами сделаете, — куда надумаете подать.

Очень жду от вас сообщения о том, что вышло на опросе у секретаря, как ты писал. О чем спрашивал и что говорил. Из всего «нашего» положения ясно одно, — вернуться можно, только надо знать где нажать кнопку. Эта кнопка у вас где-то, здесь, на месте, только дадут отзыв, если запросят от вас. Мне пришла еще одна мысль: написать прошение в Кремль Сталину, только тоже не через местную почту (не отправят!), а через Ригу. Но это еще обдумаю и подожду вашего совета.

Мамочка! Сетка очень кстати — гнус съедает в прах. Подмажу дегтем, ни одна мошка не доберется. Спасибо тебе, родная, все так хорошо придумано.

Завтра обещали мне свободный день, буду огребать картошку, очень заросла...

* * *

Таких посланий было несколько. И кому только не писали: Берию, Швернику, местным, латвийским, властям...

Ходатайство родителей о возвращении дочери на родину

Председателю Президиума Верховного Совета Союза ССР

Товарищу Швернику

от инвалида труда

Скворцова Алексея Семеновича,

проживающего в г. Рига, ул. Золитудес, № 17, кв. 1.

Ходатайство о помиловании

Уважаемый тов. Шверник!

Я обращаюсь к Вам как к нашему избраннику и руководителю высшего органа Советской власти.

Прошу помиловать мою дочь Милгравис Александру Алексеевну, 1909 года рождения, которая по клеветническому навету была выслана в Сибирь из города Риги в июне 1941 года. В настоящее время моя дочь находится в поселке Моисеевка Ново-Васюганского района Томской области и работает в колхозе «Красный Север».

За время работы в данном колхозе моя дочь, исполняя обязанности бухгалтера колхоза, честно относится к труду. По своей инициативе организовала ряд общественных кружков среди колхозной молодежи. Во время выборов в Верховный Совет СССР она была признана лучшим агитатором по своему избирательному округу.

За хорошую работу на производстве и успехи в выполнении общественных обязанностей в период Великой отечественной войны она была представлена к правительственной награде — медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне советского народа 1941—1945 гг». Кроме того, она неоднократно премировалась и получала благодарности.

Разлука с любимой дочерью сильно подорвало мое здоровье. Я человек преклонного возраста, инвалид.

Уважаемый Николай Михайлович! Мы с женой-старушкой убедительно просим Вас помиловать нашу дочь и вернуть ее на родину.

О Вашем решении прошу Вас мне сообщить.

С уважением

Скворцов Алексей Семенович.

* * *

Письмо второе

(Это письмо Шуры Милгравис — реликвия. Оно написано примерно в 1955 году из остяцкого поселка Моисеевка, что неподалеку от Огнев Яра в Васюганье).

Здравствуйте мои дорогие родные — Тека, Лолита и детки Мариночка, Коля, Танечка!

Всем вам шлю свой сердечный привет из снежной Моисеевки, где живем мы — пять семей — как Робинзон Крузо. Связь у нас прервана.

24 октября пришел остяк Иван, уже последним осенним путем, обласок¹ оставил на берегу, а сам — пешком через тайгу, или урман, как они его называют. На реке начали появляться забережки, ехать опасно — обласки здесь делают осиновые, того и гляди льдиной пробьет. Он привез Лизино сентябрьское письмо, которое своим содержанием очень и очень огорчило. Конечно, мы все сейчас больны от нетерпения, но от меня ли зависит одолеть природные препятствия вечного, глухого урмана, и есть ли силы у меня для того?

Вам непонятна здешняя обстановка, как и мне, и многим из нас она была м\и остается непонятной и до сих пор. Огорчение мое прошло, конечно, но надолго лишило меня всякого равновесия, а ведь сила мне нужна, чтобы суметь выбраться из этой трущобы.

Марта жила в районе, и то не могла выехать тогда, когда ей объявили свободу, а дожидалась лета, а я и вовсе от района живу в 220 километрах. Ни дорог, ни транспорта — нет ничего. В конце мая приходит катер в отдаленные поселки, если позволяет речка, забрасывает в сельпо² продукты, товары, а из урмана вывозят заготовки разные и народ, кто решил выехать. Еще один без багажа как-нибудь сговорится с остяками, на обласке чтоб увезли в район, но стоит это все, Лолита, дорого, а где деньги брать? Вот почему я и зимую в Моисеевке, вместе с другими, кто тоже готовится на выезд. Здесь человек не управляет природой, а природа диктует свой закон, человек должен подчиняться. Сегодня уже 8 декабря, а связи никакой нет. Приходили два пешехода на лыжах в магазин из соседней юрты за 12 км, и всё. О том, как урман и бездорожье мучают людей напишу несколько слов.

Лизино и крестнино письмо от 11—12 октября с. г. я получила совсем случайно 29 ноября вечером. Почему случайно? — читайте.

Один парень из соседней юрты с другим мужчиной-соседом вздумали по бездорожью тайгой пройти на Огнев [Яр]. Парню пришел перевод от матери из Новосибирска (сюда он осенью приехал к отцу в гости и остался, так как застигло бездорожье). Вот он и решился пойти получить его. Идти 50 км в один конец, дороги нет. Погода стояла теплая, снег валил мокрый, болота не промерзли, озера обходили по кромкам, трудностей было много. Туда дошли ничего, — получил он деньги, захватил и почту, которая лежала в Огневке (видно, еще по воде приходила, последняя). Среди писем были и для меня два письма. На полпути от дома пошли в обход озера по кромке. Озеро это очень большое, на нем я однажды тонула с

лошадью, чудо спасло. Сосед — сильный мужчина — пошел побыстрее, скричал, чтобы Юрка не отставал, так как до дома было еще далеко, а хотелось дойти к вечеру. Этот Юрка не успевал за ним, а тут еще собака залаяла на глухаря, он решил выстрелить, там белка выпрыгнула, взял азарт, — стрелет раз, другой, — запутался в своих же следах. От края озера было всего 75 метров, а выйти не смог. С дороги сбился, взял неправильный курс, вместо домой пошел обратно и блудил по урману четыре дня и ночи. Тут как на грех поднялись метели с морозом, отец просил наших остяков помочь его искать. Думали, что его задрал медведь, или провалился в трясину. Отчаяние было большое. Этого парня я знала, когда ему было четыре года, их два брата. И вот на четвертый день ночью кто-то вошел в сенки их избушки в юрте Пашкино и попросил пить. Отсяк, что пошел на поиски, у них ночевал, — встал, зажег лампу и увидел Юрку. Вид его был страшный. Сам худой, черный, окоченелый, со спущенными брюками, а ноги, ноги! Это были не ноги, а столбы ледяные. Начали его разувать и раздевать. Одного льда вынесли два таза с ног. Он уже шел не на ногах, а на настывшем льде.

Мы здесь ничего не знали, — только когда от них пришел гонец за водкой, то и мы узнали о несчастье Юрки. Отец его мне писал, что ноги выше сустава черные и бездействующие, народ советует натирать водкой. Так Юрка пролежал в глухой таежной избушке 12 дней без всякой медицинской помощи. Ноги из черных стали зеленые, холодные, сам он двигаться не мог.

2 декабря над Моисеевкой летел самолет. Мы думали, что в тайгу он летит, как обыкновенно, но нет — видим, начал кружиться над нами и сбросил записку с просьбой указать, где приземлиться.

Место указали на полях за огородами. Он спустился. Оказался санитарным, вылетел в разведку насчет Юрки, это через 12 дней, — а Юрка уже гнить стал. Обещали доставить Юрку в Моисеевку 3 декабря, тогда самолет прилетит опять и возьмет больного. Послали колхозную лошадь за ним. Утром рано слышу цокают около моей избушки. Вижу — подъехали ко мне. В ту ночь мне не спалось, я встала рано, натопила тепло в избе, было чисто. Пришел отец и просит, не отказать внести Юрку ко мне, чтобы дождаться самолета. Конечно, разве можно отказать в беде! Юрку внесли, уложили на мой топчан. Когда он увидел меня, то первое что спросил, это: «Тетья Шура, вы получили свои письма, за одно я расписался». Конечно, я благодарила его за заботу. Почту он нес из-за уважения ко мне, так он сказал, в дороге и иголка тяжела, но он с этим не считался. Это были Лизино и крестнино письма. Не спаси Юрку чудо, осталось бы всё в вечной тайге — и Юра, и почта.

Когда он немного отдохнул, покушал, — стал рассказывать о страшных мучениях. Уже в последнюю ночь, когда он почувствовал, что погибает — ноги обморожены, идти не мог, сам тоже весь мокрый и обмерзший, — решил наставить курок. Приготовил всё, только спустить

— и одним ударом покончить жизнь. И тут пришли на ум дети соседа, а их четверо, все маленькие. «Я умру, меня не найдут, а соседа засудят за то, что станут подозревать в убийстве. Дети погибнут без отца....» И собрав последние силы, он каким-то чудом выбрался на знакомые места в семи километрах от дома.

Ноги его я видела — черно-зеленые, мертвые, гниют, вонь страшная, опрели. Пропал Юрка, отнимут ему ноги ниже колен немного, и будет он калека. В час дня прилетел самолет, его уложили на носилки и улетели в район. Какова судьба Юрки, не знаем, — связи нет, дорогу, хоть и топтали немного, но снова ее перемело... Вот какие дела в тайге. Когда через 12 дней за больным прилетели, то что говорить о лизиных литерях, о которых она мне пишет. Описала я это, чтобы вы представили себе, какая здесь природа и как ее преодолевают.

Свои силы я знаю, мне не выдержать даже малейшего напряжения, сразу же мне делается худо, и я болею. Поэтому из Моисеевки смогу выбраться только весной, на катере в район, а там пароходом дальше до железной дороги. Другой возможности у меня нет. Есть у меня немного нужного багажа. Постель, одежда. Будет посылок пять или четыре. По секрету: Танечке и Коленьке, как малышам, готовлю сибирские подарки. Остятка Катя сшила Коле унты — это меховые сапожки. Я вышила опушки, сделала кисточки, получилось очень оригинально. Танечке приготовила зайчинку беленькую на шапочку, тоже будет красиво девочке. Есть еще у меня оленья шкура и рога, — всё на память о Сибири.

Бабка Маланья мягчит мне двенадцать белочек. Словом остяки наши охотно пошли мне во всем навстречу, они любят пить «кирпичный» чай, а я их зачастую угощаю, когда они заходят ко мне. Маланьюшка — так та просто говорит: «У тепя, девка, есть тьяй кирпичнай, охота пить! Я ишо не пил, голова болит, силы нету». Ну, конечно, нальешь ей: сколько хочешь пей, не жалко! Чай у них — главное.

Сейчас я не хожу на колхозную работу, пока нет подходящей. Вот когда скот пригонят из Волкова, наверно придется дрова готовить для паровика, где греют воду на водопой скоту.

Мне даже не верится, что полтора месяца я сижу дома и не хожу на работу. За это время я подобрала все свои вещи к порядку и готовлюсь сдавать магазин, чтобы освободиться от всех обязанностей. Поросенка и овечку своих мне забил отец Нюры. Мы его просили, чтобы он помог, а то некому было забивать. Скот мой хороший, но нет приемщика еще. Говорят, что он улетел в тайгу, там вести прием скота, и до сих пор от них (100 км) нет никого ни пешего, ни санного, — словом, дорогу еще не протали. Наверно, трудно очень, так как их дорога почти сплошь болотом, а оно не промерзло, легко можно лошадей утопить, тогда отвечай перед колхозом.

Лолита! Мои дела такие сложились: когда в июле (конце) мне удалось выехать в район за справкой, то я пошла также к фотографу. Это эстонка, женщина — одна снимает в районе. Она очень болела, лежала в постели. Я ее очень просила меня сфотографировать и проявить, потому что заодно я хотела и получить паспорт, хотя справок с места работы у меня не было на руках. Но всё ведь думаешь: а может быть удастся, тоже хотелось всё охлопотать. Но не вышло так. Снять она сняла, а проявить не смогла, лежала с температурой большой, так что я не дождалась и уехала домой. Она мне в сентябре прислала карточки, теперь с этим делами покончено. Всё в порядке. Теперь с работой. Наше Огневоярское сельпо присоединили к Нововасюганскому, т. е. к районному новому управлению. Я написала заявление о снятии меня с 3 отд., т. к. я уезжаю. Первой почтой отправлю его правлению сельпо. Если колхоз мне не выдаст справку, на основании которой я должна получить паспорт, то я буду просить начальника милиции выдать мне паспорт на основании справки об увольнении с работы в сельпо, а там мне справку дадут. Так как мы живем в поселках, то нам нужно еще получить справку из нашего сельсовета на снятие с учета и право получения паспорта. Об этом я уже говорила с председателем сельсовета изнаю, как надо делать. Зимой думаю ехать в Огнев Яр, вернее в Медведку, куда перевели сельсовет и все сделать, что нужно.

Лиза и ты писали о деньгах на дорогу. Спасибо вам за заботу. Сейчас мне не надо денег, если они и придут, то будут лежать на почте, получить я их все равно не смогу. Самой не сходить 100 км, а связи нет, да еще надо доверенность заверять в сельсовете, теперь его перевели в Медведку — это 14 км., т. е. надо целый день идти. Видите сами, какие наши удобства. Это, дорогие мои, не Европа, а Сибирь, еще не отесанная, где все берется людской силой, а не машиной.

Эти дни всё пуржит. Сегодня ночью был сильный ветер со снегом и сейчас еще не перестал. Снега много, лежит и преет, а морозов еще больших не было. Вчера говорила с остяком Егором, чтобы он нарочным от сельпо сходил на Огнев Яр. Плачу ему 30 рублей. Ну вот, дождемся утра, увидим — пойдет он или нет. Если пойдет, то и письма мои к вам уйдут и вы узнаете о моей жизни.

От крестной получила письмо. Мне жаль ее, бедную старушку, болеет, а сама еще пишет. По моему, Лиза напрасно на меня сердится, что я ей пишу, а мне ее, Лолиточка, правда очень жаль. Что ей от жизни осталось, бедной. Пусть порадует за меня. Плохо я ни о ком не думаю и сочувствую людям, — это мне помогает жить, и люди меня уважают. Я вам с Лизой писала в октябре письма и обстоятельно описала мое положение. Не знаю, получили вы их или нет. Судя по Лизиним письмам, еще нет, так как ответы ее были на сентябрьские мои письма. Лолиточка! На дворе вьюга, в хате у меня тепло, топится железка, греет лампа. Еще очень рано, а вы еще все спите. Надеюсь, что Егор пойдет, спешу написать вам. Хоть и томительно все переживать, но на душе у меня спокойно. Я знаю, что всё это временно и что

час счастливой встречи недалек. Вижу вас всех на перроне и если не узнаем мы взрослые друг друга, то узнаю я вас по детворе. Берегите свое здоровье и силы, очень прошу тебя, дорогая сестра. Скоро, скоро увидимся. Теперь ты знаешь обо всех моих делах подробно. Пиши мне скорее. Очень жду писем. Целую всех крепко-крепко. Твоя Шура и тетя Шура.

Как Мариночка учится? Желаю ей во всем успехов, умнице.

С Новым годом! Сегодня уже 11. XII. 55 г., а ниоткуда никого нет. Заносит нас снегом, не откопать.

¹ *Обласок — легкая лодка, долбленка, однодеревка.*

² *Сельпо — сельское потребительское общество; низовая организация потребительской кооперации; магазин сельского потребительского общества.*

Никифорова Т. Баржа на Оби. - Новеллы по памяти. - Рига, 2006